
Александр
ВОРОНЕЛЬ

нулевая
заповедь



ХАРЬКОВ
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2013

ББК 84.4РОС
В 75

Художник-оформитель
Борис Захаров

Воронель А. В.

В 75 **Нулевая заповедь.** — Харьков: Права людини, 2013. —
412 с. фотоилл.

ISBN 978-617-587-104-1.

Александр Воронель — профессор физики Тель-Авивского университета и главный редактор русскоязычного журнала «22», один из лидеров еврейского движения в Москве 70-х, в рассказе о своей жизни касается тайн Вселенной и тайн политики, мировых трагедий и комических ситуаций. Не всякий был знаком одновременно с Андреем Сахаровым, Эдвардом Теллером и Львом Ландау. Не всякий близко общался с Андреем Синявским, Юлием Даниэлем и Александром Солженицыным. Не всякий оказался знаком изнутри одновременно с закулисной жизнью академического мира физиков и буднями так называемого «сионистского заговора» в России и Израиле.

ББК 84.4РОС

ISBN 978-617-587-104-1

© А. В. Воронель, 2013
© Б. Е. Захаров,
художественное оформление, 2013

*Посвящается двум моим любимым женщинам,
маме Фане и жене Нине Воронель*

ВСТУПЛЕНИЕ

Что заставляет людей писать воспоминания? Вот, предыдущие поколения писали, писали ... ну и что?

— А вот я прочел, сопоставил с опытом своей жизни и обдумал... И отчасти понял их заботу. Теперь кое-что и от себя добавлю: «...недаром долгих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил».

Оглядывая пройденное с высоты своих 80 лет, я чувствую, что вся моя жизнь была цепью случайностей и рискованных хождений по канату. Удача часто шла мне в руки, но, быть может, верно и обратное — я с готовностью шел ей навстречу, отмахиваясь от неудач.

Аристотель назвал человека общественным животным, и он, я думаю, имел в виду почти то же самое, что сказал спустя 2000 лет Ленин об электро́не, назвав его неисчерпаемым. Потому что электрон на самом деле не может рассматриваться без грандиозной научной надстройки, позволяющей выделить электрон, как наблюдаемый объект. И так же человек не может быть понят вне, почти бесконечной по объему, культурной системы взаимоотношений, в которую он волей-неволей оказывается погружен. Поэтому моя книга не имеет ничего общего с исповедью. Перечитывая ее, я хочу

лучше понять, собственно, самого себя. Но ясность не приходит. Я остаюсь, даже сам для себя, вещью в себе. Несмотря на то, что система взаимоотношений, в которую погружала меня жизнь, неоднократно радикально менялась. Пожалуй, наряду с двумя **непознаваемостями**, о которых говорится в книге, нулем (небытием) и бесконечностью (Б-гом), я должен признать существование еще и третьей — самого себя, т. е. человека.

В конце концов, что еще у нас есть, кроме собственной жизни? Отчасти, еще и подсмотренная жизнь окружающих...

— А можно все это и просто графоманией назвать. Графомания, как любил говорить Андрей Синявский, все-таки важная составляющая этого захватывающего занятия.

Один писатель жаловался мне: «Я боюсь, мы живем и думаем в пустоте.» — Но я ощущаю, что все-таки живем мы и думаем не в пустоте. Мы живем в среде (можно ли после Эйнштейна назвать эту среду эфиром?), которая насыщена мыслями и безответными сообщениями других людей и сама способна переносить информацию. Волнами ходят по ней настроения, моды, поветрия, но остается и бездонная глубина, основной фон, который по временам дает себя чувствовать... Приемник наш вообще-то не на всякую волну реагирует, но зачастую ловит неожиданное и невероятное...

Что называют воспоминаниями? Описания событий? Описания людей? Я люблю описания мыслей. В формуле Декарта «мыслю, следовательно существую» содержится, мне кажется, еще дополнительный смысл, который многие склонны упускать: я мыслю, и **следовательно мое существование оправдано.**

Но адекватно описать мысль удастся лишь в связи с живо описанными людьми в ходе живо описанных событий. Подробности, придающие описанию живость, оказываются потом главным достоинством текста, часто заглушающим или по крайней мере отодвигающим мысль, ради которой текст был написан. Может

быть, мысль и в самом деле второстепенна в сравнении с богатством жизни?.. И к тому же непредсказуема по последствиям. Недаром этот Деррида и другие неприятные французы так много толковали о тексте, контексте и супертексте, сводя с ума молодых, неопытных писателей. Если уж ты решился выдать текст, он в чужих руках (в чужих умах) неизбежно приобретет множество непредусмотренных дополнительных значений, с которыми придется впоследствии мириться или отмежевываться.

Мне пришлось столкнуться, и в иных случаях близко познакомиться, со многими выдающимися людьми, но я смогу рассказать об этом, только если вспомню что-нибудь лично мое, особенное, характеризующее эти встречи. И такой рассказ неизбежно будет неполным, односторонним, отрывочным, так что людям, настроенным раздражительно, всегда найдется к чему придаться. Да и в самом деле, воспоминания говорят о воспоминателе больше, чем о чем-нибудь другом, и я это помню. Мои трудности удваиваются в связи с несомненным писательским успехом книг воспоминаний Нины Воронель «Без прикрас» и «Содом тех лет». Неужто из одной нашей общей жизни можно выкроить две разные линии воспоминаний? — Я попробую.

«ДИТЯ — ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКА»

Израильские интеллектуалы иногда с любопытством, а чаще с удивлением, порой и раздраженно, спрашивают: «Почему многие русские израильтяне такие непримиримо правые (в политике)?» Легкий ответ слишком напрашивается, чтобы его приводить.

Я думаю, что наше отличие коренится глубже, чем в политических взглядах. Мне кажется, наше отличие коренится в нашем другом отношении к миру. Это отношение сформировалось под влиянием совершенно отличного опыта детства. Раннего опыта, в котором содержится весь человек. Или почти весь.

Поэт Вордсворт в XIX в. утверждал, что «дитя — отец человека». А Борис Пастернак, в XX-м, говорил, что «детство — это яркий пример парадокса, когда часть больше, чем целое».

Несколько лет назад в престижном журнале «Мознаим» появилось интересное эссе израильского писателя Йорама Брановского о детстве. Вот что он писал о себе:

«Я считаю, что у меня совсем не было детства... Детство — это миф и выдумка поэтов. Они сначала открыли любовь, а потом — в тех же поисках оригинально-

сти — детство, все для того, чтобы было им, о чем петь... Но я повторяю: не было ни леса, ни медведей... Родители мои хотели все начать сызнова. И все было с самого начала, ничего от национального или религиозного... Совсем. И так это прошло, с головокружительной скоростью... поездки в деревню, несколько детских болезней... почти ничего...

Весь я — плод позднего чтения и путешествий, что вовсе не вели меня в страну детства, скорее — в те места, которые составили основу культуры моей, — в Грецию и Италию... Мир видится мне временами как шутка или сумасшествие, и почти всегда он видится мне, как почти несуществующий. Я... не верю, что он существует. И я связываю это с несуществованием моего детства...»

Боюсь, что это типично для сегодняшнего западного интеллектуала и захватывает многих израильтян. Я рад, что пришел из глубокой провинции и ощущаю себя иначе. Может быть, это поможет мне найти в Израиле родственные души, для которых собственное детство, существование мира и наше существование в нем — еще не пустой звук. Я очень надеюсь встретить здесь тех, чье детство было продолжительным и плодотворным.

Советская власть лишила нас многих культурных достижений человечества. Мы испытали голод, холод и неволю. Многих из нас она лишила также и родителей. Но было бы несправедливо сказать, что она отняла у нас детство. Напротив, она одарила нас детством прочным и продолжительным. В сущности, мы так никогда и не изжили его до конца...

В раннем возрасте я немного заикался. Врачи рекомендовали родителям побуждать меня учить и декламировать стихи. Я декламировал со страстью:

«Климу Ворошилову

Письмо я написал:

Товарищ Ворошилов,

*Народный комиссар!
В Красную Армию
В будущий год,
В Красную Армию
Брат мой идет!»*

Как хорошо был организован наш детский мир! Проникновенные эти стихи, написанные еврейским поэтом Львом Квитко, вдохновенно переведенные на русский язык поэтом-евреем С. Маршаком (и нас еще смеют упрекать в недостатке еврейского воспитания!), рисовали такую вдохновляющую картину...

Были там, конечно, присутствовали и злые силы:

*«Слышал я: фашисты
Задумали войну —
Хотят они разграбить
Советскую страну...»*

Но мы не дадим! Не выйдет! Каких бы это ни стоило жертв, даже жизни брата:

*«Товарищ Ворошилов,
Когда я подрасту,
Я стану вместо брата
С винтовкой на посту!»...*

Не было у меня никакого брата. Я, как и большинство моих сверстников, был единственным ребенком, родившимся в голодные годы и вскормленным искусственным молоком. Но идея нерушимой верности силам Добра пронизывала мое золотушное существо до самых печенок, и я любил моего несуществующего, самоотверженного старшего брата неземной любовью.

Если бы я знал, что мой старший брат пал, в действительности, жертвой аборта! Если бы я знал, что всего через год товарищ Воро-

шилов горячо пожмет руку Риббентропу! Если бы я знал, что и самого Квитко всего через несколько лет расстреляют ни за что, ни про что... Мы оба, Лев Квитко и я, ничего не знали об этом и были счастливы...

Я не шучу. Я хочу сказать, что у нас было все необходимое для счастливого детства. Потому что для счастливого детства необходима только уверенность в незыблемости нашей системы координат. И она у нас была.

Наши родители тоже «хотели все начать сызнова». И все у нас тоже было «с самого начала, ничего от национального или религиозного». Но страна и режим обеспечили нас Абсолютами, и наше детство оказалось долгим и полным смысла. От пяти до десяти, когда началась Война и нас понесло в Сибирь, подальше от смерти; от десяти до пятнадцати, когда я вышел из исправительного лагеря, и меня понесло из Сибири, подальше от тюрьмы, прошли две большие, наполненные событиями жизни, каждая из которых не короче моих последующих шести десятков взрослых лет, проведенных в разных городах и странах.

В сущности, я сейчас с трудом представляю, как это я от бесконечно длинного, осмысленного периода, который обычно называется детством, добровольно перешел к тому чересчур поспешному мельканию, в ходе которого так быстро утекает моя взрослая жизнь. И как от чувства уверенности и единственно правильного выбора, которое превалировало у меня в детстве и юности, я все чаще стал переходить к бесконечным колебаниям и чувству вины, которые так отравляют нам взрослые годы.

Человек — это существо, родившееся с жадной абсолютного. Советское воспитание, несмотря на поверхностный атеизм, эту потребность удовлетворяло. Оно внушало ребенку абсолютное сознание своей правоты, и это сознание, как потерянный Рай, навеки преподносится нашему мысленному взору, давая силы верить. Опыт гармоничного мировоззрения навсегда остается идеалом,

быть может и неосуществимым, по которому, однако, обречена тосковать душа взрослого.

Мы, русские выходцы, все надеемся найти и определить в реальном мире «правильную» позицию. Смешно, не правда ли? В нашей алии присутствовала и детская мысль встретить в израильтянине потерянного «старшего брата», который защитит и направит. Который «не выдаст...»

Неизбежное с возрастом разочарование в советской (и всякой иной земной) власти нисколько не могло повредить нашему здоровому идеализму, ибо ребенку с возрастом естественно стать проникательнее и детальнее видеть реальность. В том отчасти и состоит взросление...

Нам еще не исполнилось и четырнадцати лет, когда мы поняли, что власть в СССР находится не в руках рабочего класса. У многих взрослых людей на Западе это отняло гораздо больше времени. Такого отклонения от ленинского учения мы потерпеть не могли и должны были бороться. Нас было семеро мальчиков и одна девушка. Хотя в нас и не было «ничего от национального или религиозного», мальчики, все как один, оказались евреями и только девушка... О, русские женщины! Впрочем, случай задуматься об этом нам представился уже только в тюрьме. Семеро — это очень много, но все же ни один не выдал. Нас поймали по результатам нашей деятельности, которая состояла в том, что мы сочиняли и разносили по городу рукописные листовки, клеймившие неравенство и несправедливость и призывавшие народ к восстанию. Восстания не произошло. КГБ стоял на страже. Во всех школах города провели графическую экспертизу, и наши почерки идентифицировали.

В тюрьме кончилось наше детство и укрепилось чувство самосохранения. Тов. Ворошилов тогда уже утратил свой ореол боевого вождя, а Л. Квитко доживал свои последние годы. Среди других политических заключенных, которые жаловались, что они сидят ни за что, мы резко выделялись сознательным характером нашего преступле-

ния. Никто из нас не захотел признать своей неправоты или хотя бы относительности коммунистического идеала справедливости.

Нашему душевному здоровью всерьез повредила бы мысль, с которой многие западные интеллигенты, по-видимому, сроднились с детства: «абсолютной правоты, истины, а, быть может, и объективного мира вообще не существует». Такому взрослому, безрадостному знанию не позавидуешь. Людям, в которых такое знание прочно поселилось, приходится совершать поистине героические философские усилия, чтобы обосновать понятие верности. Хотя чему-нибудь. Ясно, что они уже не могут быть старшими братьями. Кому бы то ни было...

Конечно, нетрудно понять, что этот их поспешный релятивизм есть европейская реакция как раз на массивное идеологическое оболванивание. На тот идеологический тоталитаризм, который так широко разлился по Европе два поколения назад, произведя на свет два сходных, но враждебных друг другу чудовища: германский нацизм и советский коммунизм возникли не случайно. Чудовища эти родились на свет не из ничего. Они отвечали той жажде абсолютного, которой не было утоления. Они продлили детство человечества. Потому что не меньше, чем хлеба, человечество хочет счастливого детства.

В чем состоит долг взрослого? — Помочь ребенку принять сложность мира, не разрушив его уверенности в самом себе. Может ли это сделать человек, сам лишенный такой уверенности?..

Когда я украл оловянных солдатиков на именинах у сверстника, полагая, что он и так получил достаточно подарков, родители не оставили мой поступок без последствий. В горечи познал я, что в гостях следует уважать чужую собственность и сдерживать свою жадность, такую естественную при виде множества хороших вещей, собранных вместе...

Но вот настал час и моего торжества: на моих именинах другой мальчик начал лихорадочно рассовывать по карманам мои игруш-

ки. Коршуном я налетел на обидчика и впился в него изо всех своих сил, удесятеренных сознанием правоты. Ведь я уже знал, каким должно быть правильное поведение на именинах, и мной руководили, конечно, самые лучшие чувства...

Мальчишка заревел так, как будто это он поступал правильно, а я его незаслуженно обидел. Со всех сторон сбежались взрослые остановить изверга. И я сам вдруг с первобытным физиологическим ужасом почувствовал, что его тело слишком жидкое для моих железных от правоты рук...

Все же самое ужасное случилось потом. Мои родители опять приняли сторону противника! Они объявили, что поскольку мальчик был у меня в гостях, я был его хозяин, а хозяин, как известно, должен уступать гостям (а также слабым), чтобы их не обидеть. Такого предательства я от них не ожидал. Сквозь бурные рыдания прорвался мой мировоззренческий вопрос: «Если на чужих именинах я должен уступить, как гость, а на своих, как хозяин, то где, кто и когда уступит мне?»...

Я помню, что родители смутились. Они не планировали заходить так глубоко в основания этики. Скорее всего эти основания не были им вполне ясны. Ясны ли они кому-нибудь из нас? Что-то родители, конечно, бормотали насчет того, что, если я сейчас уступлю Васе, то впоследствии, возможно, и Вася уступит мне. Впрочем, они, как и я, хорошо зная Васю, заранее понимали, что говорят чепуху.

Нет, на самом деле, ответа на этот вопрос. Обоснования этики не могут быть найдены рационально. Взрослый человек живет в джунглях сомнений, в пустыне свободы...

Действительно, взрослость вселяет в душу сомнения. Сознание абсолютной правоты, как и состояние невинности, редко сохраняется до зрелых лет. Но эти сомнения даны нам не для того, чтобы идти в никуда, к бессмыслице, к смерти души. Сомнения даны нам для поиска, чтобы лучше взвесить свой выбор, чтобы расширить круг возможностей.

Душа требует упорядоченности и красоты. Живая душа требует смысла. Сомнения прирождены мышлению, но они не составляют его результат. Когда мы приходим к результату, по необходимости несовершенному, возникающие у нас сомнения свидетельствуют вовсе не о бесполезности умственных усилий, а о необходимости их продолжать. Для интеллигенции — это профессиональный и одновременно гражданский долг. Если вместо созидания сомнение приводит к разрушению, интеллигент обязан сознавать, что идет не вперед, а назад. Йораму Брановскому, который разуверился в «существовании мира» нечем гордиться...

Человек отличается от скота своей жадной абсолютного. Поэтому, когда мы разоблачаем относительность очередного абсолюта, мы делаем это не ради относительности как таковой. Мы делаем это ради другого абсолюта, высшего.

Относительность Эйнштейна не разрушила гармоничную картину мира, а создала более совершенную. Своим названием эта теория сбивает с толку только профанов. У самих физиков хватает детского оптимизма, чтобы верить, что они изучают реальный мир — и даже больше — что он «хорош», то есть гармоничен. Они мыслят, эти физики, и, следовательно, существуют. Даже такой скептик, как Сартр, называл эту максиму Декарта «абсолютной истиной познающего сознания».

Мы, русские выходцы, сохраняем детскую уверенность в своем существовании и существовании мира, просто поскольку мы в нем действуем. Действуя, мы начинаем также верить, что это наше необоснованное существование в мире — ценность. Таким образом, про нас скорее можно было бы сказать, что мы **мыслим лишь постольку, поскольку мы существуем**. Это гораздо меньше, чем Сартр признал бы за абсолютную истину, ибо логически не равносильно декартовскому утверждению. Однако пусть гордится своей утонченностью тот, кому этого недостаточно. Мы происходим не «от позднего чтения и путешествий», а от наших родителей.

Мы похожи на них вопреки раннему и позднему чтению, а также путешествиям в Грецию. В нашем якобы «русском» национализме и религиозности нет «ничего от национального или религиозного», но зато сколько угодно экзистенциального. В нашем правом консерватизме содержится ровно 50% левого радикализма. Те же причины, которые на Западе склоняют к левизне, в России отталкивают вправо. И наша нетерпимость включает способность принять самую неожиданную радикальную точку зрения. Просто наша манера и терминология сложились в суровом социальном климате, и выбор, который Израиль нам предложил, не соответствует нашему душевному настрою. Наш экзистенциализм не философского, западного происхождения, а полудикого, автодидактического, с русской достоевщиной из XIX века, замешанной на возвышенных мечтах о «хрустальном здании» всеобщего согласия вперемежку с социальным цинизмом, происходящим от жизненного опыта: «Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения... Не все ли равно, если оно существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания?.. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить... Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели же я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель?»

(«Записки из подполья», Ф. Достоевский)

Цель, я думаю, действительно не в этом. Я думаю, цель, возможно, в том, что в Израиле открылась вакансия на замещение должности «старшего брата». Наше жестокое и трогательное русское прошлое обеспечило нас непотопляемой устойчивостью, которая

при наших нынешних условиях может пригодиться. Гуляя по чужим именинам и видя, как быстро растаскивают вокруг игрушки, которые могли бы принадлежать нам, да еще и выслушивая время от времени лекции о добродетельном поведении, мы с неприятным, издавна знакомым чувством ощущаем, как твердеют от работы руки. Ну, устройте нам именины по-нашему, дайте разок ощутить себя хозяевами, а уж потом требуйте уступок в пользу Васи! Кто знает, может, как хозяину, мне и впрямь захочется уступить...

В любом случае, наш детский эгоцентризм и острое чувство подлинности существования возвращают этику на ее реальную почву: наше право жить по своему образу и произволу предшествует гуманизму, освободительным движениям и международным договорам. Напротив, наша экзистенциальная цепкость, не зависящая от политических убеждений, воля к абсолютной жизни ведут нас к гуманизму, порой толкают к сочувствию освободительным движениям и, быть может, приведут еще и к международным договорам. Может, мы еще сгодимся израильтянину на роль «старшего брата»?

P. S. «Романтический бред» — может быть, сказал бы покойный Йорам Брановский. «Да, пожалуй. А почему бы и нет?» — отвечу я. «Но ведь все это уже не ново... да и кому это нужно?» — скажет кто-нибудь.

«А я живу впервые, и это нужно мне».

ALMA MATER

Я не чувствую себя настоящим харьковчанином, потому что родился в Ленинграде. Наверное, поэтому я могу смотреть как бы со стороны на неуверенные попытки харьковчан определить своеобразие своего города.

В Харьков меня привезли в шестилетнем возрасте. Чем запомнился он мне тогда? Большим двором в многоквартирном доме, где жила бабушка Дора, бывшая центром семьи. Сложно-геометрическим рисунком садовых дорожек Физико-технического института, где работал дядя Мара и куда меня водили в детский сад. Старым заросшим кладбищем, которое служило нам парком. Университетским археологическим музеем, в задних комнатах которого, среди почерневших саркофагов и ржавых кольчуг, я часами копался, ожидая маму, работавшую там лаборанткой. Школой № 82, на сером бетоне которой выделялись таинственные барельефы средневековых книжников, фантастических птиц и сказочных химер. Черной громадой старого дома с интригующим названием «САЛАМАНДРА» с темными, уходящими вдаль коридорами, в одном из которых, как бы неожиданно, открывалась дверь в нашу с мамой комнату...

Великолепием многоэтажного городского Пассажа, куда можно было доехать только трамваем (и поэтому было строго запрещено!) и прогуляться там по всегда

праздничным галереям под стеклянной крышей, облизывая восхитительное мороженое, зажатое между двумя круглыми вафлями, которые становились особенно вкусными только к концу, когда немного намокнут...

...Потом ночными сиренами воздушных тревог и небом, расчерченным прожекторами. Ослепительно белыми, рваными дырками от осколков зенитных снарядов в черной крыше чердака, указывающими по утрам своими сверкающими лучами на эти тяжелые металлические кусочки в полу, ценимые на уровне редких марок французских колоний в Африке...

В Сибири все это вспоминалось, как потерянная родина. Милая, обжитая, навсегда покинутая Европа...

В следующий раз я приехал в Харьков учиться в университете.

Я приехал из Махачкалы, очаровательной провинциальной столицы Дагестана, населенной 26-ю (по другой версии 32-мя) народами и бывшей до конца 30-х годов местом ссылки. После такого многонационального великолепия Харьков поразил меня своим отчетливо еврейским характером. Лица прохожих, фамилии выдающихся людей и даже названия улиц настойчиво напоминали об этом.

В первый же день в парикмахерской меня заметили: «Молодой человек, наверное, не харьковчанин?» Я ответил, что зато в Харькове жил мой дед. «А какая фамилия у деда?»

Я сказал: «Штраймиш». Неподдельная радость парикмахера произвела на меня впечатление: «Кто же не знал Штраймиша! Он держал писчебумажный магазин на Екатеринославской... Там еще продавались книги и учебники. Как приятно видеть, что внук такого человека вернулся в родные места!»

Это было и вправду приятно...

В университет меня приняли по блату. Вплоть до самого окончания я каждый день ожидал, что отдел кадров еще опомнится и меня выгонят.

После того как меня последовательно не приняли в университеты Московский, Ленинградский, Киевский, мама позвонила своему харьковскому другу детства проф. Берестецкому, а он позвонил своему другу проф. Ахиезеру, а тот обратился к декану физического факультета проф. Мильнеру. Абрам Соломонович Мильнер без малейшего колебания сказал: «Для сына Фанечки Штраймиш я, конечно, сделаю все возможное!»

Чудо случилось, и это оказалось возможным. Уже через год пределы возможного сузились и Абрама Соломоновича сняли с должности...

Впрочем, харьковский университет со дня своего основания отличался демонстративным либерализмом. В 1881 году, когда официальная процентная норма в Российской империи была 5%, в Харькове 26% студентов были евреи. И вот... — «сколько волка ни корми» — в том же, 81-м году, в ответ на волну погромов, прокатившуюся по империи (именно в Харькове, впрочем, никогда не было погромов), большая группа харьковских студентов переселилась в Палестину, положив начало протосионистскому движению БИЛУ (сокращение ивритского: «Собирайтесь и пойдем!»). Это произошло за пятнадцать лет до известной инициативы Теодора Герцля. Пионерами становились не те, кто страдал от погромов, а те, кто был способен начинать с нуля...

Во время Первой мировой войны Харьков был наводнен немущими еврейскими беженцами, которых царское правительство, заботливо подготавливавшее революцию, переселило из прифронтовой полосы, «опасаясь их предательства». В результате после гражданской войны, Харьков, и раньше не бывший вполне украинским, оказался более лояльным к центральной московской власти, чем Киев, и был впопыхах назначен столицей Украины. Очастливленные евреи массой кинулись учиться...

Перед Второй мировой войной евреи составляли около трети населения Харькова. Большинство из них уже выучились и стали

специалистами во всех отраслях, где требовались напряженный, квалифицированный труд и терпение. После войны многие из них вернулись на прежние места.

В мои университетские годы, когда в Москве, Ленинграде и Киеве боролись с «низкопоклонством» за «патриотическую» физику, химию и биологию, Харьков все еще оставался бастионом науки. Эйнштейна и Бора по-прежнему свободно цитировали, а от студентов ожидали, что они прочтут нужные статьи в подлинниках. Вопреки общей ситуации в стране в нас воспитывали дух творческих дерзаний. Проф. Пинес, прежде чем рассказать о своей, «правильной», теории диффузии, обязательно заставлял выучивать в чем-то «неправильную» теорию Я. Френкеля.

Проф. Илья Лифшиц (младший брат Евгения Лифшица, соавтора Л. Ландау по их знаменитому Курсу Теоретической Физики) посреди лекции порой глубоко задумывался, начинал сомневаться в основаниях статистической физики и щедро приглашал нас разделить его творческие сомнения. Проф. Борис Веркин на третьей лекции объявил, что, если и на следующей своей лекции он не услышит от нас никаких конструктивных предложений или новых идей, он бросит читать. Нам приходилось стараться...

В Харьков даже прислали из Ленинграда группу студентов-ядерщиков — как бы подучиться. Возможно, начальство всерьез опасалось, что чрезмерное марксистское благочестие их тамошних учителей может отразиться на их будущих успехах в атомном проекте.

Наши профессора время от времени произносили, конечно, неизбежные в те дни пошлости о лженауке кибернетике, вейсманнизме-морганизме и всеильном («потому что верно!») марксистском учении, но на их интеллигентных лицах мы всегда могли различить невидимую миру саркастическую усмешку. Студенту, не успевшему перехватить профессора в перерыве, всегда можно было поймать его на симфоническом концерте.

Наверное, эти концерты и надоумили меня учиться музыке. Я стал приходить к Неле Рогинкиной играть на фортепьяно, и это навсегда изменило мою жизнь... Или, наоборот... Неля изменила мою жизнь, и я стал приходить к ней играть на фортепьяно.

Пассаж, который производил на меня когда-то впечатление стольичного великолепия, был снесен точным попаданием немецкой бомбы, и на его месте теперь располагался хорошенький скверик.

Юмовский переулок, в котором я снимал угол у двух старых дев, вел прямо к знаменитому Физико-техническому институту. Теперь уже он был наглухо огражден высоким забором с сигнализацией по верхнему краю. Я не был вполне уверен, но мне нравилась мысль, что переулок получил свое название от имени шотландского философа-агностика Давида Юма. С учетом блестящей плеяды ученых, работавших в этом институте, такое созвучие казалось мне глубоко осмысленным.

«Скифские» каменные бабы во дворе физико-математического факультета напоминали мне мамин археологический музей (к сожалению, уже закрытый), разрезы степных курганов, эллинские черепки и Золотое руно. Проходя в лабораторию мимо этих знакомых с детства каменных истуканов, я каждый раз переживал тот душевный подъем, что охватывал меня когда-то при примерке варяжской кольчуги...

Откуда я, впрочем, взял, что она была варяжская? Скорее половецкая... или даже хазарская. Однако в те дни в Харькове была еще безусловно принята норманнская теория происхождения Руси... На историческом факультете я слышал смутную легенду, что имя города «Харьков», возможно, происходит от хазарской крепости Шарукань, которая когда-то была на этом месте, но, впрочем, ни достоверности, ни исторической ценности в то время за этой версией не признавалось...

Музея уже не было, но воздух харьковского университета все еще пронизан был той общей тягой неофитов к большой мировой

культуре, той любовью талантливых выскочек к подлинной интеллигентности, тем мощным желанием «учиться, учиться и учиться», которое сделало почти всех бывших Фанечкиных соучеников профессорами и инженерами и так явственно отличало Харьков от других городов. Сложное очарование интеллигентности, сочетающее культурную искушенность с наивным научным энтузиазмом, чувствовалось повсеместно: на факультете, в библиотеке, в книжном магазине, в кондитерской «у По́ка» и... в соседствующем подвальчике «Закарпатские вина». Студентов оно невольно захватывало и покоряло. Студентами, похоже, была в то время чуть ли не половина харьковчан.

Просиживая все дни в лаборатории, я каждодневно переживал как собственное открытие возможность распылить твердый металл потоком невидимых глазу электронов и лично убедиться в существовании атомов. А встретившись вечером с компанией молодых физиков, услышать в поэзии Пастернака дотоле неведомые мне интонации и нюансы...

Вот я иду к Марку Азбелю на улицу Гаршина. Я сворачиваю с центральной Сумской на боковую Каразинскую и прохожу мимо дома, где в начале войны пожарная дружина учила нас с дедушкой гасить в песке зажигательные бомбы. Чему только не учили в Харькове!

За углом, на Чернышевского, я опять вижу знакомых каменных схоластов на фронте школы, где научился читать. Улица Гаршина ведет к старому кладбищу и к по-прежнему переполненному студенческому общежитию «Гигант»... Я иду к Марку поговорить о физике, но мы, конечно, будем говорить не только о физике. Мы будем разговаривать обо всем на свете, и нам никогда не хватит времени обсудить все до конца...

ЛОП («Литературное Общество Перфектистов») и АНТИ-ЛОП, соперничавшие молодежные литературные кружки, уже прекра-

тили свое мнимое существование, но разветвленная сеть подпольных студенческих тайных групп все еще упорно продолжала изучать марксизм в тщетной надежде вскрыть теоретическую ошибку, роковым образом превратившую прежде бесклассовое общество в сословную тиранию...

До сего дня непонятно: сотня студентов в течение десятка лет была вовлечена в это гибельное предприятие, несколько сотен были в курсе дела, а в ГБ до самого конца 60-х продолжали выяснять что-то про никогда не существовавший ЛОП и тайных читателей «Доктора Живаго»! Так и не нашлось стукача во всем городе? И это в годы, когда тысячи молодых людей из других городов отправились в Сибирь за несравненно меньшую степень нелояльности. Что-то все-таки особенное было в Харькове!

Мы действительно говорили откровенно обо всем в то время, когда говорить откровенно о чем бы то ни было, кроме секса и денег, было опасно. Но мы как раз никогда не говорили о деньгах и женщинах, и это, наверное, тоже характеризует тогдашнюю харьковскую атмосферу.

Этот потерянный рай, этот «особенный еврейско-русский воздух — блажен, кто им когда-нибудь дышал»*, часто вспоминались мне потом в Саранске, захудалой столице Мордовской республики, где я одиноко преподавал физику в пединституте; и даже в Москве, где впоследствии моя профессиональная жизнь протекала в несоизмеримо более прозаическом контексте.

Отдушиной для нас в Москве стал совершенно харьковский дом Юлия и Ларисы Даниэль, куда мы с Нелей порою окунались с головой. Со временем оказалось, что Москва переполнена выходцами из Харькова (харьковчанин Михаил Светлов острил: «все

* Строчка из стихотворения Довида Кнута, процитированная русским философом Георгием Федотовым для характеристики культурной атмосферы в парижской эмиграции 20–30 гг.

люди из Харькова, но многие это скрывают»). Это были и поэты Борис Слуцкий и Владимир Бурич, и физики Л. Ландау и братья Е. и И. Лифшицы. Всех не перечислишь.

Они и в Москве сохраняли характерную для Харькова широту интересов и особую теплоту общения. Харьковский интеллигент как бы выпрыгивал из рамок узкой профессии. Он часто позволял себе иметь запас сведений из далеких областей или собственные мнения по многим неожиданным вопросам, шокировавшие среду советских технарей и колеблющие столичную шкалу престижностей. Известный московский литературный критик Бенедикт Сарнов называл эту нашу особенность «харьковским образом мыслей». В этом дружески насмешливом определении просвечивали одновременно и столичный снобизм, и признание неординарности свежего взгляда, выработанного в стороне от сложившейся мафии авторитетов. Люди из ближайшего окружения Л. Ландау называли харьковскую группу физиков «удельным княжеством». Налицо были и идейная близость, и некоторая очевидная независимость.

Мы с Азбелем впоследствии вспоминали, как, живя в Харькове, всей душой рвались в Храм науки, который представлялся нам сияющей, но несомненной реальностью, а спустя двадцать нелегких лет в Москве, сплошь заполненных научной работой, заметили, что, кажется, уже и прошли его насквозь, нигде не оставившись, не отметив никакой особой точки, где можно было бы, наконец, сказать: «Вот оно!».

Благоприобретенный московский цинизм тянет спросить: да был ли он, существовал ли этот храм в самом деле?

Не знаю, был ли Храм, но молитвенное отношение несомненно было. Не только к науке. К литературе. К театру. К творческой жизни... В этом смысле Харьков, к счастью для нас, был прекраснодушно настроенным, культурно одаренным «удельным княжеством».

По-видимому, это ушло в прошлое. Спустя еще двадцать лет Харьков стал другим. Может быть, он стал, наконец, обыкновенным городом...

Если это верно, то он потерял свое подлинное, оригинальное лицо, быть может, именно потому, что никогда не видел себя адекватно.

«Не ищи себя вовне» — нашел правильную формулу однажды одинокий харьковский интеллигент. Евреи, конечно, не составляли в Харькове большинства, но они, не сознавая и во всяком случае не желая этого, определили стиль этого города. Не все жители Нью-Йорка — евреи, но Нью-Йорк известен в большом мире как еврейский город. В отличие от Харькова, Нью-Йорк этого никогда не стыдился и благодаря этому навсегда утвердился в искусстве и литературе...

НЕ ВЕСЬ НАРОД БЕЗМОЛВСТВОВАЛ

Недавно я получил письмо из далекого Челябинска от Георгия Ченчика (брата Олимпийской чемпионки по прыжкам Таисии Ченчик) — человека, с которым расстался больше 60-и лет назад и до сих пор не знал, жив ли он. Летом 1946 года мы просидели два месяца в одной камере внутренней тюрьмы челябинского ГБ.

Так давно это было... мне даже немного неловко признаться, что я такой старый. Но тогда мне было только 14 лет, а ему 18, и я воспринимал его как взрослого. Оба мы были посажены за «антисоветскую деятельность», и конечно на воле не подозревали ни о существовании друг друга, ни о многих других подпольных, молодежных кружках, возникавших в те годы по всей стране.

В России, да и в Израиле, теперь часто поминают сталинские репрессии, но, в основном, 30-х годов, когда эти репрессии относились к людям, вовсе неповинным в сознательной «антисоветской деятельности». Это были и в самом деле, так называемые, «неоправданные репрессии».

Невольно подумаешь: что же это была за страна, если при таком свирепом режиме, когда «запрещалось все — даже то, что разрешалось», все репрессии были

неоправданные. Не означает ли это, что никто и не сопротивлялся? И «народ безмолвствовал». Поэт Наум Коржавин так и писал об этом мертвом (вернее мертвящем, но все же далеко, далеко не мертвом) времени:

*Можем рифмы нанизывать
Посмелее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Мы не будем увенчаны
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами...*

Но это неправда... Не только смелые рифмы занимали молодых людей в те годы. И женщины за ними тянулись так же бесстрашно, беззаветно...

Я знаю, что это были годы подпольных кружков. Впервые в тюрьмах появились «политиканы», посаженные «за дело», а не по недоразумению. Обычный лейтмотив политических заключенных старшего поколения — «ошибка», «недоразумение», «лес рубят — щепки летят». Все они жаловались, что ни в чем не виноваты. В конце 40-х гг. опять появились исчезнувшие в 20-х заключенные, которые были «виноваты». Во всяком случае они сидели за свои реальные поступки и взгляды. На воле были десятки молодежных кружков, которые ревизовали марксизм, писали листовки, издавали рукописные журналы, сочиняли программы, манифесты и пр. Ни один из этих кружков не выходил за пределы студенческого возраста, и деятельность их, вначале очень бурная, становилась все более скромной с увеличением возраста участников. О Сенатской площади, конечно, в 50-е не могло быть и речи, как и об увенчании...

Правда этих строчек, наверное, состоит в том, что наши переживания останутся почти неизвестными. Мы не знали друг о дру-

ге. Нам казалось, что все вокруг нас осудят, что наши жертвы напрасны. В литературе, даже после Перестройки, почти ничего нет о людях того времени, об умонастроении тех лет. Похоже, история тогда прекратила течение свое.

Но все же жизненный опыт или писательская чуткость подсказали А. Синявскому сюжет, связанный с таким молодежным кружком («Суд идет»). Был ли это личный опыт? Или Андрей знал нечто сверх общеизвестного?

Он никогда не отвечал на этот вопрос.

В своем письме Георгий пишет, что, кроме него, из их кружка «Социал-демократической молодежи», и из тогдашнего местного поэтического общества «Снежное вино» никого уже не осталось в живых. Но недавно в городе была организована выставка «Неформалы 50-х» и студенты университета приходили брать материалы для своих рефератов. Посетители постарше признавались, будто не могли себе и представить, что «среди окружающей их молодежи были сверстники, которые думали по-другому».

В России, к сожалению, все еще принято говорить, будто люди, которые не верят пропаганде и сопротивляются насилию, «думают по-другому» — «инакомыслящие». После почти 20 лет либерализации можно бы уже понять, что суть не в том, что «по-другому», а в том, что вообще «думают». Но это, наверное, займет еще сколько-то лет.

Георгий просил прислать для их выставки описание нашей подпольной группы и дальнейших судеб ее участников. Я и спешу выполнить его просьбу, надеясь, что одновременно это будет моим посильным вкладом в празднование радостной даты — юбилея смерти И. В. Сталина.

Первоначально нас было только двое друзей, я — Шура Поляков — и Миша Ульман, который был на целый год младше меня, но

намного более начитанный. В то время я еще наслаждался Жюлем Верном, а он уже прочитал чуть ли не всех русских классиков и даже Гюи де Мопассана...

У Миши был очень еврейский вид и еще более еврейский (как тогда считалось) темперамент. Все в нашем классе, кому было не лень, обижали его, и светлые дорожки от слез на его невымытом, веснушчатом лице, казались постоянной чертой его облика. Отец его был каким-то бухгалтером-недотепой, а мать заоблачной идеалисткой, и семья жила в немыслимой грязи и бедности. Половину площади комнаты, где жили они втроем, занимали книги, за отсутствием полки наваленные кучей посреди пола — можно было брать любую...

Мишина способность сносить унижения возмущала мое нравственное чувство, и я стал ввязываться в драки, когда его задевали. Бывало, что в драках этих доставалось и мне, но, Миша, вместо того, чтобы посылить мне ассистировать, мирно плакал в углу, глядя, как меня за него отделывают. Как я его ни стыдил, я не мог заставить его вмешаться и, хотя бы отчасти, отвлечь противников...

С возрастом мы стали добираться до самой середины кучи в его комнате и усвоили некоторые передовые взгляды, которые не давали нам равнодушно наблюдать окружающую нас голодную и унижительную жизнь рабочего поселка Тракторного завода. Опухшие от голода рабочие, инвалиды войны, выставявшие свои обрубки за подаванием, гигантские хвосты за хлебом слишком явно противоречили бодро оптимистической пропаганде, которая, ни на минуту не смолкая, неслась из радио-репродукторов.

Окончательная революция в нашем сознании произошла, когда Миша познакомил меня с Геней Гершовичем из параллельного класса. В его доме книги (особенно классики марксизма) аккуратно стояли на полках, где оставил их его репрессированный в 1937 г. отец. Полная несправедливости окружающая жизнь требовала от нас интерпретации, и мы, конечно, принялись искать

ее в полном собрании сочинений В. И. Ленина, стоявшем там на почетном месте. Т. к. это собрание было издано в 1929 г., отсюда еще не были вычищены обширные примечания, разъяснявшие детали программ сравнительно недавних партийных оппозиций 20-х годов. Две из них нам особенно приглянулись: «профсоюзная оппозиция» и «децисты» (от термина «демократический централизм»). Сейчас я уже не помню всего, что эти наивные люди хотели от Ленина, но в наши 14 лет их доводы звучали для нас совершенно неотразимо. Ликвидировав этих единственных представителей трудового народа, партия большевиков навсегда потеряла право называться революционной, и в разительном противоречии со своими лозунгами, установила в стране полицейскую диктатуру.

Что же было делать? Не могли же мы спокойно смотреть, как коррумпированная, «обуржуазившаяся» партийная верхушка угнетает рабочий класс и держит народ в бесправии и неведеньи! Мы, конечно, должны были открыть им глаза...

Мы сочинили листовку, оканчивавшуюся оптимистическим прогнозом: «Падет произвол и восстанет народ!», пригласили еще нескольких одноклассников (вместе нас стало восемь) и, предварительно открыв им глаза, засадили за работу по размножению ее печатными буквами на тетрадных листах в три косых.

Первую порцию листовок мы расклеили у дверей хлебных магазинов, где с утра, еще до открытия, скапливались громадные очереди. Приходя к открытию, мы могли своими глазами наблюдать, как воспринималась наша пропаганда. Народ читал, народ сочувствовал...

— Впрочем, потом у следователя обнаружилось полное собрание наших листовок.

Мы трудились, не покладая рук, и когда наша группа разрослась, нам удавалось переписать до сотни листовок в раз. Мы варьируем их содержание, усиленно откликаясь на повседневную жизнь ЧТЗ и мировые события...

Апрель и май 1946-го прошли у нас в неустанных трудах, а народ все не восставал. Мы решили, что работать вручную неэффективно, надо переходить на подпольную печать. Тем более, что во всех школах города уже проводили повальные диктанты, включавшие знакомые слова и политические термины, а потом отдельных отобранных школьников таскали писать печатными буквами для опознания почерков. Мы уже начали готовить гектограф (глицерин, желатин и еще что-то, чего уже не помню), когда нас арестовали...

Продержав меня день и всю ночь в боксе — камере на одного размером с телефонную будку (чтобы арестованный не мог прилечь), меня завели в пустое служебное помещение, посреди которого стояла длинная скамья, и велели раздеться. Я разделся до трусов, но мне велели снять и их. Так как я не раскальвался, все мои мысли были захвачены внутренним сопротивлением следствию и приготовлением к защите. Не было никакого сомнения, что сейчас меня положат на эту скамью и станут бить...

— И, вот, хотя я, конечно, боялся и дрожал от холода босиком на каменном полу, в моем ожидании — я помню — содержался и некоторый оттенок любопытства. Я думал, что теперь узнаю нечто тайное о «их средствах», о том, чего никто не знает... Я узнаю и о себе, смогу ли я выдержать.

Наконец, я дождался. Пришел врач, велел мне нагнуться и долго разглядывал мой задний проход. Оказалось, что это была проверка на гомосексуализм, о чем я, впрочем, узнал лишь гораздо позже. Меня не били. Вообще, изолятор КГБ оставил у меня впечатление уголка Европы в море советских тюрем, изоляторов, лагерей, лишь края которого я успел коснуться...

Меня не били, но я был совершенно готов к этому. Несмотря на наше «счастливое детство», все мы знали, что нас можно бить. Это знание, мне кажется, было самой фундаментальной характеристикой сталинской эпохи, и непременно должно быть упомянуто впереди всех остальных. Мы с этим знанием родились и со временем

в нем только укреплялись. Мы бывали удивлены, когда оказывалось, что побоев нет в программе. В своих предположениях мы заходили даже дальше палачей и невольно сами подсказывали, чего мы особенно опасаемся.

Мне уже показывали собственноручное письменное признание Миши Ульмана, но я продолжал упрямиться, пока нам не сделали очную ставку, в ходе которой стало ясно, что больше нечего скрывать. После этого интеллигентный майор Луковский (предварительно объяснив мне, что в моих собственных интересах плакать и прибедняться, а не изображать из себя идейного борца) передал меня в руки старшего лейтенанта Яроповца. Началась долгая, изматывающая борьба с малограмотным лейтенантом, который систематически перевирал мои показания. Несмотря на то, что я (вопреки разумному совету майора) часами объяснял ему нашу коммунистическую программу, он все норовил приписать нам противоестественную симпатию к германскому фашизму и сильно гневался, когда я отказывался подписать.

Однажды у моего следователя во время допроса сидел молодой мужчина в вышитой рубашке. К вопросам следователя он добавлял свои, очень странные: «Читали ли вы Ницше?», «Читали ли вы Шпенглера?» Потом он произнес речь, смысл которой сводился к тому, что он, читавший Ницше и Шпенглера, все же не заразился фашистским дурманом, а мы, даже не читавшие, заразились, и в этом видна наша гниlostная сущность. Мы должны быть вырезаны из общества, «как гнилая часть яблока из румяного плода» (это его выражение), и — главное — должны сами это понять и немедленно с ним согласиться.

Сначала я пытался вставить слово, напомнить, что мои взгляды, собственно, не фашистские, а еще более коммунистические, чем у него. Но он был монологист, не давал себя перебивать, и, кончив речь, сразу ушел, оставив меня в недоумении и расстройстве.

Потом оказалось, что это был представитель обкома комсомола, которого послали к нам с миром для воспитания, назидания

и изучения. Теперь, вспоминая его поведение, я думаю, что больше всего он боялся дать мне открыть рот и вообще как-нибудь впутать его в это опасное дело. Наверное, он чувствовал себя в КГБ еще менее уютно, чем я, и речь его предназначалась не мне, а следователю. Он был интеллигентный человек, и теперь я вспоминаю какой-то налет нервозности в его поведении. Вероятно, он думал, что эта встреча для него опаснее, чем для меня, который и так уже сидит в тюрьме, и его поношение не много мне добавит. К тому же он читал Ницше и помнил: «Падающего толкни!»

Я думаю, в обкоме его инструктировали либерально: «Посмотрите, разберетесь на месте. С вашей-то эрудицией!» А он думал, как бы с этим поскорее покончить и унести ноги из КГБ. Таким людям не нужно давать инструкций. Они сами за свой страх и риск уничтожат крамолу в своей среде. С него, наверное, взяли подписку, что он никому ничего не расскажет, и он был отчасти избавлен от необходимости стыдиться, скрывая этот случай от жены, друзей, детей...

В один из июньских дней меня перевели из одиночной камеры в двойную. Навстречу мне встал с койки высокий, русский студент с очень голубыми глазами, протянул руку, как взрослому, и представился: «Георгий Ченчик». Эта сцена навсегда запечатлелась в моей памяти и всплывала каждый раз, когда я читал что-нибудь о давно ушедших в прошлое народниках. Что-то в его сдержанной манере, вежливости, мягкой благожелательной серьезности напоминало российский XIX век, русскую классическую литературу, И. С. Тургенева...

А, может быть, все наоборот — все мои впечатления от русской литературы и истории русских революционных движений с тех пор всегда невольно соотносились со светящимся юношеским лицом Георгия. В тюрьме была хорошая библиотека, и за два месяца под его руководством я прочитал много замечательных книг.

Группу Георгия судили на несколько дней раньше нас. Г. Ченчик и Гений (родители дали ему имя, сулящее неординарную судь-

бу) Бондарев получили по 5, а Юрий Динабург — 10 лет лагерей (наверное за то, что он еще и стихи писал). Я запомнил со слов Георгия лишь одно его четверостишие:

*Миры тоски, как небо, велики.
А я их взял на худенькие плечицы —
Я проглотил живого пса тоски,
И он в груди, кусая лапы, мечется...*

Так или иначе, приговор юным «социал-демократам» по тем временам считался очень мягким, и это обстоятельство заставило судью проявить в нашем деле сугубую суровость. Дело в том, что Мишу Ульмана, к моменту преступления еще не достигшего 14 лет, и остальных 5-ых «преступников» из нашей группы отпустили еще до суда, и прокурор КГБ, учитывая наш тоже небольшой возраст, предложил ограничиться и в нашем с Геней случае лишь условным осуждением. Однако, судья был загипнотизирован своим оправданным страхом прослыть гнилым гуманистом и влил нам все, что мог по обстоятельствам дела — три года детской исправительной колонии.

Эти подробности я узнал, уже выйдя из лагеря, от мамы и тетки, которые были членами адвокатской коллегии, и, конечно, старательно собрали все сплетни, ходившие среди судебных сотрудников о наших «страшных» делах...

Следующие четыре с половиной месяца мы с Геней провели в колонии «малолетних преступников» и очень быстро поняли, что живыми нам оттуда не выбраться. Огромное большинство этих «преступников» были просто сбежавшие домой дети — ученики ремесленных училищ, которых по законам военного времени (впрочем, спустя год после войны) судили, как саботажников (с 12 лет!). Они были с головой отданы лагерным начальством в руки блатных «активистов» — «сук» — воров постарше, которые держали этих детей в постоянном состоянии животного страха, обеспечивавше-

го их беспрекословное рабство. Блатные (суки) распределяли еду, следили за работой, регулярно избивали неугодных, принуждая в этом соучаствовать их несчастных сотоварищей, отбирали все что понравится, и время от времени творили показательные расправы. От мыслей о самоубийстве нас отвлекала только мечта описать ужасы, которым мы стали свидетелями, и передать эти записки на волю. Мы были уверены, что, если наши разоблачения обнаружатся, нас все равно убьют, и нам уже не придется совершать самоубийство.

За последние 50 лет российский читатель узнал столько ужасов о своей истории, что я не вижу смысла еще умножать этот список рассказом о мучениях детей. Во всяком случае, мы с Генькой вряд ли сумели бы досидеть до конца срока, если бы Верховный Суд СССР, в конце концов, после бесчисленных хлопот родственников и жалоб адвокатов, не принял мнения гебешного прокурора и не изменил наш приговор на условный. В декабре 1946-го мы вышли на волю повзрослевшими больше, чем на полгода...

Оба мы с Геней были безотцовщиной. Но его отец был убит «своими», а мой — немцами. Эта разница сыграла свою роль в наших судьбах. Пока я сидел в лагере, старый мамин друг детства, Владимир Моисеевич Воронель, демобилизовался из армии и приехал просить ее руки. Тут ожидал его приготовленный мною сюрприз. Он не растерялся, и вместе с мамой стал ходить по инстанциям со своей свежеспеченной версией о трогательной фронтовой дружбе, в ходе которой якобы мой истекающий кровью отец вручил ему мою судьбу. Сомнительно, чтобы этот сюжет повлиял на решение Суда, но он очень помог в ускорении продвижения жалобных бумаг от Челябинска к Москве. В итоге они поженились, и, выйдя из лагеря, я уже навсегда стал Воронелем...

Отчим увез нас в Астрахань, потом в Махачкалу, где он работал главным инженером на консервных заводах. Потом я поступил в Харьковский Университет, так что, когда приехав в отпуск на каникулы в 1951-м я узнал, что снова сажают «повторников», мне даже

не пришло в голову, что это близко касается и меня. Миша Ульман, как и я, уехавший с родителями в Ленинград, тоже избежал чрезмерно пристального внимания КГБ. Новая сталинская волна репрессий коснулась только Геньки. Он не изменил фамилии. Он не уехал из Челябинска. Он не пропал из виду и оказался в 1951-м первым на очереди для спущенной из центра новой разрядки на пополнение ГУЛАГа. Он был уже тогда студентом Исторического факультета Пединститута, и ему дали десять лет просто за то, что он был сын «врага народа», сам был «врагом народа» в прошлом, и легко прогнозировался, как «враг народа» в будущем. Да, и зачем еще такой человек станет изучать историю?..

К счастью, Гене не пришлось отсидеть весь срок, волна реабилитаций дала и ему возможность через 5 лет выйти, жениться, работать, воспитать дочку, но не получить образование. Он много лет работал слесарем в Политехническом Институте, утешив себя тем, что «хороший слесарь лучше, чем плохой инженер», которым при его анкете только и могла бы ему позволить стать советская система образования. Мы встречались, когда я приезжал в Челябинск и регулярно переписывались. В самом начале 70-х я предлагал ему вместе добиваться выезда в Израиль, но он отказался, сказав, что, хотя такого ужаса, как в детской колонии, ему больше пережить не пришлось, но и просто еще раз выдержать риск заключения он уже не сможет. Сейчас он живет на пенсии в Санкт-Петербурге вместе с женой и дочерью и нянчит внучку.

Миша Ульман окончил китайское отделение Ленинградского Университета и преподавал русский язык китайским студентам в Ленинграде. Он дружил с выдающимся китаистом и талантливым русским писателем Борисом Вахтиным (сыном Веры Пановой) и писал заметки в литературные журналы. Мы иногда встречались то в Москве, то в Ленинграде. В 70-е годы он без труда уехал в Израиль, а оттуда в Австралию. В Австралии он тоже преподавал русский язык в Университете в Сиднее. Он живет там и сегодня, уже

на пенсии. У него трое сыновей. Его средний сын стал популярным раввином в Австралии.

Я, опустив в анкетах кое-какие подробности своей биографии, окончил физико-математический факультет Харьковского Университета. Это произошло уже через год после смерти тов. Сталина. Еще через год работы в провинции я поступил в подмосковный Исследовательский институт. Там я сделал свои открытия, подготовил свои диссертации и построил лабораторию Физики фазовых переходов. Одновременно я работал и в Дубне...

Еще в Университете я женился на писательнице Нине Воронель. Правда, она тогда еще не была ни писательницей, ни Воронель, ни даже Ниной. Она была Нинель Рогинкина. Нинель в юношеском возрасте тоже состояла в подпольном антисоветском кружке, который усиленно изучал марксизм, в тщетной надежде обнаружить (и, конечно, во что бы то ни стало, исправить!) ошибку, приведшую эту, когда-то освободительную, теорию к столь очевидно закрепощающим результатам. В Харькове у них был даже не один кружок, а целая сеть связанных между собой кружков, которая включала несколько десятков студентов. Но им повезло, и среди них не оказалось доносчика. Никто из них не раскололся даже и на допросах (а как же без допросов в сталинское время!), и все они благополучно дожили до более либеральных времен.

В Москве мы с женой очень сдружились с четой Даниэлей и глубоко погрузились в московскую литературную среду. Как ни странно, мои литературные интересы несколько не мешали интенсивности моих занятий физикой, а как-то даже способствовали этому.

Когда Юлия Даниэля и Андрея Синявского арестовали, мы оба, я и Нинель, очень горячо приняли к сердцу их судьбу и этим опять сосредоточили на себе внимание вездесущей организации, оставшейся в силе и после сталинского режима. У меня сложилось впечатление, что безраздельное господство этой организации фа-

тально для России, и так же как в свое время я понял, что, если не выйду из лагеря, я должен умереть, я решил, что теперь, чтобы не умереть, я должен покинуть Россию. Когда в человеке созревает такая решимость, обстоятельства идут ему навстречу. Через семь лет мы поселились в Израиле.

Собственно, только дети и принимали всерьез претензию Сталинского режима основываться на марксистской теории. Детский уровень этой теории в понимании природы человека провоцировал именно детей, лишенных реального жизненного опыта, принять на веру экономический детерминизм и сосредоточиться на партийных программах, как будто именно они определяли качество жизни.

Реальный режим держался на жестокости наказаний и полноте неведения, и, если уж упоминать в этой связи какую-то теорию, то это была скорее теория Жозефа Де Местра*. Сама идея согласования реальной жизни с какой бы то ни было теорией в значительной степени была нам внушена советским языком, который создавал у людей ложное впечатление, будто жизнь страны основана на каких-то принципах, а не на прихотях тирана. Смерть Сталина в единый миг изменила все принципы и продемонстрировала всю тщету теорий. Личности, а не принципы, создают прецеденты, которым в дальнейшем следует рутинная практика. XX в. дал в руки управляющих организаций технические средства, намного превосходящие способность отдельного гражданина к разумному, целенаправленному сопротивлению. Поэтому сопротивление и мог-

* *Жозеф Де Местр* — Пьемонтский граф, талантливый франкоязычный писатель и философ консервативного направления, много лет бывший послом Сардинского королевства в Санкт-Петербурге. Ж. Де Местр был убежденным идейным противником Французской революции и добился большого влияния при дворе императора Александра 1. Он, в частности, горячо отговаривал молодого царя от освобождения крепостных крестьян.

ло быть только неразумным, детским. Абсолютистские претензии властей узаконивают даже хулиганский характер протеста...

Над въездом в поселок ЧТЗ нависала грандиозная стальная арка, на которой был составлен из электрических лампочек сверкающий ритуальный лозунг: «Слава Сталину». Этот лозунг, по нашему мнению, слишком ярко освещал правоту первых рабочих оппозиционеров 20-ых годов, возражавших против «диктатуры вождей», и однажды мы с Генькой решили его погасить.

Миша стоял на шухере, я стал Геньке на плечи и дотянулся до рубильника на арке. Выключив рубильник, мы кинулись бежать, уверенные, что за нами побегут возмущенные толпы.

— Ничего подобного. Нашего кощунства никто не заметил. Потом еще не меньше недели арка стояла погасшая, слепая... Потому ли никто не хватился, что никому до нее не было дела? Или по недогадливости местных властей, которые даже не могли себе представить, что этот их сакральный символ был просто отключен мальчишеской рукой?

Смерть Сталина во всем своем значении тоже не сразу была осознана гражданами. Еще много лет тень его лежала на всей жизни страны.

И сегодня остается на ней его осязаемый след.

УНИВЕРСИТЕТ

Выйдя из тюрьмы я с некоторым удивлением заметил, что сильно изменился и повзрослел. Слишком ясно я чувствовал свое отличие от сверстников. Мне даже пришлось перескочить из седьмого класса сразу в девятый, чтобы немного сгладить этот разрыв. Но жизнь берет свое, и мне, конечно, хотелось быть в согласии с моей школьной, а потом и студенческой средой на физико-математическом факультете пединститута в Махачкале.

Будучи зерном риса в гречневой каше, я напряженно боролся с собой, чтобы стать гречкой. Мне легче бы это далось, если бы я мог презирать окружающих, как советовал А. С. Пушкин («Кто жил и мыслил...»), но мне, напротив, хотелось их любить. Меня тоже все любили. Мне практически не пришлось страдать от антисемитизма. Сверстники-мальчишки, соученики, соседи, сокамерники в тюрьме, сопалатники в доме отдыха, сокурсники и коллеги всегда относились ко мне с уважением и симпатией. Я — абсолютно счастливый человек. Все передраги, которые со мной приключались, происходили от моей же предприимчивости. Никто не преследовал меня несправедливо. Все, что я задумывал — осуществлялось. Я — удачник.

Поэтому мне особенно ясно видно, насколько моя неразстворимая внутренняя структура («камень за пазухой») доминирует над социальным опытом и обстоятельствами.

Вкусив от точных наук, я сильно расширил свои приспособительные возможности, так что, живя в высокогорном собственном мире и спускаясь лишь изредка развлечения ради, не испытывал никакого раздражения при столкновении с мелочами жизни. После лагерного опыта все казалось мне мелочами.

Профессор педагогики в Махачкале на своей первой лекции сделал нам ценное признание: «Педагогика, сказал он, это наука, которая состоит из двух частей — первая из них всем известна, но зато вторая никому не нужна». Но физика и математика даже в поверхностном представлении пединститута были известны немногим и всерьез меня увлекли. Мысль о необходимости университета выплыла по мере роста моих знаний.

Почти непреодолимым препятствием для меня, помимо общих сложностей, была моя бурная биография. Тут я (не в первый раз!) возблагодарил судьбу за еврейское происхождение. Кадристы приходили в такое раздражение от пятой графы в анкете, что мелкие неувязки, получившиеся в моей биографии от исключения основных ее событий, совершенно не останавливали их внимания. Правильно говорила бабушка, что мне повезло рано попасть в тюрьму: «в этой стране, чем раньше он получит эту прививку, тем лучше.» Кадристам и в голову не приходило, что «преступная биография» может начинаться так рано.

Я обошел много университетов, прежде чем нашел университет со знакомством. Это знакомство, а также сильный недобор дали мне возможность поступить в Харьковский Университет. Шел 1950 год. Стране нужны были физики. В физике уже работало много евреев, и небольшое увеличение этого количества отчасти допускалось.

Когда я подавал документы в университет, я так нервничал, что перепутал некоторые свои выдуманные биографические подробности и с ужасом глядел на всесильную завспецотделом, ожидая разоблачения и изгнания. К моему удивлению, она, продолжая сохранять на лице проницательное и даже разоблачительное выражение, пропустила мимо ушей всю чушь, что я ей порол. Больше то-

го, она аккуратно записала эту чушь и положила в мое личное дело, которое пролежало в ее бумагах все годы моего учения, оставаясь источником моих страхов и постоянной неуверенности в будущем.

Впоследствии знающие люди объяснили мне, что в личное дело заглядывают только при поступлении доноса, так что многочисленные разоблачения, так и кипевшие вокруг меня в эти годы, происходили не от бдительности спецотдела, а от тайных импульсов в подсознании товарищей и коллег.

Видимо, хорошо я перековался, если за пять последующих лет не нашлось ни одного завистника, который написал бы на меня какую-нибудь телегу. Зато позже ни одно анонимное письмо, поливавшее грязью институт, где я работал, не обходилось без упоминания моего имени с присовокуплением нелестных эпитетов.

Почему люди в России так часто писали доносы, анонимки? Почему проблема недонесения была чуть ли не одной из главных в сознании советских людей? Отчего донос нам (даже и сейчас) кажется самым непростительным, мерзким грехом, несравнимым с другими, не имеющим срока давности?

Я думаю, что это было связано с особой ролью информации в советском государстве, проявлявшейся и в мании секретности и в номенклатурном распределении сведений («белый ТАСС», «красный ТАСС», «закрытое партсобрание», «собрание партактива» и т. д.), и в продолжавшихся много лет усилиях глушения иностранных радиопередач.

Особое отношение к информации в России идет еще из прошлых веков и близко к идеологии католицизма, который с необычайной щепетильностью воспринимал любой оттенок инакомыслия в существенных для себя вопросах.

Практически эта строгость не оправдана.

Ключ к пониманию истоков этой нетерпимости следует искать не в практической сфере, а в идейной. Здесь аналогия с католической церковью имеет эвристический смысл.

Католицизм как идеология связан с догматом о непогрешимости Папы. Именно это слово — «непогрешимость» — удачно характеризует тот идеал, который маячил перед мысленным взором создателей и столпов русского самодержавия и был, наконец, осуществлен И. В. Сталиным. Это же слово, производимое нами от слова «погрешность», в его техническом значении ведет нас к пониманию особенностей соответствующей системы.

С точки зрения ученого непогрешимое государство означает динамическую (в отличие от стохастической, вероятностной) систему, управляющую без погрешности всеми составляющими ее элементами, т. е. машину. В физике известно (см., например, «Что такое жизнь с точки зрения физики», Э. Шредингера), что такая система в принципе осуществима только при абсолютном нуле. Машина может работать благодаря тому, что ее температура во много раз ниже температуры плавления ее частей. Но даже и машины в реальных условиях то и дело выходят из строя, а, тем более, системы составленные из такого несовершенного материала, как человеческие существа.

Непогрешимо управляющая система должна быть также всеведущей, чтобы ее управление всегда было эффективным. Информация в такой системе есть подсобное средство управления и является одновременно и необходимостью для определенного уровня руководства, и эффективной силой, которую это руководство должно оберегать от чужих рук.

В принципе, для полного всеведения, которое одно может дать полностью непогрешимое руководство, необходимо детальное знание о любой, сколь угодно малой части системы. Поэтому, например, донос на Любку, которая в позднее время через черный ход и кухню водит к себе в комнату непрописанных мужчин, также несет свою государственную функцию. Государство, которое позволит Любке себя обманывать, не сможет достигнуть всемогущества, происходящего от всеведения и непогрешимости.

Всякое отклонение от «единственно правильного» взгляда, заведенного порядка или принятого образа действий есть тепловое возбуждение, повышающее общую температуру (т. е. беспорядочность) в системе, нарушающее четкость управления и тем самым посягающее на платоновский идеал. То, что борьба с такими отклонениями расшатывает систему еще больше, не может остановить ее приверженцев, так как никакие практические соображения не идут в счет перед лицом оскорбления святыни. Так же и тот факт, что такая идеально управляемая машина движется в совершенно произвольном и, во всяком случае, не первоначально избранном ее творцами направлении, не может иметь значения по сравнению с эстетическим восторгом перед иллюзией абсолютно управляемой динамической системы.

К счастью, это только иллюзия, романтическая мечта, как и идея мирового господства. Реальная система не может достигнуть состояния абсолютного нуля ни в физике, ни в обществе. Это связано, наряду с другими факторами, с невозможностью осуществить полную замкнутость системы. Конечно, изоляция России от остального мира была значительна, но отнюдь не абсолютна. В общем, причины неосуществимости идеального государства коренятся в том простом и отрадном факте, что общество состоит из слишком большого числа индивидов с хаотически разными интересами и стать вполне динамической системой никогда не сможет. Управление может быть только статистическим в соответствии с природой самого объекта.

Четыре года в Харьковском Университете прошли для меня счастливо, несмотря на то, что это были очень тяжелые годы агонизирующей сталинской диктатуры... Я все еще упивался своей свободой, несмотря на всю относительность этого понятия в те годы. Ценить свободу по-настоящему может только тот, кто знал неволю...

Марксизм-ленинизм в Харьковском Университете преподавался на украинском языке. Это дало мне повод познакомиться

с Нелей Рогинкиной, которая охотно и с юмором объясняла мне непонятные слова. Услышав, что в каком-то году «партия перешла к политике примуса», я спросил, не зашла ли речь, наконец, о ширпотребе и домашнем хозяйстве граждан. Неля со смехом объяснила, что «примус» на украинском означает «принуждение», и потому никакого послабления в политике партии не было и быть не могло. Оказалось, что мы понимаем друг друга с полуслова...

Познакомившись с Нелей ближе, я потерял интерес к посещению этих лекций и отчасти даже к украинскому языку. Нелино женское обаяние и художественный дар увлекли меня далеко от марксизма и «политики примуса». Знакомство наше продлилось вне лекций, вне Университета и заняло все наши мысли на долгие годы. Оно сильно повлияло на жизнь обоих. Словами этого не высказать.

В университете я впервые столкнулся с физической лабораторией, как инструментом для задавания природе непосредственных вопросов. Оказывается, чтобы узнать что-то, не обязательно (а иногда и не поможет) искать в книгах, спрашивать у знатоков, наблюдать в жизни. Можно пойти в свою лабораторию, сконструировать своего маленького Мефистофеля и узнать то, чего никто не знает, отчего разинут рот знатоки, что никогда не попадало в книги. Правда, этот Мефистофель не любит вопроса «почему», но он всегда честно отвечает на вопрос «как». К тому времени я уже понимал, что вопрос «почему» содержит определенное представление об ответе или хотя бы о форме ответа, и поэтому является некорректным.

Человек, который сам может убедиться в существовании атомов, который сам решает, какую природу и в каких условиях ему наблюдать, отличается от книжника так же, как путешественник от учителя географии, как футболист от болельщика.

Экспериментатор, как охотник, живет на природе. В его жизни телесная и организационная деятельность оказывается духов-

ной (по крайней мере, умственной), как у полководцев, строителей и капитанов.

Я был захвачен целиком и сидел в лаборатории настолько безвылазно, что преподаватель марксизма теперь радостно и удивленно улыбался, завидев меня на лекции. Награда не заставила себя ждать.

На курсе специально было созвано собрание, чтобы осудить меня за пренебрежение лекциями по марксизму. В те времена такое собрание могло кончиться моим изгнанием из университета. Но мне опять повезло. Обвинение в пренебрежении было снято после демонстрации груды конспектов классиков марксизма, сделанных мною в прошлом, еще в период моей антисоветской деятельности (в целях ревизии). Некрасивые девицы, составлявшие идейное ядро движения, которое мы теперь назвали бы «культурной революцией», были потрясены моей марксистской эрудицией (обнаружились даже конспекты статей не входивших в программу) и обезоружены открытой улыбкой соблазнителя, которую я усвоил вместе со способностью к мистификации.

Так как основная моя жизнь протекала теперь очень далеко от марксизма, обман давался мне легко, как и всем советским людям. Резолюция собрания гласила: «Не пропускать лекций по марксизму без острой необходимости!» После этого я пропускал уже напропалую — необходимость присутствовала постоянно.

Все как-то уже давно привыкли, что познающая деятельность является теоретической. Познание связывается в уме с необходимостью сесть за книги, много и долго размышлять, ограничить свою природную живость и отказаться от земных свершений. Однако это представление — результат совсем недавнего интеллектуального и социального опыта и вовсе не соответствует природе вещей и жизненной реальности.

Познание — это тяжелая и рискованная практическая деятельность, которая зачастую достигает остроты приключения и лишь

в исключительных случаях протекает в таких анекдотически спокойных формах, как жизнь Иммануила Канта. Хитроумный Одиссей — идеал познающего субъекта. Кровь и пот, заливающие глаза, — спутники этого процесса. Жеребчий восторг, изматывающее ожидание и животный страх — сопутствующие чувства.

Глядя на лица своих друзей, мирных физиков, философов, интеллектуалов, видя эти волевые подбородки, хищные носы, великолепные зубы, я частенько подумываю, что в нашей среде можно было бы снять фильм из жизни пиратов или рыцарей Круглого Стола. Что заставляет этих полнокровных людей проводить полжизни в размышлениях над исписанными листками?

Гете сделал Фауста стариком, но фаустовские страсти скупают людей смолоду. Я не берусь живописать всю гамму чувств, охватывающих человека при творческой работе, а сравнить мне их не с чем. Наверное, это похоже на «упоение в бою и бездны мрачной на краю». Если человек хоть раз испытывал такую полноту чувств, он всю жизнь будет стремиться к повторению этого состояния. Обычное течение жизни такого напряжения, такого мощного душевного подъема, такого полного удовлетворения не дает. Есть бывшие фронтовики, которые тайно жаждут войны, революционеры, ищущие опасности, и игроки, проигрывающие состояния. Я говорю о захлебе любопытства, о празднике исследователя. Польза, которую извлекал из своих скитаний Одиссей, несмотря на его выдающееся корыстолюбие, была неизменно равна нулю, и столь же неизменна была его готовность к новым путешествиям.

Не может быть, чтобы такое властное стремление происходило от одних только размышлений, от социальных или культурных причин. В основе должна лежать природная, биологическая реальность, вложенная в самую структуру человека, что-то связанное с «созданием по образу и подобию...»

На мой взгляд верный ключ к этой проблеме дает язык Библии: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала...»

Примерно по этой схеме развивались и наши отношения с Нелей, в результате которых мы оба много узнали о жизни. Изменились мы оба, и к тому же у нас появился сын Володя.

Это создало новую заботу и ответственность в наших душах.

Познание есть овладение и, может быть, даже оплодотворение природы. Овладеть — не всегда значит познать, но познать — всегда значит овладеть, идейно усвоить, сделать своим.

Животному свойственна активность по отношению к окружению, оно стремится овладеть самкой, территорией, пищей. Человек — тоже. Животное в этом своем стремлении наталкивается на аналогичную активность соседа, овладевающего тем же у него под носом. Человек — тоже.

Животное приходит в дикую ярость. Человек — тоже.

От бессильной ярости животное впадает в стрессовое состояние, являющееся причиной его преждевременной гибели и смертью от перенаселения. Бывает, что и человек — тоже. Но не всякий и не всегда.

Человек отличается от животного тем, что у него есть душа. Я, пока что, имею в виду всего лишь эмпирический факт наличия внутренней душевной жизни, которую мы непосредственно в себе ощущаем. Даже, если она и происходит от эволюционного усложнения психики, душевная жизнь не перестает быть чудом, и ее происхождение не становится менее Божественным. Для человека существование души, воображения, памяти, означает, что часть своей активности он переносит в сферу невидимого.

Стесненный материально, лишившись куска хлеба и пристанища, ставши рогоносцем и всеми осмеянный, человек, тем не менее, может оказаться победителем в области духа. Лишившись своей территории, он может овладеть в воображении всем миром.

Если темпераментнейший неандерталец мог отобрать жен у трех соперников, убить двух из них и съесть не полностью одно-

го, установив свое частичное господство над территорией в полтора гектара, то библейский ясновидец один в своих апокалиптических видениях мог освободить от оков сотни тысяч праведников, убить миллионы врагов и абсолютно восторжествовать над всем бескрайним миром, установив в нем справедливость по своему пониманию.

Эти грандиозные возможности совершенно изменили всю жизнь человека, так что его животная природа даже отступает на второй план перед жизнью духа. Будучи реалистом, то есть живя лишь насущным, он ставил себе только выполнимые задачи (*поймать, убить, съест*), но, сделавшись трансцендентником, поставив невидимое наравне или даже выше видимого, человек посягнул на невозможное, то есть на изменение своей и окружающей природы.

Мы проживаем две жизни. Может быть, современное перенаселение происходит оттого, что воображение позволяет жить даже и обиженному, и обездоленному. «Кто стал бы сносить?» — вопрошал Гамлет, но мы сносим, все больше уходя в себя. Так как эта вторая жизнь потусторонняя по отношению к реальности, мы, таким образом, на второй гамлетовский вопрос даем сразу два ответа: «Быть!» и «Не быть!»

Это инобытие по отношению к бытию небезразлично. Оно претендует на то, чтобы заместить бытие, как неистинное. Истина — это бытие нашего духа, преодолевшее внешнюю природу. Таким образом, то, что в душе происходит с природой, — это познание, или овладение ею в соответствии с нашей духовной структурой, превращение ее в переживание, которое соперничает с реальностью — или даже успешно ее замещает.

Будучи безнадежно ограничен в реальности, человек переносит свою активность в идеальную сферу, овладевает ситуацией мысленно и живет в этом новом, сконструированном отчасти им самим, мире, — «познает истину».

ПЕЧАЛЬНЫЙ АККОРД

Нашими профессорами в Харькове были замечательные ученые, многие из которых одновременно работали во всемирно известном исследовательском институте «УФТИ» (Украинском Физико-Техническом Институте). В конце 30-х (т. е. за двадцать лет до моего студенчества), этот институт, в котором работали и многие сочувствующие социализму идеалисты из-за границы, пережил грандиозный разгром, память о котором была по-прежнему жива в сознании старшего поколения, наших учителей.

Каждому поколению взгляды предыдущего кажутся наивными, а последующего — циничными. Суть дела, наверное, в том, что это взгляды на разные реальности, которые находятся перед глазами тех и других. Если старшему поколению КГБ (НКВД) казалось жуткой, все-сильной мафией, окруженной атмосферой смертоносной тайны (наверное, так и было), моему возрасту эта организация представляла уже как что-то вроде привилегированной полиции. Конечно, нужно было ее опасаться и по возможности избегать ее внимания, но перед ней не стоило трепетать.

Трагический ужас «Дела УФТИ» 30-х годов, материалы которого были, наконец, напечатаны в Харькове спустя

полвека (и перепечатаны в «22», № 117), показали нашему бывшему профессору М. И. Каганову «дьявольской работой» НКВД. «Следователи НКВД — опытные режиссеры», — писал он в своей эмоциональной статье «Через 60 лет», завершающей публикацию. А я думаю: откуда был у них режиссерский опыт? И зачем он им был нужен?

Наше циничное понимание позволяет и кошунственную мысль, что часть вины за всю эту «режиссуру» ложится на самих обвиняемых. Именно они позволили некомпетентным (фактически малограмотным) партийным назначенцам участвовать (а, зачастую, и помогать им в конкурентной междоусобной борьбе) в своей профессиональной дискуссии о развитии науки и технологии в СССР так, как будто эти, посторонние науке, люди могли думать всерьез о пользе «социалистического отечества», а не только о своем служебном продвижении. Как будто вообще есть такие люди, для которых собственные интересы ничего не значат. И часть этой вины ложится на тех, кто искренне верил советской власти и принимал всерьез ее фразеологию.

Профессор М. (Мусик) Каганов свидетельствует, что в шестидесятые годы Л. Ландау корил себя, что и сам он понял суть советского режима только после собственного ареста.

А у меня есть и другое неожиданное свидетельство. В 1975 г., после заседания попечительского совета Тель-Авивского университета, в коридоре ко мне подошел незнакомый пожилой джентльмен и в небрежной манере спросил, был ли я в России знаком с профессором Ландау. Я сказал, что знаком, конечно, был, но не настолько близок... Тут он перебил меня и азартно закричал: «Ну и как, он до конца остался таким же дураком, как и в 30-е годы?!...» Я смущенно забормотал что-то про его гениальность и «Курс физики», но он отмел все это взмахом руки: «Я не о физике говорю. Я говорю, что он был фанатично предан советской власти и верил всей их демагогической чепухе...»

Эксцентричный джентльмен оказался профессором Эдвардом Теллером — великим физиком и отцом американской водородной бомбы. В молодости он вместе с Ландау участвовал в семинаре Нильса Бора и, оказывается, вступал в горячие споры с ним (и многими другими молодыми физиками) по политическим вопросам.

Ландау был тогда не одинок. Бесчисленное множество молодых интеллектуалов в Европе всерьез в то время (да ведь и сейчас!) верило, что стоит «научить каждую кухарку управлять государством» (в этой детской формулировке тоже содержится представление об обществе, как о машине), как жизнь на земле потечет по иному сценарию. Волки станут пастись вместе с овцами, люди любят друг друга и т. п.

Вслед за редкими советскими счастливыми, преуспевшими за границей, Ландау, Шубниковым, Капицей, Синельниковым и другими, сотни западных идеалистов рванулись в Россию строить страну победившего социализма. И там искренне пытались слиться и отождествиться...

Некоторым потом удалось вовремя унести ноги. Другие погибли. Им несть числа. От третьих произошли такие устрашающие плоды, как Миша Вольф — будущий глава восточногерманского ШТАЗИ (Тайной полиции).

После приезда на родину Л. Д. Ландау работал в УФТИ. Там вместе с ним работала сильная группа немецких и австрийских энтузиастов, которые за несколько лет сделали этот институт авторитетным в научном мире, и которых впоследствии всех обвинили в шпионаже. Как написал через несколько лет в своем донесении в НКВД тогдашний директор этого заведения: «в институте возник заговор под руководством Л. Д. Ландау и А. Вайсберга* для саботажа военных работ».

* А. Вайсберг приехал из Берлина в начале 30-х. Вместе с Л. В. Шубниковым (вернувшимся из Голландии) — создавал низкотемпературную лабораторию

Что должен был думать следователь НКВД с четырехклассным образованием, попавший в ЧК по комсомольской путевке, когда он получил от директора УФТИ вышеупомянутое заявление о «саботаже военных работ»? Или малограмотную характеристику сотрудника с такими словами: «Корец был активным участником группы, борьба которой против дирекции и оборонных работ ударила по выполнению оборонной тематики». И, вместе, протокол Ученого совета, на котором научные сотрудники выступали друг против друга и употребляли такие слова, как «интересы социализма», «оборонная тематика» и т. д. (В наше циничное время уже всем было известно, что «оборонная тематика» означает прибавку к зарплате, а «интересы социализма» — попросту «мои интересы» и т. д.).

Должен ли был следователь быть «опытным режиссером»? Или отпетым злодеем? Скорее, он был бы самоубийцей, если пытался бы погасить это дело в раскаленной атмосфере «обострения классовой борьбы в капиталистическом окружении» 30-х годов в СССР. То, что Ландау целых три года не сажали, несмотря на бесчисленные доносы любителей, скорее показывает, что до определенного времени (может быть, и до особого указания) НКВД добросовестно выполнял свою работу, полагаясь только на проверенную информацию своих профессиональных кадров.

«Режиссеры из НКВД» не столько «превратили в трагедию бытовую драму из жизни института», как деликатно выразился Мусик Каганов, сколько реализовали недопустимые метафоры партийно-

в УФТИ. В 1937 г. после двух месяцев следствия Льва Васильевича Шубникова расстреляли, «как врага народа». Вайсберга (как германского подданного) после трех лет скитаний по советским тюрьмам выдали Гестапо в ответ на письма к Сталину от Эйнштейна и других нобелевских лауреатов.

В 1951 г. во Франкфурте на Майне вышла его книга «Ведьмовский шабаш» о его опыте жизни в СССР и сталинском терроре. Можно ли доверять людям на Западе, которые говорят что до «Архипелага ГУЛАГ» они ничего об СССР не знали?

политического жаргона, на котором пытались разговаривать полные самоубийственного энтузиазма интеллигенты.

Каганов дальше писал о проф. К. Д. Синельникове, вовлеченном в это «дело» на стороне НКВД: «Его уверенность, что Хоутерманс и Вайсберг шпионы, по-моему, происходит от ксенофобии. Удивительно, что ею заражен такой человек, как К. Д. бывший в Англии учеником великого Резерфорда. Между прочим, его женой была англичанка. Трудно понять...»

Что, собственно, здесь так трудно понять? Что спустя тридцать лет он обвиняет своих иностранных коллег, чтобы выгородить себя и как-то оправдать свою неблагоприятную роль в этом деле?

Каганову и в голову не приходит, что Синельников, на самом деле, возможно, был с НКВД заодно. Это потому, что он знает Синельникова как «ученика великого Резерфорда» и директора УФТИ, «авторитет которого был огромный».

В нашем циничном поколении (т. е. среди студентов Мусика) было широко известно, что Синельников — сотрудник КГБ. Что это конкретно означало — никто, конечно, не знал, но и трудностей в его понимании, как и пиетета к ученику великого Резерфорда, у нас уже не было и в помине.

«Если враг не сдается — его уничтожают», — эту подходящую ко времени фразу произнес тогда не осторожный товарищ Сталин, а всемирно известный гуманист Максим Горький, чье имя много лет с гордостью носил наш Харьковский университет.

Харьковских ученых расстреляли, конечно, не за их взгляды или поступки. И одного из их следователей, готовивших «Дело УФТИ» — Торнуева — впоследствии (спустя всего четыре года) приговорили за это к расстрелу тоже не за «нарушения социалистической законности», которой никогда не существовало. И уж конечно не за бессмысленную гибель невинных людей. Просто и те, и другие попали в шестерни грандиозной **бесчеловечной машины**, которую они — с разных, конечно, сторон — помога-

ли строить, но которая совершенно не предполагала их благополучия и вообще на реальных людей совсем не была рассчитана. То, что этого Торнуева, как и многих других его коллег, потом расстреляли, наверное, и снизило «режиссерский» энтузиазм НКВД до современного уровня.

Перечитывая в очередной раз весь этот материал, я думаю: «Откуда взялось у молодого Теллера столько пронизательности, чтобы уже в 20-е годы ясно видеть, куда идет дело?»

Впрочем, и в 40-х, во время войны с Германией, он был достаточно пронизателен, чтобы поддержать проект атомной бомбы. А в 50-х и 70-х он, вопреки предрассудкам своего профессорского круга, не испугался прослыть поджигателем войны и махровым мракобесом, настаивая, что коммунизм — это разновидность фашизма.

Как ни странно, среди ученых он был почти одинок. Его позиция не вызывала сочувствия коллег, а его эксцентричная манера (вполне в духе Ландау) отпугивала людей, привыкших к принятым на Западе обтекаемым формам выражения.

Те самые ученые, которые не знали, как полнее выразить свое восхищение смелой позицией Сахарова, с трудом сохраняли вежливость в отношении Теллера, сделавшего (и, в сущности, провозглашавшего) то же самое.

Сахаров сделал свое изобретение в молодости, будучи полон патриотического энтузиазма. В зрелые годы опыт жизни убедил его, что советскому режиму нельзя доверять судьбы человечества.

Теллер уже смолоду был уверен, что идея планируемого общества ничем иным, кроме всеобщей тирании, кончиться не может, и в зрелые годы без колебаний занялся сначала атомной, а потом и водородной бомбой, считая, что и от нацизма, и от коммунизма равно следует ожидать смертельной опасности демократическому образу жизни. Я не думаю, что он руководствовался какой-нибудь социальной теорией. Просто его представления о человеческой

природе оказались более реалистическими, чем у его сверстников и коллег.

Но, как физики, они оба работали над одной из самых важных для будущего человечества проблем: создание источника энергии, не зависящего от органических запасов Земли. Политики и журналисты видят здесь только бомбу, но если человечеству суждена долгая жизнь, эта проблема рано или поздно станет проблемой номер один для жизни на Земле.

Я спросил у Теллера, почему он смолоду был так скептически настроен. Он ответил, что в 1919 году во время советской революции в Венгрии попутчики выбросили его на полном ходу из поезда, заподозрив в нем еврея. Они оказались правы. Он выжил. И, хотя он с тех пор хромает (ему тогда было 17), он благодарен судьбе за этот жестокий урок человековедения.

Конечно, это не объяснение. Почему одни люди поддаются иллюзиям и коллективным психозам, а другие — нет, не знает никто. Но все же знание истории (и психологии) поставляет нам прецеденты, которые могли бы помочь вдумчивому человеку. Знание добавляет печали. Станет ли следующее поколение от этого еще циничнее?

ХЛЕБ, ОТТЕПЕЛЬ, УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ

В год моего окончания университета — 1954 — уже не было тов. Сталина, но еще не отмерли сложившиеся при нем порядки. В частности это означало, что путь в науку для меня по-прежнему закрыт в связи с антисемитскими ограничениями.

Перед самым моим получением диплома Университет посетил высокопоставленный человек из Сухуми по фамилии Демирханов и конфиденциально сообщил нашим профессорам, что ищет талантливую, творческую молодежь для своего исследовательского института. В его институте, оказывается, работала сильная группа пленных немецких ученых-физиков во главе со знаменитым Фон Арденне, работавшая прежде в германском атомном проекте, и через год Н. Хрущев планировал отпустить их на родину. Нужно было срочно подготовить им адекватную смену. Ему тут же представили четырех евреев из нашего выпуска и одного бывшего фронтовика побывавшего в плену, как наиболее перспективных кандидатов (и наиболее угрожаемых — тогда еще пребывание в плену портило анкету, как и пятый пункт).

Веселый, уверенный в себе Демирханов собрал нас для инструктажа и, добродушно похохатывая, рекомендовал,

кроме усовершенствования английского, поупражняться в игре в теннис для лучшего внедрения в творческую атмосферу их института. От опасений в связи с анкетами он отмахнулся, будучи убежден в приоритетной важности нашей технической одаренности, и велел университетской администрации оформить нам всем назначение в аспирантуру Академии Наук.

На этой оптимистической ноте он отбыл в Сухуми, сопровождаемый благословениями обеспокоенных нашей судьбой профессоров.

Через две недели от него прибыла покаянная телеграмма в которой он признавал, что недооценил идеологическое упорство своего отдела кадров. Он отменил свое приглашение, но любезно обещал зато не сообщать об этом нашей администрации, и, т. о., обеспечить нам свободу в устройстве на работу.

Воспользовавшись этим, я явился в Саранск, захудалую столицу Мордовской республики, в 500 км. от Москвы, где мой отец тогда работал главным инженером консервного завода, и обратился в местный педагогический институт (спустя 40 лет он превратился в Мордовский Университет), как направленный в Академию Наук, но в связи с семейными обстоятельствами согласный и на меньшее.

Меня приняли преподавать физику, а Неля вынуждена была читать популярные лекции об атомной энергии для населения. Мы оба впервые получили возможность увидеть реальную жизнь российской глубинки... До этого я жил на Кавказе, в Сибири, а Неля в Харькове, где течение жизни выглядело не так безнадежно.

Вопреки ожиданиям, я был приятно удивлен уровнем математических способностей (но не знаний, конечно) моих студентов. В Мордовской республике тогда насчитывалось всего 45% мордвин, которые считались наиболее отсталой частью населения. Студенты-мордвины (для которых в связи с отсталостью была особая привилегия при поступлении) обнаруживали в решении задач четкий,

упорядоченный интеллект, который никак нельзя было приписать их домашнему, деревенскому воспитанию. По-видимому, это изначально было заложено в их языке.

Позже мордовский писатель, с которым я познакомился на представлении его пьесы в театре, с болью сказал мне: «Мы — единственный народ, у которого нет даже национализма.»

Он имел в виду действительно недостаток амбиции у своих соплеменников и постоянную готовность стусеваться, которую я неоднократно наблюдал и у моих студентов, несмотря на их заметные успехи в учебе. Неужели многолетнее порабощение и нищета народа так заметно сказываются и индивидуально на каждом его представителе?

Маруся пришла к моим родителям из деревни в лаптях. Мать послала ее из колхоза в город пережить голодное зимнее время (1954) после 9-го класса школы, и ее порекомендовали нам в домработницы. Я подарил ей свои туфли, и она впервые в жизни надела кожаную обувь. Мой 43-й размер оказался ей впору, и она в них чувствовала себя нарядно одетой.

Отца вскоре услали на другой завод, а Маруся осталась с нами. Она научила Нелю растапливать углем печь, и вечерами они вместе садились за «Книгу о вкусной и здоровой пище», чтобы найти что-нибудь подходящее для добытых ими в очередях в дневное время продуктов. Большая часть домашней работы, ложившейся на Марусины плечи, состояла в ежедневном отстаивании хлебных очередей и растапливании печей. В свободное время она с увлечением читала книгу лауреата Сталинской премии С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» о счастливой колхозной жизни («Какая замечательная книга, — говорила она с умилением, — как в сказке!») и слушала песни по радио. Каждую субботу она передавала с оказией буханку черного хлеба и 2 пачки горохового концентрата своей голодной се-

мье в колхоз. Когда наступило время весеннего сева, мать забрала ее от нас. Она шла по улице в моих туфлях 43-го размера, в ватнике, с большим рюкзаком подаренных Нелей вещей за плечами и плакала в голос: «Никогда мне больше радио не послушать!»

У нас с Нелей не было недостатка в амбиции, и после года этой саранской жизни мы отправились в Москву искать работу по плечу. Начинаясь Хрущевская «оттепель», и наши поиски казались небезнадежными. Я обошел дюжину московских исследовательских институтов прежде, чем меня приняли в один из них, благодаря горячим рекомендациям моих дорогих харьковских профессоров Бориса Веркина и Евгения Боровика, к сожалению теперь уже покойных.

Почти одновременно Неля поступила на переводческое отделение Литературного Института (т. наз., «таджикское», т. е. — персидское отделение), и началась наша московская жизнь, трудности и прелести которой были несравнимы с нашей тихой жизнью в Саранске.

Если в Саранске, просто чтобы купить хлеб, нужно было отстоять часы в очередях, в столице нашей родины бесплатный хлеб по специальному распоряжению Хрущева в изобилии лежал нарезанный на столах в общественных столовых, символизируя наше стремительное приближение к коммунизму. Намазав на этот бесплатный хлеб бесплатную горчицу и посыпав солью, мы запивали это горячим чаем за 32 коп. (до реформы!) и т. о. чувствовали себя обеспеченными до обеда. Учитывая, что половина моей зарплаты младшего научного сотрудника уходила на оплату жилья, мы с Нелей горячо одобряли этот смелый, хотя и неосмотрительный, шаг нашего правительства. Окрестные колхозники тоже одобряли эту политику. Они потихоньку собирали этот хлеб в мешки, чтобы кормить свою скотину и т. о. выполнить план поставок по мясу и молоку.

Неля очень быстро заняла заметное место в литературном мире, и нам стали доступны все явные и тайные культурные течения в столице. Это поначалу было так интересно, что отчасти возмещало постоянное недоедание и бездомность.

Еще будучи студентом Бориса Иеремиевича Веркина, я был загипнотизирован загадочностью критических явлений на границе жидкого и газообразного состояний вещества. Казалось почти чудесным возникновение из непрозрачного хаоса нового качества при постепенном переходе от однородного газообразного к различимо двухфазному (жидкость-пар) состоянию ниже критической точки.

Деятельность экспериментатора требует сочетания двух разных склонностей, не всегда совместимых: **наблюдательность и изобретательность**. В моей натуре всегда переवेशивало первое. Вглядываясь в причудливый узор экспериментальных данных, я подчас с детским азартом силился разглядеть, наконец, «зайчика», которого столь упорно скрывала от меня загадочная картинка, полученная из опыта. Когда временами это удавалось, я чувствовал себя ошастливленным.

Я работал в довольно периферийном ВНИИФТРИ — в сущности, это была «Палата Мер», в которой веком раньше по авторскому произволу веселых пародистов, братьев Жемчужниковых и А. Н. Толстого, служил знаменитый Козьма Прутков — в лаборатории симпатичного, очень снисходительного начальника — Петра Георгиевича Стрелкова (будущего Чл.-корр. АН СССР). Увлечшись критическими точками на границе жидкого и газообразного состояний, я внимательно проанализировал весь корпус имевшихся экспериментальных данных и обнаружил, что разброс измерений всех физических величин во всех лабораториях мира резко увеличивался в окрестности этих точек всех веществ и всегда сильно превышал допустимую погрешность применяемых методов.

Такая аномалия с очевидностью обличает неадекватность подхода работавших с объектом исследователей.

Действительно, критическое состояние вещества, при котором радиус корреляции между частицами стремится к бесконечности, оказалось настолько необычайно чувствительно к внешним деформирующим факторам, что даже гравитационное поле Земли (т. е. сила тяжести) заметно искажало данные всех измерений. Но, чтобы с ясностью убедиться в этом, нужно было подобраться гораздо ближе к этой точке, чем это удавалось до сих пор. Такое интимное понимание своего деликатного предмета, на которое у меня ушло не меньше двух лет, подтолкнуло меня приступить к своим собственным измерениям, применив всю свою **изобретательность**. К счастью, ее оказалось достаточно для получения первых результатов, которые были замечены выдающимися физиками в Англии и США и обеспечили мне их дальнейшее пристальное внимание.

Во ВНИИФТРИ, как и во многих других советских исследовательских институтах, была принята, так называемая, «феодалная» (в отличие от «рабовладельческой», принятой в отраслевых) система: половину времени сотрудник мог тратить «на себя», т. е. на свои творческие идеи, а половину «на хозяина». 18 счастливых лет во ВНИИФТРИ, сплошь заполненных напряженной круглосуточной работой, пролетели удивительно быстро.

Мне необычайно везло с вниманием иностранных коллег, хотя это можно было истолковать и иначе — возможно, я выбирал свою задачу, исходя из интуитивно правильного понимания существующей в большой науке тенденции.

Может быть, этим я был обязан своим, упоминавшимся выше, учителям и неформальной принадлежности к интеллектуальной школе Л. Д. Ландау, хотя мои опыты, как раз, опровергали его теорию.

Лев Ландау редко выходил за пределы своей профессиональной сферы, но его интеллектуальное влияние, обаяние его бескомпро-

миссного (даже, пожалуй, чрезмерного, но такого конструктивного в физике) рационализма распространилось далеко за эти пределы, и, в сущности, определило мировоззрение целого поколения советских ученых, отнюдь не только физиков.

Мой первоначальный успех расширил мои возможности и позволил мне пригласить группу студентов из Харькова для совместной работы над проектом. Атмосфера творческого энтузиазма, так очаровывавшая меня еще в мои студенческие годы в Харькове, воцарилась на несколько лет и в моей лаборатории во ВНИИФТРИ...

Однажды выдающийся физик, академик Михаил Александрович Леонтович, изъявил желание посетить нашу лабораторию. Наш институт считался закрытым заведением, и без специального разрешения войти туда было невозможно. Я пошел в отдел кадров и заказал пропуск для Леонтовича, не подозревая, какую бурю это вызовет к жизни. Поскольку институт на самом деле был заштатный, вовсе не академический, и знаменитые академики заглядывали туда не часто.

Поэтому, когда, встретив Леонтовича в проходной, я повел его через двор в лабораторию, навстречу выбежал дворник со шлангом в руке и заорал: «Убирайтесь! Нечего тут шляться в рабочее время! Велено срочно мыть дорогу!» И не дожидаясь, пока мы отпрыгнем в сторону, обдал нас обоих водопадом брызг.

«А что за срочность?» — спросил я.

«К нам академик важный из Москвы приезжает, а вы тут под ногами путаетесь!»

Дворник, конечно, не знал, что значит академик Леонтович, но он хорошо знал, что значит приказ директора.

Мы в лаборатории потом так увлеклись обсуждением новых задач, возникавших в ходе моих экспериментов, что не заметили, как бежит время. Пару раз в дверях появлялось искаженное заботой лицо директора института, но мы от него отмахивались, не

вслушиваясь. На третий раз он не дал от себя отмахнуться и ворвался в кабинет с упреком:

«Александр Владимирович! Намерены вы нашего гостя обедом кормить или нет?»

«Конечно, намерен, — ответил я, глянув на часы. Действительно, уже перевалило за два часа пополудни. — Сейчас мы договорим и пойдем в столовую».

Директор, успокоенный, убежал, а мы с Леонтовичем, не прерывая разговора, отправились в институтскую столовую, закрывавшуюся в полтретьего. Конечно, все приличные блюда были уже съедены и оставался только фасолевый суп. Под воркотню кассирши, что «приходят тут всякие перед самым закрытием», мы схватили две тарелки супа и сели к заляпанному пластиковому столу. Не успели мы поднести ложки ко рту, как растворилась какая-то незаметная дверь в дальнем углу, и из нее выскочил белый от ярости директор — губы его дрожали, щека дергалась: «Хотел бы я знать, Александр Владимирович, что вы тут делаете?»

«Как что? Суп едим».

«Почему суп?» — взвыл директор.

«Потому что больше ничего не осталось!»

Директор приблизил свое искаженное лицо к моему, искренне удивленному: «Вы это нарочно устроили, чтобы поиздеваться?»

Леонтович молча наблюдал сцену — он был не так наивен, как я, и ему, наверное, все уже стало ясно. Директор впопыхах схватил тарелку академика и бегом припустил к той таинственной двери, из которой появился. Мы последовали за ним и вошли в нарядный банкетный зал, о существовании которого я, проработавший в институте десять лет, понятия не имел. Стол был накрыт на троих, но за этим столом можно было накормить небольшой взвод. На крахмальной белой скатерти красиво поблескивали хрустальные фужеры и узкие рюмочки для коньяка, меж разноцветных бутылок выстроились невиданные блюда: красная и черная икра, копченая

колбаса и даже — невероятный для России тех лет в ноябре — салат из свежих огурцов. Я с удивлением уставился на всю эту благодать.

«Вы что, никогда здесь не были?» — перехватив мой взгляд, спросил директор.

«Меня никогда сюда не звали», — ответил я, как-то сразу оценив многие, казавшиеся мне прежде таинственными, подводные течения нашей институтской политики...

Термодинамические свойства веществ в критических точках имеют сингулярности (математические особенности, где функция обращается в бесконечность), роднящие эти точки с точками размагничивания (Кюри) в магнетиках и другими точками изменения симметрии систем, включая, среди прочего, и сам «Большой Взрыв», т. е. точку возникновения нашего Мира в Общей Теории Относительности. Мы исследовали самые различные варианты критических явлений в разных системах, превратив критические явления в раздел общей физики. В основу, на которой могут быть рассмотрены, ранее недоступные теоретическому исследованию, растворы и смеси, ведущие в свою очередь к плодотворному изучению и биологических материй и, может быть, живых клеток. Переход от живого к мертвому тоже, конечно, является изменением симметрии.

Впрочем, чтобы дойти до детального понимания значения этого фундаментального феномена мне и присоединившемуся ко мне коллективу сотрудников, а также нескольким группам физиков в США и других странах, понадобилось полтора десятка лет вдохновенной работы, несколько международных конференций и Нобелевская премия, присужденная теоретику Кеннету Вильсону из Корнельского Университета в США.

В своей Нобелевской лекции он высоко оценил мой вклад в проблему, и этим невольно защитил меня от ожидавших меня будущих преследований в СССР.

Преследования, по советским масштабам первоначально не страшные, начались (насколько я могу судить) не по указке вышестоящих организаций, а по местной инициативе.

Творческую атмосферу в лаборатории неизменно и целенаправленно нарушали администраторы всех уровней, от директора и парторга до сторожа на проходной, которым неформальная деловитость нашей группы не давала покоя, внушая бесчисленные (и небезосновательные) подозрения в непочтительности. Но молодость и энтузиазм (не только мои, но и моих студентов и сотрудников) в первые годы легко мирились с этой неизбежной энтропией, пока неопределенные подозрения ревнителей порядка неожиданно не подтвердились.

В результате широкой кампании в газетах против «писателей-перевертышей», Даниэля и Синявского, жители нашего институтского поселка поняли, наконец, что регулярно навещавшие нас в поселке веселые и общительные гости — это и были те самые легендарные нарушители советской морали. Наиболее бдительные из соседей поставили тогда перед местной партийной организацией вопрос ребром: намерены ли они и дальше терпеть у себя в институте антисоветское гнездо?..

Дирекция и партбюро в ответ начали меня демонстративно притеснять, чтобы никто не подумал, что они лишены политической бдительности. Меня понизили в должности. Мне урезали бюджет. Но выгнать меня они так и не решились.

Спустя восемь лет, уже выдав мне разрешение на выезд в Израиль, представитель КГБ, как бы невзначай, (я думаю, это было частью общего социологического опроса — уж очень странным для режима было все наше движение) спросил меня: «Ну, скажите теперь откровенно, что вас побудило к отъезду?» Они, конечно, не принимали всерьез все, что мы писали в своих статьях и письмах, и хотели услышать простой и ясный для них мотив : «между нами, взрослыми

людьми». «Что же, — говорю, — вы разве не заметили травли против меня в нашем институте?» — «Вот в том-то и дело, — обрадовался он, услышав, наконец, что-то знакомое — вам стоило только раз обратиться к нам за помощью, и мы бы им показали! Но вы оказались несоветским человеком и заняли враждебную позицию.»

Его утверждение показалось мне правдоподобным из-за смешного эпизода, случившегося со мной примерно за полгода до ухода из института. Меня тогда чуть не каждый день ловили на проходной и начинали выяснять, зачем и почему я вхожу и выхожу, вместо того, чтобы восемь часов отсиживать на месте. Хотя у меня по моему академическому статусу был ненормированный рабочий день, эти выяснения приводили к выговорам, угрозам увольнения и нервотрепке. В разгар одной из таких неприятностей ко мне неожиданно позвонил заместитель директора по административно-хозяйственной части и хриплым от пьянства голосом произнес: «Воронель! У института не хватает закрыть годовой бюджет. Ты там пошуруй среди своих евреев, продай им что-нибудь. Тебе ведь ничего не стоит. Четверть миллиона всего.» Он имел в виду, что отраслевые институты, с которыми я обычно заключал договора на прикладную работу, никогда не торговались — у них деньги были несчетанные — и очень ценили высокий научный авторитет лабораторий, данными которых они пользовались. Раньше этот фараон никогда ко мне лично не обращался. Но, уж конечно, к моим неприятностям хорошо приложил свою руку...

Вместо того, чтобы возмутиться, я, сам от себя не ожидая, закричал в сердцах как Паниковский: «А вы будете надо мной издеваться, ловя меня на проходной!?»

Негодяй моментально уловил почву для сделки: «Идет! Больше никогда этого не будет» — сказал он новым, вовсе не начальственным тоном.

Я деньги достал. И самое смешное, что действительно — у евреев. Вернее, у одного еврея. Этим евреем был Исаак Константинович

Кикоин, выдающийся физик, отец советской атомной бомбы и заместитель директора Института им. Курчатова. Незадолго до этого я сделал доклад у него на семинаре, и он всерьез заинтересовался моей работой. Четверть миллиона для него были не деньги...

Институтские неприятности действительно кончились. Тем более, что вскоре, опасаясь настоящих репрессий против моих преданных сотрудников, я ушел из института и начал небезопасную жизнь диссидента.

Теперь передо мной выросла новая опасность — меня вызвали в местное отделение милиции и предупредили, что полгода нерабочего состояния грозят мне обвинением в тунеядстве. Молоденькая уполномоченная смотрела на меня без всякой враждебности, и я рискнул спросить: «А что нужно, чтобы защититься от такого обвинения?» Она с готовностью объяснила, что для этого достаточно что-нибудь опубликовать.

Я показал ей свои рефераты для Реферативного журнала «Физика», и этого в тот раз оказалось достаточно. Милиционерша на прощание еще спросила меня: «Это правда, что, говорят, в Израиле в магазинах все есть?» Я сам в этом не был уверен...

Через несколько месяцев в редакцию «Физики» явился человек из КГБ, спросил, где тут авторские карточки Воронеля и Азбеля, вынул их из общей картотеки, изорвал, сложил обрывки в свой карман, сказал ошеломленным сотрудницам: «Чтобы больше этого не было!» и многозначительно подмигнул.

Оставался еще один шанс: советские профессора и академики имели право нанимать секретарей. Михаил Александрович Леонтович, который очень горячо принял к сердцу мои трудности, после ряда приключений оформил меня своим секретарем. Все мы еще хорошо помнили недавние сталинские времена, и такой рискованный жест со стороны Михаила Александровича был проявлением истинного благородства старого русского интеллигента.

Не могу сказать, чтобы всю жизнь я был безоблачно счастлив, но все же течение жизни всегда сопровождалось у меня положительными эмоциями.

В самом начале 60-х мы на паях с М. Гитерманом купили «Москвич», и с тех пор я не помню себя без машины. Первый мой выезд, я помню, совпал с удачным полетом Ю. Гагарина, о котором я услышал по автомобильному радиоприемнику. Геометрия мира у человека за рулем отличается от геометрии пешехода, и уровень его кровообращения заметно повышается. Можно сказать, что я жил полной жизнью. 40 км. до Москвы перестало быть для нас с Нелей непреодолимым барьером, и мы не чувствовали себя на отшибе. Пожалуй, для нас это были годы процветания.

К 1968 году мне в СССР стало трудно дышать. Может быть, политические события были тут вовсе ни при чем. Может быть, 37 лет — просто роковой возраст... Может быть это было многолетнее переутомление. Но мне стало так трудно дышать, что я почувствовал себя совершенно чужим среди довольных и процветающих. И, пожалуй, среди протестующих и угнетенных — тоже.

Постепенно я усвоил такой отстраненный взгляд на действительность, что идея возвращения на «историческую родину» показалась мне специально для меня придуманной. Действительно, как еще радикальней я мог бы выразить свое несогласие абсолютно со всеми?

Но еще прежде, чем эта отчужденность превратилась в осознанное отрицание, произошло событие, которое превратило это отрицательное чувство в положительное. Желание бежать, куда глаза глядят, — в желание перестроить свою жизнь.

Накануне нового, 1970, года умер отец моего близкого друга. Он был прекрасный человек и всю жизнь жил еврейскими чувствами и мыслями об Израиле. Чудом он избежал ареста в 1949 году и мечтал о встрече с израильскими родственниками. Его рассказы о евреях и еврействе я слушал с таким же чувством, как в детстве

рассказы об индейцах: увлекательно, но к нашей жизни неприменимо. В 1967 году он получил разрешение посетить Израиль, но началась Шестидневная война, и разрешение было отменено. Теперь он неожиданно для себя и для нас умер в маленьком поселке в 40 км. от Москвы во время трескучих морозов 30 декабря 1969 года. Племянник — врач, который примчался за 50 км. прямо из-за предпраздничного стола, уже ничего не мог поделаться. Похороны должны были произойти не позже утра 31, так как уже с вечера и все последующие три дня весь поселок будет вдребезги пьян.

Вся моя лаборатория несколько часов отбойными молотками долбила промерзшую землю деревенского кладбища, а я возил им водку и горячий кофе. Чудовищный гроб из мокрых досок невозможно было пронести по лестницам малогабаритного дома с пятого этажа, и мы пять раз ставили его стоймя, рискуя, что покойник вывалится. Метель заметала могилу, секла заплаканные лица, и там, в мерзлой земле, среди хаотически покосившихся крестов, мы оставили его навсегда...

Молоденькая сотрудница все допытывалась у меня, каковы еврейские погребальные обряды, а я со злостью, которая относилась не к ней, сказал, что не знаю; что нас учили, будто все люди — братья. А единственный, кто знал, — умер. И не рассказал нам, потому что мы не спрашивали.

И какие же мы братья, если мне нечем с ней поделиться.

После этого я заболел. Ничего особенного со мной не произошло, но около месяца я не хотел вставать с постели и ничего странного в этом не видел.

Когда я встал, я был уже другим человеком. Я знал, что не буду больше жить в этой стране, и так как тогда, в 1970 году, это могло значить что угодно, я решил попрощаться с миром и подвести итог.

Итогом оказалась моя первая книжка «Трепет забот иудейских», которая так быстро разбежалась в самиздате, что моя известность, как диссидента, опередила мою известность, как ученого.

НЕМЕЦКАЯ ПРЯМОТА И ЗАПАДНЫЙ ГУМАНИЗМ

Кроме ВНИИФТРИ я работал одновременно еще в Дубне, в Объединенном Институте Ядерных Исследований. Объединенным он назывался, потому что это был единственный институт в СССР, где официально работали иностранцы. Не настоящие, конечно, иностранцы, а шантрапа из «демократических» стран, но все же и для них был создан целый привилегированный город, в котором не было очередей в хлебных магазинах, продавалась колбаса и выпекались настоящие багеты. Работать в этом институте было необыкновенно престижно, и когда меня туда пригласили в 1964 г., я во избежание будущих разочарований, сразу начал с напоминания, что я — еврей. Но меня перебили и утешили, что это я раньше был еврей, а теперь, после моих недавних успехов, я уже стал «гордостью русской науки». Впрочем, меня оттуда выперли за мои диссидентские связи уже в 1967, хотя еще до начала Шестидневной войны.

В ОИЯИ тогда работали многие выдающиеся ученые («гордость русской науки»), участвовавшие в создании советской атомной бомбы (а также, бежавший из США вместе с их атомными секретами, Бруно Понтекорво) и, хотя всеми делами там заправлял кагебешник — заместитель

директора, место официального директора занимали действительно известные ученые — профессор Блохинцев, а потом даже и сам великий Н. Боголюбов.

Благодаря присутствию иностранцев, хотя и иностранцев «второй свежести», в институте установилась довольно непринужденная атмосфера, позволявшая, например, цитировать в дружеских компаниях такую эпиграмму на проф. Понтекорво:

*«Хотя ваши гениталии
Укорочены в Италии,
Но у нас для вашей нации
Нет теперь дискриминации...»*

Таким образом этот выдающийся итальянский еврей, оказывается, тоже преодолел таинственный барьер и сумел-таки стать гордостью русской науки.

Для «объединенных» ученых был в Дубне и клуб с особенно либеральной — «смелой» — программой. Однажды в этом клубе выступал американский писатель Роберт Юнг, широко прославившийся в мире своей книгой «Ярче тысячи солнц» об истории создания атомной бомбы в США.

Это были годы очередной «разрядки», и Юнг, приехавший по приглашению Академии Наук, думая, что он возвращается в дружеском кругу коллег и единомышленников, саркастически отзывался о тупых американских «маккартистах», которые «в своих параноидальных страхах заходят так далеко, что всюду ищут следы советского шпионажа».

Он сообщил нам, что маккартисты в США так распоясались, что осмелились подозревать в нелояльности даже и самого великого Роберта Оппенгеймера, между тем, как тот, помешав в свое время Эдварду Теллеру завершить его работу над водородной бомбой, просто исполнял свой прямой гуманитарный долг ученого не допустить

создания оружия, угрожавшего существованию человечества. Ведь каждому ясно, что ответственность за создание такого оружия тяжело ложится на совесть ученого. Ибо всякий настоящий ученый прежде всего гуманист, и его совесть не может смириться с мыслью, что его достижения, возможно, попадут в нечистые руки политиков.

Эта проблема в свое время действительно глубоко взволновала (и даже почти расколола) американское ученое сообщество. Никто из них тогда не хотел верить ни в вездесущую советскую разведку, ни в реальную степень вовлеченности выдающихся западных интеллектуалов в предательскую конспирацию. Для нас, (между прочим, привыкших к присутствию среди нас профессора Понтекорво, который для своего приезда в СССР воспользовался нестандартным средством транспорта — советской подводной лодкой, умыкнувшей его с семьей прямо из-под носа американских спецслужб) такая степень простодушия американских граждан казалась граничащей с идиотизмом.

Совершенно новыми для советских слушателей были личные впечатления американского писателя от его общения с германскими учеными, из которых прямо следовало, что мы должны быть, в частности, благодарны Вернеру Гейзенбергу, который якобы не захотел по-настоящему включиться и чуть ли не саботировал гитлеровскую секретную программу ядерных исследований и т. о. уберег нас (и весь мир) от уничтожения.

Юнг горячо призывал теперь и советских ученых к диалогу и открытой дискуссии об ответственности ученого: «Теперь, когда барьеры, отделяющие ученых наших стран друг от друга, наконец пали, пора нам откровенно поговорить об этой поистине трагической, мучительной проблеме с советскими коллегами. Как же они решают для себя этот гамлетовский вопрос?»

Пока он с подъемом говорил, наивно и красноречиво, советские физики, вовлеченные в аналогичные (или даже в точности такие же) военные проекты, слушали его с неослабным вниманием, хотя и уткнув глаза в землю, чтобы невзначай не проговориться.

Что такое откровенность, старшие забыли еще в 30-х годах, а те, кто помоложе, никогда не знали.

Закончив свою речь, Юнг предложил уважаемым коллегам высказать их точку зрения и задать вопросы...

Пауза, однако, затянулась. Коллеги прятали глаза, чтобы не быть втянутыми в опасную дискуссию, тем более, что наиболее уважаемые из них в секретных отделах своих институтов могли (обязаны были!) прочитать все секретные технические отчеты американских ученых, любезно доставленные им «мнимой» советской разведкой, и никогда не задумывались о моральной стороне вопроса. Те же, у кого такие вопросы возникали, меньше всего были расположены их публично обсуждать с прекраснодушным писателем в зале, насыщенном стукачами и прослушивающей аппаратурой. Тягостное молчание повисло в клубе...

Завклубом уже приготовился заглаживать неловкость своей дежурной речью об общей борьбе за мир и дружбу, как вдруг на сцену вышел немецкий профессор Гейнц Барвих, со-директор Объединенного Института от ГДР, немолодой человек внушительного роста с громовым голосом. Этим своим громовым голосом, ярко подчеркивавшим уничтожительный смысл его слов, он объявил, что никогда еще не слышал такого нагромождения благоглупостей вообще, и о своих немецких друзьях и коллегах, в частности.

«Мы, немцы — сказал он — всегда были верны своему немецкому правительству. Я лично никогда не был национал-социалистом, но, когда наше правительство было национал-социалистским, я, как и все немецкие ученые, включая без всякого сомнения, конечно, и профессора Гейзенберга, верой и правдой служили этому правительству. Я и сейчас совсем не коммунист, но верно служу моему правительству — ГДР, которое состоит из коммунистов. Не может быть и речи ни о каком саботаже в среде ученых. Мы выкладывались до предела и работали с энтузиазмом в полную силу, но у нас просто не получилось. Мы все знаем, что такое научная

работа, и понимаем, что одного старания, и даже таланта, не всегда достаточно для успеха.»

Хотя эта речь совершенно не согласовалась с советской риторикой, она вернула несчастных советских молчаливиков к какой-то реальности, позволявшей словесное выражение.

Никто из серьезных физиков в 60-х не был уже настолько слеп, чтобы не понимать деспотического характера советского режима и его агрессивной политики, но память многих лет террора отнимала у них даже зачаточную мысль о возможности несогласия или — упаси Бог! — сопротивления. Большинству профессионалов в СССР вообще импонировала простая точка зрения Энрико Ферми. Когда кто-то донял его гуманитарными соображениями по поводу атомной бомбы, он сказал: «Но, по крайней мере, это была великолепная Физика!».

Что верно, то верно...

Заявление Барвиха, хотя и звучало для людей русской культуры шокирующе циничным (искреннее, добровольное сотрудничество с Гитлером! — ничего страшнее для советского гражданина в те годы еще не могло бы прозвучать), давало им неожиданную легитимацию их ежедневного конформизма.

Никто, конечно, открыто не присоединился к громогласному немецкому коллеге, но все вздохнули свободнее и перешли к сплетням об отдельных ученых. Например, о Гейзенберге, — кому он, что и где, говорил. Он, естественно, разным людям говорил совершенно разное... Юнг, несколько оглушенный сокрушительным отпором прямого свидетеля событий, лопотал что-то несусветное...

Самое смешное, однако, произошло годом позже. Барвих поехал в ЦЕРН, ядерный центр в Швейцарии, для налаживания деловых контактов с ОИЯИ. Там он запросил политическое убежище и остался, заняв какой-то важный пост в ЦЕРНе.

Западный гуманизм, таким образом, окончательно восторжествовал в его отдельно взятой, неизменно верной, душе.

СУДЬБОНОСНЫЙ ПРОЦЕСС

Когда в результате сложного обмена в 1965-м году нам с Ниной досталась комната в большой коммунальной квартире старинного дома в Хлебном переулке Москвы, мы не подозревали, что это Судьба втягивает нас в будущую диспозицию, в которой близкое соседство квартиры Андрея и Майи Синявских*, Центрального Дома Литераторов и здания Верховного Суда РСФСР сыграют первостепенную роль.

Может показаться странным, что для первого осознанного протеста властям в 60-х годах в СССР людей сплотили не бесконечные очереди в магазинах и нехватка самого насущного, не тотальное регламентирование и ежедневный мелочный надзор. Наконец, и не «граница на замке». Первый протест прозвучал в ответ на судебный процесс двух писателей А. Синявского и Ю. Даниэля, напечатавших свои повести за границей в стремлении избежать всеобщей обязательной цензуры.

Я уверен, что анализу этого уникального явления еще будет посвящена не одна докторская диссертация

* Майя Синявская — жена Андрея Синявского — М. Розанова, которую домашние и близкие друзья называли Майей.

по истории и социологии в будущей России. Поэтому мне кажется важным не столько объяснить что-нибудь в этой истории, сколько сообщить реальные детали ее, которые с фантастической скоростью уже покрываются слоем мистификаций, производимых общественным сознанием, склонным скорее к мифам, чем к фактической истории.

Однако, прозрачной до конца эта история все равно не станет, как и многие исторические сюжеты, вроде убийства президента Кеннеди, включающие всем известные факты наряду с глубоко запрятыми деталями, известными, по-видимому, только секретным службам.

Во-первых, писателей, тайно печатавших за границей и передававших свои произведения через дочку французского атташе Э. Замойскую (Пельтье), было не двое, а трое — А. Синявский, Ю. Даниэль и А. Ремезов. Почему этот третий, служивший библиотекарем в Библиотеке Иностранной Литературы в Москве, так и не попал на скамью подсудимых, и даже до сего дня нигде и никогда не упоминался, остается тайной и сегодня. Тем более, что повести первых двух авторов были талантливой иронической прозой, и следствию потом стоило немало труда привести убедительные «доказательства» ее якобы «подрывного» характера, а писания Ремезова (Иванова) были, напротив, примитивными политическими фельетонами, довольно топорно высмеивающими советскую систему и саму идею коммунизма, и несомненно подходящими под скучное определение «антисоветской пропаганды». Во всяком случае стало ясно, что содержание вменяемой литературы не сыграло никакой роли в судьбах фигурантов этого события.

Во-вторых, следствие по этому делу велось несколько месяцев, допрошены были десятки людей, но в ходе суда выяснилось, что обвинения, кроме самих текстов и признаний обвиняемых, ничего нет. Суд несколько дней занимался произвольным толкованием и клеймением этих, ускользающе неоднозначных, иронических

текстов, громогласно ужасаясь их кощунственному цинизму, но так нигде и не сумев обнаружить что-нибудь похожее на политическую конспирацию или подстрекательство.

В-третьих, власти сами подтолкнули своих граждан к активности, впервые начав открыто публиковать в газетах сведения об обвиняемых и их мнимых преступлениях, придав таким образом легальный статус открытому обсуждению. Официальные журналисты, описывая ужасающий цинизм и преступный образ мыслей двух коллег, исходили из, установившейся за десятки предыдущих лет, презумпции «всенародного согласия» и с горячностью призывали читателей разделить их точку зрения. Но, после Хрущевских разоблачений «культы личности», и особенно сразу после неожиданного устранения самого Хрущева от руководящей позиции, это выглядело как анахронизм или возврат к уже осужденной тирании, и скорее провоцировало сомнения и склонность к протесту. Так как эти публикации были все же не постановления Партии и Правительства, не допускавшие спора, а всего лишь высказывания журналистов, у читателя возникал законный соблазн не согласиться и даже, быть может, возразить. До этого всякое упоминание о возможном несогласии с государственным стандартом, и даже просто с газетной публикацией против «врагов народа», было немыслимо. Но за несколько лет Хрущевской оттепели очертания этого стандарта расплылись и потускнели, а «страх и трепет» заметно отступил. Хрущев, конечно, неосмотрительно широко призывал граждан к самостоятельности мысли, и его разоблачения сталинских преступлений открыли дорогу сомнениям в неизменной справедливости советского правосудия. Сразу после свержения Хрущева власти (возможно, еще и сами для себя) не определили пределов законности (или беззакония), до которых они готовы были допустить свой народ.

Мы, группа личных друзей Даниэля и Синявского, тем более не знали, чего можно ожидать от новых властей. С одной стороны

нам слишком ясно помнились недавние сталинские времена и мы вполне допускали, что наших друзей могут уничтожить. В таком варианте нам, возможно, было нечего терять. Поскольку по сталинским нормам, мы могли ожидать для всего нашего круга сходной судьбы. Но, с другой стороны нам казалось не исключенным, что вслед за бывшей оттепелью, власти как-нибудь символически их осудят, но к былым своим драконовским мерам не вернуться. Особенно, в случае международной огласки.

Поэтому мы старались сделать все возможное, чтобы приостановить суд или смягчить возможный будущий приговор. Мы писали заявления в судебные инстанции, напрашивались в свидетели защиты (покойный Толя Якобсон и я), ходили на прием к Верховному судье (Э. Любошиц, И. Голомшток, Н. Кишилов и я). Мы требовали выпустить их на поруки, готовили материалы (и собирали деньги) для адвокатов и т. д. и т. п.

Когда уже стало ясно, что суда не миновать, мы решили, по крайней мере, запротоколировать этот процесс — мы уже начинали предвосхищать его историческое значение. Процесс шел, еще как обычно, за закрытой дверью. Публику тщательно подбирали. Но все же какие-то либеральные флюиды витали в воздухе.

Раньше гражданское противодействие официальным инстанциям рассматривалось как абсолютно немыслимое. Мы с Эмилем Любошицем напросились на прием к председателю Верховного Суда РСФСР А. Смирнову с нашим заявлением о непременном желании присутствовать на суде. Как ни странно, судья Смирнов не отказал нам с порога, а принял и вступил в обсуждение, заявив, что не видит за чем, собственно, нам присутствовать. Мы нагло объяснили, что якобы после доклада Хрущева на XX съезде партии мы уже не можем полностью доверять суду, который, как мы знаем из этого доклада, слишком часто поддавался давлению со стороны безответственной бюрократии. Смирнов, конечно, выглядел рассерженным и энергично отрицал такую опасность, но вел

себя достаточно корректно и не вызвал конвой, чтобы немедленно отвести нас на Лубянку.

Также и Игорь Голомшток, отказавшись отвечать на провоцирующие вопросы суда, не был стерт в порошок, а отделался сравнительно мягким приговором даже без изгнания с работы. Диктатура еще не пошатнулась, но в ее фундаменте расплылась паутина микроскопических трещин, наводивших на размышления не только отдельных, «инакомыслящих» граждан, но, возможно, и некоторых ответственных людей в правящей элите. Появление после ареста писателей десятков открытых писем протестного содержания также не вызвало немедленных репрессий, неминуемых в недавние дооттепельные времена.

Верхушка советской интеллигенции была совершенно захвачена обсуждением многозначительных деталей и возможных политических последствий этого дела, так что, по словам Марка Азбеля, в течение нескольких месяцев весь рабочий день ученых в Институте Теоретической Физики и в Институте Физических Проблем до отказа был заполнен непривычно откровенными разговорами.

В духе различного поведения самих обвиняемых, более узкая группа, следовавшая за Андреем, протестовала только против эстетических стеснений, а группа, мысленно выбравшая в свои героини Юлия, замахивалась уже и на протест в какой-то мере политический. Это вызвало конфликт и жестокую ссору, которые в причудливом сочетании с чисто женскими мотивами разделил двух жен обвиняемых на несколько лет. Игорь Голомшток и я с двух разных сторон безуспешно старались смягчить эту неразумную и несвоевременную вражду.

В зал суда допустили только жен обвиняемых. У дверей здания суда регулярно собиралась небольшая толпа не допущенных внутрь взволнованных болельщиков, которая, однако, росла с каждым днем. Лариса Даниэль-Богораз добросовестно запротоколи-

ровала весь процесс, и этот протокол впоследствии был опубликован за границей. Мы загодя закупили десятки записных книжек, и каждый день в перерывах между заседаниями один из нас троиц, профессор Азбель, профессор Любошиц или я (мне приходится здесь отмечать эти звания, потому что в здание суда пропускали только эту тройку по книжкам, удостоверявшим наш высокий академический статус) поджидал ее в дамском туалете, чтобы забрать исписанный блокнот и вручить новый, дабы исключить предвидимую возможность отобрать у Ларисы все записи разом.

Лариса весь процесс (много часов — утром и вечером) работала как машина — она записала все до мельчайших подробностей. Это была потрясающая, самоотверженная работа!.. Потом, вечером, она приходила к нам домой на Хлебный переулок и все пересказывала. У нее был такой эмоциональный подъем, что она до полуночи рассказывала о деталях процесса людям, которые вплотную, один на другом, сидели и стояли в нашей тесной комнате коммунальной квартиры на диване, на полу, на столе, на подоконнике и жадно впитывали каждое слово. Наш узкий кружок, конечно, знал, что квартира прослушивается, но уж таковы были необратимые последствия «оттепели» — мы все ни за что не хотели расстаться с той, хотя бы и призрачной, свободой слова, которая самочинно установилась в последние годы правления Хрущева: уже ведь несколько лет за разговоры, за стихи, за песни не сажали!

Я не был настолько самонадеян, чтобы думать, что нам удастся полностью обмануть КГБ. Я думаю, что по какой-то причине они и не стремились сохранить полную герметичность этого процесса, а заботились лишь о своем внешнем облике непреклонной организации. В самый разгар процесса (на третий день) в западной прессе появилась (как бы из подпольных источников) фотография скамьи подсудимых с лицами обвиняемых, однако явно заснятая со стороны суда. Конечно никто из членов Верховного Суда РСФСР не был скрытым диссидентом. Но власти в такой форме хотели,

по-видимому, продемонстрировать Западу некоторую степень открытости.

Все дни процесса Нина Воронель вместе с Леонидом Невлером по ночам расшифровывали и перепечатывали начисто Ларисины записки, а Майя Синявская затем передавала их Александру Гинзбургу для отправки за рубеж. Как только эти записки были опубликованы в Париже, Гинзбурга арестовали. Но власти не вменили ему в вину этот протокол, имевший слишком широкий отклик на Западе (он даже не упоминался на его суде), а осудили за невинный, чисто литературный сборник «Феникс», давно циркулировавший в московском Самиздате.

В самом начале следствия, почти сразу после ареста, Майя, как ни странно (до того таких прецедентов не было), получила свидание с Андреем, и была, как мне показалось, искренне поражена его поведением. Он по ее словам не только во всем признавался, но и как бы даже слишком охотно сотрудничал со следователем, что вовсе не вязалось ни с его предварительной договоренностью с друзьями, ни с его неоткровенным и достаточно сильным характером. «Он прямо влюбился в этого следователя Потапова — несколько ошеломленно рассказывала она мне, — всячески идет ему навстречу и зачем-то рассказывает лишнее, где, что и у кого прятал». Правда, никто из этих разоблаченных впоследствии не пострадал...

Она никогда больше не была столь откровенна со мной и ничего не рассказала о других своих свиданиях, ощутив заметную разницу в отношении властей к Андрею и к Юлию. Впрочем, когда эта разница выявилась слишком очевидно, она стала приписывать ее различию в общественном поведении, своем и Ларисы.

Если Андрею после приговора в лагере не пришлось испытать дополнительных гонений, весь пятилетний срок Юлия был заполнен серией административных взысканий, дисциплинарных мер и наказаний. На последний год его вообще перевели из лагеря в закрытую тюрьму во Владимир. Майя приписывала эту разницу

своей разумной сдержанности в отличие от вызывающей политической активности Ларисы.

Это, правда, согласовывалось не только с поведением жен, но и с характером каждого из героев. В то время как Юлий сходу вжился в коллектив диссидентов, спаянных дружным (по временам и заливчатским) противостоянием унижительным лагерным правилам строгого режима, Андрей вел себя сугубо индивидуально, пренебрегая, отчасти инфантильными, законами окопной солидарности, стихийно установившимися в местах заключения.

Близко к концу следствия Марку Азбелю сделали очную ставку с Юлием. Поскольку Юлик заранее просил нас обоих ни при каких обстоятельствах не признаваться, Марк, как и я, категорически отрицал свое знакомство с его подпольной литературной продукцией. И вдруг на очной ставке Юлик стал его настоятельно уговаривать откровенно признаться, подчеркивая, что ему это якобы очень нужно. Зачем это ему было нужно, мы не смогли у него выяснить даже и через пять лет после процесса, тюрьмы и полного изменения обстановки в стране. Он отделялся невнятными, неубедительными объяснениями, которые не столько объясняли, сколько наводили на дополнительные сомнения. При всяком обсуждении процесса и, связанного с ним поведения друзей, он начинал нервничать и несколько избыточно уверять, что никого из друзей ни в чем не обвиняет. Нас обоих, впрочем, и не в чем было бы обвинить, отчего эти уверения звучали для нас особенно настораживающе.

До процесса в группе друзей, готовых вступить за обвиняемых, еще не было разногласий по политическим вопросам. Всем было ясно, что главное для всех — спасти Юлика и Андрея. Но в ходе этой кампании группа сочувствующих с каждым днем вырастала, и к концу процесса личные друзья составляли в ней уже незначительное меньшинство.

Большинство воспринимало процесс как повод для демократического протеста. Протестантов набралось так много, что, ког-

да через два с половиной года мы собрались в опустевшей квартире Даниэлей отметить день рождения Юлика (Лариса тогда уже была выслана в Сибирь за организацию демонстрации протеста 1968 г. против вторжения в Чехословакию), мы вдруг почувствовали себя потерянными в огромной толпе мало знакомых людей, для которых Юлий был не живым человеком, а символом, ... даже идолом.

Я помню, как, тонко почувствовавший ситуацию, Толя Якобсон позвал: «Братцы, старые друзья, пошли на кухню, помянем попросту Юльку! А то, я вижу, здесь уже собрался съезд Демократического движения...»

(На кухне он вдруг поднял рюмку и возгласил:

«В следующем году — в Иерусалиме!» Я так и ахнул: «Как, Толя, и ты тоже?!» А он ответил: «А вы что, Тошку за дурака держали?... Он, конечно, тогда никуда не собирался, но через семь лет мы встретились в Иерусалиме...»)

Их послетюремная судьба также была очень различна. Юлий после своего лагерного срока был еще на несколько лет сослан в Калугу, чтобы удержать его подальше от бурлящих московских тусовок, а Андрей, выпущенный на год раньше своего срока, и поселенный в Москве, уединился в своей квартире, добровольно воздерживаясь от всяких контактов, могущих сделать его центром внимания бесчисленных диссидентствующих добровольцев. Его общение с окружением, бывшее довольно оживленным до процесса, свелось чуть ли не к абсолютному нулю после него. На все лето он отселялся на далекую подмосковную дачу, до которой не доходила электричка и не вез автобус...

После двух лет этого полуподпольного существования в 1973 г. они с Майей и Егором неожиданно быстро собрались и законно уехали в Париж, сопровождаемые целым вагоном домашних вещей, еще в Москве включившись в редколлегию вновь образованного там журнала «Континент».

История их короткого сотрудничества и последующей многолетней вражды с «Континентом» и его главным редактором Владимиром Максимовым слишком хорошо известна, и я не стану ее пересказывать. Во всяком случае, когда еще через два года в 1975-м, вырвавшись из СССР, мы с Ниной приехали в Париж их навестить, нам неожиданно трудно было отделаться от неприятного нового впечатления, что роль Андрея (и в собственной семье, и во внешнем мире) резко изменилась и стала какой-то неизменно пассивной, страдательной. Как будто все вокруг только и делали, что на него наседали и даже оскорбляли (в том числе и в печати), а он как-то непривычно кротко это переживал, и только одна Марья (в Париже она окончательно стала Марьей) всегда стояла на его защите и призывала нас к тому же.

Будучи старыми друзьями Синявских и свалившись как бы с Луны в чуждую нам парижскую тусовку, в которой у нас не было никаких своих интересов, мы, конечно, изначально приняли их версию событий и пошли к Максиму их защищать. Неожиданно оказалось, что защищать их не от кого. Максимов и не думал на них нападать. Напротив, он ценил талант и сотрудничество Андрея и всячески шел ему навстречу. Но он наткнулся на, непонятную ему, непримиримую позицию Марьи, которая категорически запрещала Андрею войти с ним в деловой контакт.

Мы с Ниной долго спорили, означает ли это реальную перемену в их семейной жизни или сознательную ролевую установку, которой придерживались оба. В конце концов, если это и была игра, за годы эти маски приросли к лицам, так что ближе к концу, я думаю, они и сами уже не могли бы отличить, где проявлялась их суверенная воля, а где — вынужденная (или навязанная им) роль.

Андрей упорно твердил, что только и стремится помириться с Максимовым и «Континентом», а Марья с неизменным успехом разрушала все наши усилия их помирить или хотя бы просто уст-

роить их встречу. Максимов соглашался на любые компромиссы, а Марья неизменно находила бесчисленные скрытые признаки злой воли в его покладистости. Андрей всякий раз чрезмерно удивлялся мнимому коварству Максимова с простодушием, которое никак не вязалось с его пронизательным взглядом парадоксалиста, и формулировал все новые и новые условия...

В общем, в течение нескольких лет они довольно успешно создавали во внешнем мире впечатление серьезного политического раскола в парижском русскоязычном обществе, стараясь и нас с Ниной (т. е., конечно, журнал «22», который в Париже охотно и внимательно читали) втянуть в эту бессмысленную конфронтацию, несмотря на наше энергичное эмоциональное сопротивление и периферийное положение израильтян. Они даже написали подробный многостраничный донос на газету «Русская Мысль», утверждая, что она ничего не понимает в русской жизни (в частности это якобы было видно по их взглядам на Пушкина), который финансирующая организация (ЦРУ) в соответствии со своим пониманием ситуации переслала обратно в редакцию этой газеты. «Русская Мысль» целиком напечатала этот донос на своих страницах, вызвав шок в эмигрантском обществе. Где-то в середине этой борьбы (слишком поздно, конечно) мы разгадали эту игру и перестали в ней участвовать, хотя из сентиментальных соображений не прерывали своего общения с Синявскими.

Поэтому, когда в 1986 г. Сергей Хмельницкий прислал нам в «22» подробное письмо с признанием своей многолетней службы в КГБ вместе с Андреем Синявским, мы уже не были потрясены, как многие наши читатели.

Теперь, после целой серии сенсационных признаний советских писателей (сначала только Анатолия Кузнецова, а затем и еще многих, включая Евтушенко и, наконец, Булата Окуджавы) такое разоблачение не выглядит столь уж шокирующим. Но тогда оно вызвало целую бурю...

Пионерская юность и последующая советская жизнь избавили нас от многих мучительных сомнений и оставили в неведении относительно бездн человеческого падения и безвыходных философских тупиков гуманизма. Советская интеллигенция недостаточно внимательно читала Достоевского. Илье Эренбургу читатели легко прощали его очевидную многолетнюю службу. Манихейски настроенная демократическая общественность не хотела признавать размытости границ между добром и злом в реальном мире.

К тому же огромное большинство придавало и добру, и злу слишком однозначно политическое толкование...

Впрочем, иные из особенно возмущенных этой публикацией сами (в прошлом или настоящем) так или иначе сотрудничали с КГБ, и их возмущение зачастую было артистической позой. Как сказала мне по поводу Сергея Хмельницкого с глаза на глаз Марья: «Все служат в КГБ, но не все же стучат на друзей...»

Только по прошествии многих лет мне стало понятно значение раннего свидания Марьи с арестованным Андреем в период следствия (что было беспрецедентно в советских условиях), а также и противоестественных настояний Юлия на чистосердечном признании Марка Азбеля на очной ставке перед самым процессом.

«Преступления» Юлия и Андрея, по-видимому, совершенно по разному оценивались в КГБ. «Антисоветская стряпня» обычного, даже одаренного, литературного неудачника, как они воспринимали Юлия Даниэля, представляла всего лишь небольшой недосмотр в хозяйстве их идеологического учреждения. По сложившемуся стандарту это наказывалась шельмованием и/или пятью годами отсидки в лагере. Совсем иначе могла оцениваться издевательская (или даже просто ироническая) публикация сотрудника этого учреждения без предварительного одобрения свыше.

Такой поступок означал измену... Измену не идеологии, конечно, (какая уж тут идеология?), а самому учреждению. В этом случае

наказание могло бы означать и смертную казнь... Как в случае Виктора Суворова (Резуна) — смертная казнь была ему присуждена, конечно, не за шокирующие писания, а просто за измену его учреждению (ГРУ).

В истории Синявского мы не знаем, в какой степени (и в какой момент) в КГБ открыли авторство Абрама Тэрца. Я не верю, что его готовили для роли писателя-антисоветчика с самого начала. Такая гипотеза, высказанная Ниной Воронель в ее книге «Без прикрас», слишком льстит предусмотрительности и дальновидению органов и преувеличивает их самостоятельность в принятии стратегических решений.

Но Андрей Синявский попал в армию прямо из школы (он учился в Москве в одной школе со знаменитым в будущем шефом восточно-германской «Штази» Мишей Вольфом, в одном классе с его младшим братом Конрадом — будущим президентом АНГДР) и, по-видимому, во время войны оказался в КГБ в порыве юношеского патриотического энтузиазма. Следы этого общего энтузиазма в их классе видны из стихов третьего их одноклассника (Сергея Хмельницкого), которые Андрей очень ценил.

Однако, это улица с односторонним движением. У КГБ есть только вход (зафиксированный его собственным признанием в книге «Спокойной ночи» — приблизительно конец 40-х — начало 50-ых), выход не предусмотрен.

Писательская натура Андрея (он сам неоднократно говорил о себе, как о неудержимом графомане), его пронизательность и скептицизм очень быстро отрезвили его, и, повзрослев, он не сумел устоять перед соблазном по-своему написать о том, что понял, что увидел (и как увидел), и бросить свою запечатанную бутылку в океан. И со страхом ожидать казни...

Скорее всего, это произошло уже в 1956 г.

Похоже, однако, что проштрафившемуся Андрею в КГБ пост-оттепельного, либерального времени предложили компромисс

и шанс заслужить прощение вместо казни («...Он прямо влюбился в следователя Потапова...», как свидетельствовала, еще не успевшая тогда включиться в эту игру, Майя) в результате многоходовой операции по введению в заблуждение либеральной общественности (сначала в СССР, а по мере роста его известности, и всего мира) с помощью совместного создания популярного образа умеренного героя-оппозиционера. — А он и был весьма умеренно настроен и искренне говорил, что его «расхождение с Советской властью носят стилистический характер». Советские люди того времени воспринимали это как ироническую формулу. Ведь сама-то власть тогда еще не была готова принять никакого расхождения! А вот в КГБ, который работал отчасти и на Запад, по-видимому, уже были и более дальновидные и раскованные люди. В конце 60-х КГБ уже мог бы позволить себе нащупывать и разные эстетически небанальные варианты разрешения политического напряжения. В 1973 г. такая необходимость срочно обострилась в связи с успехом непримиримо антисоветской позиции Александра Солженицына и его сокрушительного воздействия на мировые СМИ.

Для успешности такого проекта КГБ нужно было навести мосты и с Марьей. Не так уж это было трудно: для дома, так сказать, для семьи, ... младенцу еще год не исполнился. Тут Андрей со своим остроумием, по-видимому, и предложил семейную конструкцию, поразившую нас при первой встрече в Париже: Андрей останется как бы всегда высокопринципиальным и прекраснородушным (выше земных интересов), а все дела за него (и все контакты с КГБ) будет якобы править верная, но своенравная жена... У многих ведь великих людей жены были стервы; начать хоть с Сократа, что ли. Это их, в конечном счете, не порочило. Да, и грех ли, если жена для сохранения и благополучия семьи готова была подписать, что угодно, даже как бы и не вникая? Теперь ее шаткое семейное благополучие подпиралось и гарантировалось сугубо профессиональным вниманием ответственной организации...

Даниэля, которому тайна былого сотрудничества Андрея, боготворимого им, могла открыться только во время следствия, все это привело в смятение. В тюрьме эта тайна не могла не открыться, поскольку подсудимый по советскому закону перед судом должен прочитать все материалы своего дела.

Мучительные опасения за жизнь (и репутацию!) Андрея, по видимому, так обескуражили и напугали Юлия, что он стал панически приспособляться к его «откровенным признаниям» и уговаривал и Марка Азбея не перечить следствию. В ходе такой перемены ролей Юлию потом на суде пришлось отчасти признать свою «вину», а Андрей зато блестяще выдержал свою, согласованную с КГБ, позицию «несгибаемого» («но только эстетического») диссидента и своей вины не признал.

Больно вспомнить теперь, как сокрушалась простодушная Лариса Богораз, не знавшая полутонов, по поводу «половинчатой позиции» Юлия и как восхищалась прекрасной, «бескомпромиссной» позой Андрея.

Спустя сорок лет стоит понять и простить всех участников этой драмы. В пору всеобщего бесчестья они во многом оказались лучше и смелее других. Как люди они вели себя, исходя из обстоятельств того времени, из того, что знали, помнили и чего боялись тогда, а не по копеечным меркам сегодняшнего дня, поменявшего все критерии и перепутавшего человеческие роли.

АБРАМ ТЕРЦ И НИКОЛАЙ АРЖАК

С Юликом Даниэлем и Ларисой мы подружились легко и сразу. С Андреем это было не так просто.

Андрей Синявский поначалу казался мне пришедшим из какой-то другой жизни. Он очень интересно обо всем судил. Сразу возникало ощущение более высокого уровня культуры, чем тот, с которым мы сталкивались до тех пор... Синявский всегда принципиально стоял в стороне от всяких общественных дел.

Даниэль, обаятельный человек и талантливый писатель, был для нас по-человечески проще и теплее, — Синявский был... значительней. Даже ведущим советским критикам и литераторам льстило знакомство с ним. Даниэль был един — и как наш друг, Юлик Даниэль, и как писатель, скрывшийся за псевдонимом Николай Аржак. Синявский же был действительно двойствен. Ведущий советский литературовед Андрей Синявский и потаенный, издевающийся писатель Абрам Терц. Я думаю, что ему особенно импонировал литературный, стилистический контраст между писательской манерой отщепенца Абрама Терца и ученого текстоведа, культуролога Андрея Синявского.

В Синявском жил скрытый игрок, которому нравилось, что он водит за нос неуклюжую советскую власть, не способную его поймать.

Вообще, эта власть создала совершенно уникальный тип отношений с людьми искусства. Все крупнейшие русские писатели того времени — Синявский, Зиновьев, Солженицын — были какой-то частью своего существа сращены с советской властью: они обманывали ее, высмеивали ее или «бодались» с нею. В этом смысле замечательная статья Синявского «Что такое социалистический реализм» все еще остается недооцененной. Ведь в ней — не только насмешка, но и хвалебный гимн, восхищение властью, которая ценит искусство, слово, выше жизни и реальности. Признание исходного, базового родства этой амбиции со всем духом русской культуры в ее существе.

Наша близкая дружба с Синявскими началась позже, чем с Даниэлем, году в 60-м...

Я не могу сейчас вспомнить, почему я догадался, что Абрам Терц это Синявский, помню только, что после этого он действительно нас приветил и сам прочитал нам несколько своих вещей. Кроме того, он стал давать нам бывшие у него книги, изданные в Париже: Семена Франка, Георгия Федотова, С. Булгакова, Н. Бердяева, Льва Шестова, «Вехи»... Благодаря ему мы познакомились с серьезной русской литературой, от которой советский человек был так старательно огражден в течение полувека...

К тому же произошло еще одно событие — мы переехали в Хлебный переулок. Синявские жили в Хлебном, через два дома от нас. Мы стали забегать по соседству...

В те времена еще не было Самиздата. По рукам ходили неопубликованные стихи Пастернака, Мандельштама и Цветаевой, но, то явление, что потом получило имя «Самиздат», еще не родилось. На этом фоне появление литературы, написанной современниками о нашем времени, как бы переворачивало всю нашу жизнь.

Меня, например, в повести Андрея «Суд идет» поразило, что там каким-то образом была угадана моя личная (и Нелина) история: там ведь был описан юношеский кружок марксистов-заговорщиков. Мне-то казалось, что это исключительно моя личная тайна, подпольная жизнь страны, о которой никто не мог знать. Я двадцать лет хранил молчание об этом. Тогда это было для нас откровением, чудом — то, о чем все думают втайне, написано черным по белому, открытым текстом! Впервые — свободное слово! Это был первый для нас (и не только для нас) литературный документ о том, что произошло в России и с Россией. Ведь и Солженицын появился гораздо позже, во всяком случае, для нас. Все те, что потом выступили и в «Самиздате», и в «Тамиздате», этих тем коснуться еще не решались.

В начале 60-х в официальной печати уже появлялись какие-то глухие упоминания об Абраме Терце. Но власти еще не знали, кто это: «Как-то в зимний день холодные волны Сены выбросили на берег нечто непривлекательное и дурно пахнущее. Нашлись однако добрые люди, которые подобрали это «нечто» и даже набрались решимости выставить его на всеобщее обозрение. Так в журнале «Эспри» появилась статья «О социалистическом реализме»... Редакция сообщила, что статья написана молодым советским писателем, «естественно» сохраняющим в тайне свое имя... Не только журнал «Эспри» оказался падок на отбросы. В прошлом году в Англии и Франции вышел роман «из советской жизни» под названием «Суд идет». Автор укрылся под псевдонимом Абрама Терца. Перед нами неумная антисоветская фальшивка, рассчитанная на не очень взыскательного читателя... Ратующие против социалистического реализма эстетствующие рыцари «холодной войны» — к какой достоверности, к какой правде тянут они?..» (Б. Рюриков, «Ин. Лит.», № 1, 1962.)

Потом, примерно за год до ареста, от Юлика ушла Лариса. И как-то все сразу изменилось. И сам Юлик. С ним началось что-то

несусветное. Он читал свои повести направо и налево, любой случайной женщине...

И стало ясно, что уже недалеко до беды. А вскоре грянул арест Андрея.

Я этот день помню очень хорошо, потому что меня в тот день арестовали тоже. Я перебирался тогда в Дубну, и поскольку я перебирался с целой лабораторией, у меня была постоянная торговля с начальством. В тот день, 9 сентября 1965, меня как раз вызвал директор дубненского института, в связи с какими-то очередными затруднениями. По выходе из его кабинета меня пригласили зайти в спецотдел. Там меня встретил человек, который сказал, что он из КГБ и что мне придется отправиться с ним в Москву. Для дачи показаний...

«Каких — это мы вам скажем в Москве». — «Может быть все-таки здесь?» — «Нет, только там — в Москве...» У меня не было в этот момент никаких конкретных предположений, но поскольку я с четырнадцати лет был человеком неполной лояльности, то всегда был готов к чему-то подобному. Я только спросил: может быть, я могу ехать в своей машине? Он сказал — нет, так нельзя...

Я, конечно, подумал: может, я уже обратно и не поеду! Поэтому я потребовал: «Я должен обязательно зайти домой». — «Хорошо, мы сейчас отвезем вас домой, только давайте договоримся — вы ничего не говорите своим родным...» Они подвезли меня к дому и деликатно остались в стороне, пока я целовался с мамой, чтобы успеть прошептать ей в ухо: «меня вызывают в КГБ, сообщи друзьям...»

Формальный допрос начался только на Лубянке. Мы вошли через внутренний подъезд, поднялись по небольшой лестнице, сопровождающий бросил дежурному: «Этот — со мной», — и мы пошли по длинным коридорам, жутко канцелярские такие коридоры, давно не крашенные — в точности, школа какая-нибудь или бюрократическое учреждение... Меня привели в кабинет, довольно бедный, и все началось с того, что сопровождающий сказал: «Мину-

точку», — и вышел, оставив меня одного. В расчете, очевидно, что я буду волноваться... Но я достал из кармана какую-то книжку и начал увлеченно перелистывать.

Я, видимо, удачно симулировал, поскольку он тут же вбежал обратно, делая вид, что запыхался. И стал задавать вопросы... То ли мы были очень наивны, то ли таково наше особое поколение, но у меня не было никакого искушения «расколоться». Мне это просто не приходило в голову. Раз мы договорились с друзьями, что «нет» — значит «нет». Поэтому, что бы он ни спрашивал, я монотонно отвечал: не читал, не видел, не знал... При этом я внимательно смотрел на стол — а на столе лежали копии знаковых рукописей и экземпляры изданных за границей книг Андрея и Юлика.

Я старался не завираться. Просто утверждал, что мои друзья абсолютно лояльны и не интересуются политикой. Что вообще-то было верно — политикой в настоящем смысле они не интересовались. А он все нажимал: «Не имеет смысла запирается, они уже сами признались, на них уже дали показания...» Так мы провели несколько часов.

Должен сказать, что для меня это было все-таки сильное переживание. Ведь прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как я побывал в тюрьме, и за это время привык к вольной жизни. В сущности, я до самого конца допроса не был уверен, что выйду из Лубянки; поэтому, когда меня в конце концов отпустили, у меня было сначала ощущение, будто я... лечу. А потом, почти сразу, появилась мысль, что нужно предупредить Юлика. Я, конечно, понимал, что у них на квартире, вероятно, устроили засаду, так что я лезу в верную петлю, но не попытаться предупредить я не мог — я бы себе потом этого не простил. Телефона у них тогда не было, мне пришлось поехать. Квартира была закрыта. И вот, когда ключ от их квартиры, который у меня был, почему-то не вошел в замок, — вот тогда меня охватил настоящий ужас...

Гэбэшники, видимо, уже побывали на квартире Даниэлей. Поэтому замок и не открывался. Но когда Юлика с Ларисой через пару дней привезли из Новосибирска, его уже, видимо, «починили», потому что у нее ключ повернулся совершенно свободно. Их утром привезли в Москву вместе, но Юлика прямо с самолета повезли на допрос, а ей сказали, что он скоро вернется. Она ждала до двух, в два побежала звонить. Ей сказали, что Юлик задерживается, но в пять обязательно будет. Потом она позвонила в пять, и ей ответили: «Сейчас, сейчас...» После этого, где-то в начале шестого, явился милиционер. А Юлик уже не вернулся... Пять лет...

Здесь есть очень важный момент. Мы ощущали тогда, что арест Синявского и Даниэля — это начало какого-то страшного поворота в стране и что мы — все! — можем последовать за ними. Что это — наша судьба. Поэтому мы сопротивлялись...

Мы думали, что если сумеем настоять, сумеем сплотить свою группу — ученых, писателей, интеллигентов — то, может быть, это остановит необратимое сползание к прежним, жестким нормам.

В лице Синявского я, будучи еще очень молодым, впервые встретил человека более глубокой — и укорененной — культуры. И понял, что у меня есть культурная перспектива только в том случае, если и я четко осознаю свои корни. То есть свое еврейство. Кстати, о бесах. Точнее, о «Бесах». В Синявском было нечто от героя Достоевского — от Ставрогина. Он выдвинул множество идей, которые потом расхватили другие люди. Своим сионизмом, я в какой-то степени обязан ему. Его русская культура была гораздо выше нашей. Что ни говори, наша культура была нахватанной. Наша культура была культурой разночинцев, способных все принять и все отвергнуть на основе чисто рациональных критериев, без всякой оглядки на традицию. Да мы ведь и традицию могли себе выбирать по произволу, не помня родства. Именно он показал мне,

что культура может быть подлинной, только если она глубоко укоренена. И происхождение свое и веру не выбирают. Он был фило-семит, я не ощущал в нем никаких следов антисемитизма, и тем не менее он ясно давал почувствовать, что еврей может существовать в культуре только в том случае, если он твердо ощущает себя евреем. Но в нем была и ставрогинская ненадежность. Способность играть идеями, которые небезобидны. Способность играть людьми, их чувствами и убеждениями.

Если Солженицын полностью отрицал советскую действительность и не хотел иметь с ней дело, Синявский, напротив, принимал ее, как фантазмагорическую реальность, от участия в которой он не устранился, а хотел эстетически ее освоить, обжить это, порожденное бессознательным творчеством Истории, чудовище. Он всегда настаивал, я помню, что искусство выше жизни. «И, если даже, — говорил он, — русская культура действительно умерла, мы будем продолжать жить в ее трупе; потому что она — русская культура — единственная действительность, которая у нас есть...» Про Солженицына он говорил: «Он — писатель великий, а я писатель небольшой... Великий писатель может себе позволить и плохо писать, а я обязан писать хорошо, поэтому я тружусь над каждым словом». Это воистину некая противоположность, другой полюс литературы.

Он был искренний патриот, называл себя русским националистом, но его восторженная тирада о русском характере вряд ли пришлась бы по душе всякому русскому человеку: «Заветная мечта русского человека — насрать на потолок в церкви.» Здесь было слишком много личного. От крошки Цахеса.

ТРЕТИЙ, ЛИШНИЙ

Совершенно не доказано, что справедливое возмездие существует. Если относительно добродетели Барух Спиноза, кажется, замечательно вышел из положения, провозгласив, что она содержит свою награду в себе самой, то относительно порока подобное же предположение могло бы многих смутить. То есть, с одной стороны, как-то неубедительно выглядит мысль, что порочных людей мучит, или хотя бы смущает, сознание собственных грехов, а с другой стороны, мы живем в такое время, когда границы между праведниками и грешниками размывается на глазах. Речь, по-видимому, может идти только о мерах и степенях порочности.

А где же тогда искать свидетельства мук совести, самонаказания порока?

В литературе, где же еще. Каждый день включаются все новые и новые участники в бесконечную коллективную исповедь, которой в сущности и является русскоязычная пресса на Западе, и скоро, кажется, некому уже будет ее читать... (Это замечание относится к 80-м годам прошлого века. Современная русская литература уже слишком далеко ушла от исповедального пафоса — едва ли не забыла прошлое.) Мы, журнал «22», однако, видим свою задачу именно в том, чтобы она существовала. Чтобы историческое свидетельство существования нашего поколения дошло во всей его полноте, без изъятий.

В № 46 («22») нами были опубликованы воспоминания друзей о драматических событиях, сопровождавших знаменитый процесс Синявского и Даниэля, на котором двадцать лет (теперь уже сорок) назад судили двух писателей за их книги, опубликованные за границей под псевдонимами. Однако правильно было бы назвать нас и весь круг людей, о которых шла речь, друзьями Синявского, Даниэля и **Хмельницкого**. Ибо поэт Сергей Хмельницкий вместе с А. Синявским и Ю. Даниэлем был деятельным участником того узкого кружка, из которого изошла эта подпольная литература, а повесть Даниэля (Н. Аржака) «Искупление» целиком посвящена ему. На процессе Синявского-Даниэля Сергей Хмельницкий проходил свидетелем, но протокольный язык «Белой книги» совершенно не отражает того действительного значения, которое придавалось его свидетельству обществом и, возможно, КГБ.

Дело в том, что широко известному, благодаря западной прессе, процессу Синявского и Даниэля, организованному властями, предшествовал общественный, так сказать, — домашний процесс Хмельницкого, организованный его собственным дружеским кругом и известный далеко не так широко. Этот круг подверг С. Хмельницкого остракизму, оказавшемуся, однако, не менее эффективным, чем возможное осуждение властей, и соперничавшему в сознании современников с репрессиями КГБ. Срок приговора, к тому же, оказался более длительным, чем сроки, которыми располагала советская власть. Это произошло в мае 1964 г. И сегодня (1986 г.) еще нельзя сказать, что эта история кончилась.

Прежде чем я попробую сказать что-либо о существовании дела, я изложу события в той их последовательности, как они представлялись в Москве 60-х годов.

...Гости съезжались на дачу. Поздоровавшись с Еленой Михайловной и скинув шубы, проходили к столу, где янтарного цвета чай, заваренный в лучшей манере, разлитый в тонкие стаканы с подставочниками, напоминал о старинном московском гостеприимстве,

дореволюционной интеллигентности и сегодняшнем неустройстве. Впрочем, к чаю были и коржики, скромные, но изысканные.

Гость, ворвавшийся позже других, с мороза раскрасневшись, не мог сдержать возбуждения. Торопливо выкрикнув: «Что я сейчас слышал! Что слышал...» — и обеспечив себе таким образом всеобщее внимание, он жадно уткнулся в горячий чай. Переведя дыхание, сообщил: «Только что... По автомобильному приемнику... Радио «Свобода»... Потрясающая повесть... «День открытых убийств»... Какой-то Николай Аржак... Невероятно... Невообразимо талантливо... Вся наша жизнь...»

Увлечены были все. Но с одним гостем определенно творилось что-то неладное. Сергей Хмельницкий краснел, бледнел, задыхался и, наконец, вскочил и заорал: «Да ведь это Юлька! Я — я сам — подарил ему этот сюжет. Больше никто и не знал. Больше никто и не мог. Больше некому. Конечно, это Юлька...»

Я не знаю, на самом деле, как подробно он это обосновал. Я также не знаю, сколько стукачей присутствовало среди гостей, спустя сколько времени они доложили об этом случае и как подробно... Но я знаю, что чай у Елены Михайловны еще не простыл, когда Юлию Даниэлю уже доложили, что он выдан с головой...

За полвека, что власти в СССР ведут войну против своего народа, народ тоже кое-чему научился. Приемы партизанской войны известны, и жестокость партизан может соизмеряться только с тотальным устрашением, практикуемым властями.

Юлий отказался встречаться с Сережей. Мы обсуждали две возможности: или Сережа искренне и невольно выдал Юлия (что вполне вязалось с его характером) в этом смертельно опасном деле, или... он сознательно воспользовался ситуацией, изобразив эмоциональный взрыв, чтобы распределить между случайными гостями ответственность за неминуемый арест Юлия, который тогда вскоре должен был последовать. Это второе предположение включало, что Сережа давно и обдуманно следит за Юлием и Андреем. К такому выводу неумоли-

мо толкала логика партизанской войны. Правда, такое предположение никак не вязалось с характером Сережи, которого мы знали уже много лет. Могло ли так быть на самом деле? Тут и всплыли слухи о том, что произошло пятнадцать лет назад с Ю. Брегелем и В. Кабо. Ведь они тоже были близкими друзьями Сережи...

Мы уже не могли чувствовать себя друзьями (не только с Сережей, но и между собой), пока не узнаем всю истину об этом мрачном деле. Анатолий Якобсон в своей брутальной манере объявил, что убьет всякого, кто допустит, что Сережа «заложил» Брегеля и Кабо. «А что ты сделаешь, если окажется, что он все же заложил их?» — «Тогда я убью его самого!» Как по-юношески славно это звучало! Каким оплеванным и убитым он выглядел, узнав эту истину, услышав ее из уст самого Сергея!

Он был самым молодым среди нас. И дальше всех от сталинских времен. От тотального ужаса и от эпидемии предательства... И от оправдания его.

Мы разыскали Брегеля и Кабо. Мы узнали эту печальную истину прежде, чем она превратилась во всеобщее достояние. Мы опередили события ненамного. Брегель и Кабо сами пошли навстречу общественности. Они задумали небывалый в советском обществе поступок и мужественно осуществили его. Воспользовавшись буквой закона, позволявшей любому человеку свободно высказаться о личности диссертанта во время его защиты, Юрий Брегель в апреле 1964 г. на защите Хмельницкого по истории архитектуры публично зачитал заявление от своего и В. Кабо имени, вскрывающее роковые подробности дела о доносе Сергея в 1948 году. Он объяснил при этом, что не хочет никоим образом повлиять на голосование о присуждении ученой степени С. Хмельницкому, а только вынужден воспользоваться этой трибуной, за отсутствием в советском обществе всякой иной...

Я помню, что мы еще много лет после этого спорили с М. Гитерманом и М. Азбелем, как должны были бы реагировать члены

Ученого совета, и как голосовали бы мы сами, если диссертация была бы посвящена физике... Сережа диссертацию защитил... Но он столкнулся с молчаливым бойкотом на всех уровнях.

Может быть, этот бойкот не был бы таким тотальным, если бы у Сергея хватило мужества не дожидаться, пока его публично разоблачат, а раскрыться друзьям раньше. Может быть, почувствовав, что он попал в скверную ситуацию у Елены Михайловны, он должен был бы примчаться к Даниэлю и сам рассказать и о своей неловкости, и о своем прошлом. Может быть, это и не повлияло бы на его дальнейшую карьеру, но, безусловно, облегчило бы душевные трудности. Якобсон не убил бы его, и ненависть и презрение к нему в московском обществе не были бы столь тотальными. Никто не связал бы потом его дела с последующим делом Синявского и Даниэля... Но ведь для этого нужно было бы ему быть другим человеком... Ведь и оказавшись в лагере, вместе с Брегелем и Кабо, как сулила ему судьба, он тоже, возможно спустя пять лет, реабилитированный, стал бы, как и они, украшением столичного круга искусствоведов и археологов... Кто мог бы тогда это предвидеть?

Факт состоял в том, что, уже будучи опозорен и заклеяв, он собрал нас всех не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы оправдаться... Нам было мучительно стыдно слушать его (тоже вымученный) лепет, но он ни разу не обратился к нам, как к друзьям. Он воспринимал нас, как преследователей... (А мы и были преследователи. Партизанская война не знает пощады и милосердия.)

Юлий совершенно извелся. Он сам не мог понять, приближает ли собственную (и Андрея Синявского) гибель или защищается. Напрасно ли мучит Сергея (потому что я чувствовал, что он что-то знал о Сереже и раньше) или восстанавливает поправленную справедливость. Что мне кажется ясным: мы все убедились после этого судилища, что за Юлием и Андреем он не следил, и к их делу был действительно непричастен. Да и Майя Синявская, по тому, как

усердно и искренне она Серезу разоблачала, ничего еще достоверно о нем (а, может быть, и об Андрее) не знала.

Сергей остался без работы, без друзей в Москве, которая превратилась для него в пустыню. В результате его оправданий все друзья получили дополнительную уверенность не только в правоте заявления Брежнева, но и в том, что сам Сергей этой правоты не сознает, не раскаивается и, следовательно, заслуживает своей участи. В кругах непосредственно с Сергеем не знакомых он превратился чуть ли не в пугало.

С. Хмельницкий уехал в Душанбе, оставив у московской интеллигенции приятное чувство, что порок наказывается при жизни, а добродетель торжествует...

Впоследствии, на допросе в КГБ по делу Синявского и Даниэля, я очень внимательно вслушивался в характер и формулировки вопросов, пытаюсь уловить в них что-нибудь характерное для Серези... Этого не было. Они явно пользовались магнитофонными записями, но даже в расшифровке их (когда, кто говорит) делали такие ошибки, которых не могло бы быть, если бы в этом участвовал кто-нибудь из близких друзей. Даниэль, выйдя из тюрьмы, подтвердил это впечатление. По-видимому, это так и есть.

Мы вычеркнули Сергея из нашей жизни. Множество других людей позаботилось, чтобы это не прошло для Сергея безболезненно. В КГБ уважительно и опасливо упоминали об этой общественной расправе. Когда в связи с процессом Синявского-Даниэля то тут, то там снова всплывало имя Хмельницкого, находилось множество доброхотов звонить за свой счет в Душанбе и сообщать тамошним интеллигентам, что Сергей ужасный человек и с ним не следует иметь дела.

Я помню, что та эпидемия общественной активности даже заставляла меня, находящегося посреди служебных неприятностей, происходивших от противоположной причины, удивиться, почему не находится ни одного желающего позвонить по месту моей

службы, чтобы засвидетельствовать, что я, как раз, хороший человек и меня следует поддержать...

Итак, мы вычеркнули Сергея из нашей жизни... Но он неожиданно возник на страницах романа А. Синявского «Спокойной ночи!», написанного в Париже спустя полтора десятка лет. — Конечно, мы узнали его... И вот он сам прислал нам рукопись «Из чрева китова...», которая, хотя и носит литературный характер, является ценным человеческим документом и откровенным признанием: *«Я защищаю себя от неспровоцированной клеветы, которая стала общественно-литературным явлением и, значит, вышла за рамки личных отношений. Делая это, я не только следую защитному рефлексу. Публично очернив мою скромную личность, Синявский, нарушил неписанный закон, соблюдавшийся нами долгие годы, — закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили. Тем самым он оказался вне этого закона и подпал под действие другого, который гласит: **«народ должен знать своих стукачей.»***

Нужно сказать, что насколько можно судить по тем разрозненным обрывкам информации, которые оказались нам доступны, Синявский простым стукачем не был. Он явно исполнял в КГБ более высокие и более специализированные функции.

В письме Хмельницкого скрыто потрясающее свидетельство о человеческих взаимоотношениях, которое гораздо важнее и шире по смыслу, чем вопрос о его грехах.

Пятьдесят лет назад начали эти люди свой жизненный путь вместе. С коротких штанов началась их дружба-соперничество. Их интимная дружба сопровождалась смертельным страхом и ледяным недоверием. И постоянной ложью...

Возможны ли такие отношения? Может быть, только такие и возможны?.. Синявский, во всяком случае, в своей книге «Спокойной ночи!» свидетельствует, что они не просто дружили. Они делились мельчайшими движениями души. Они упивались взаи-

мопониманием. При этом он добавляет, что в любой момент ждал ножа в спину...

Каин и Авель? Кто из них кто? Я думаю, что подобное свидетельство человеческих отношений еще никогда не было опубликовано. И я думаю, оно представляет собой психологическую правду. Прежде всего, правду о том времени. Но также и общечеловеческую правду.

Имеет ли эта правда отношение к Хмельницкому? Оказывается, он, бывший для Синявского и эстетическим героем, и смертельной угрозой, не ощущал этого. Потерявши всех друзей и поруганный всеми, он потянулся за утешением... к Андрею.

Андрей всегда думал, что Сережа хуже его, но эстетически как-то цельнее, и он десятилетиями строил внутри себя такую эстетику, в которой Сережу превосходил. Судьей в этом он признал бы только самого Сережу и мечтал прочитать ему свои вещи. Сергей в своих успехах уступал Андрею. Он ценил свою дружбу с ним и черпал утешение в его признании. Десятилетиями, сравнивая свои поступки с Серезиными и с возрастом все более убеждая себя в своем моральном превосходстве, Андрей перешел, наконец, тот предел, за которым реальный мир (и человек) отличается от манихейского идеала. Нарисованный им в книге образ Сережи собрал не только все Зло, как таковое, но и эстетизацию зла.

Именно здесь приходит отрицание отрицания, превращающее плохого, злого человека Сережу в хорошего. Ибо вдруг выяснилось, что он не злоумышлял против Андрея. И даже был настолько наивен, что не догадывался, что его в этом подозревают. Возможно ли это?

Вся эта история говорит, что возможно. И сколько бы мы ни осуждали его за Брегеля и Кабо, несомненным остается, что никаких других его грехов мы не знаем. За это преступление он был наказан. Сам факт наказания выделяет Сергея. Ибо все же следует признать, что большинство преступлений в этом мире остаются неотмщенными.

КАЧАЮЩИЙСЯ МОСТ

Не мешали ли все вышеописанные драматические обстоятельства и переживания нашей жизни, работе, творчеству? — Как ни странно прозвучит такой ответ, я должен ответить отрицательно.

Нет, не помешали, потому что все это вместе и составляло нашу жизнь в 50–60-е годы в СССР. Эти обстоятельства всегда были встроены в нашу жизнь, во всякий момент определявшуюся параноидальными приказами начальства, мимолетными дуновениями в политике и случайными личными удачами. Мы, как моряки к качке, привыкли к этой тряске с детства и жили на краю, от полочки до полочки, не зная другой жизни. Как выразил это чувство выдающийся физик, с которым мы дружески общались, Иммануил Лазаревич Фабелинский: «Ну да, мы железные,.. как мы все это выдерживаем!» К тому же мы еще привыкли помалкивать во всяком незнакомом окружении, зная что любая наша откровенность может быть смертельно опасной. Поэтому мы запоем читали. Чтение смолоду было нашей настоящей жизнью. Это было какое-то литературное помешательство. Поскольку иностранная литература была ближе к реальности, чем советская, мы читали, в основном, ее, и это делало почти всякого интеллигентного читателя, хотя бы отчасти, невольным и прозападно настроенным.

*Молчи, скрывайся и таи
И мысли, и мечты свои.
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи.
— Любишься ими и молчи!*

Эти прелестные стихи Ф. Тютчева пришлись, кстати, нашему поколению. Особенно трогают они в ранней юности, когда еще не сложился навык отделять свою мысль от чувства, и молодой человек думает, что он одинок, просто потому что он уникален...

*Как сердцу высказать себя,
Другому как понять тебя.
Поймет ли он, чем ты живешь?
— Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи...
Любишься ими!.. И молчи!*

Мысль изреченная не есть ложь, но, слишком часто, банальность. А чувство, сопровождавшее рождение мысли, было таким волнующим, таким пьянящим, что она казалась способной осветить весь мир... Однако, будучи выражена словами, оказывается сплошь и рядом неспособна взволновать даже близкого человека...

Наши чувства принадлежат только нам и не могут быть адекватно выражены словами, потому что язык — это общее достояние, результат векового коллективного опыта. Подобное выражается только подобным, и с помощью слов можно выразить лишь общезначимые чувства. Тютчев сделал это так мастерски, что и спустя 150 лет российские юноши способны ощутить иллюзию, будто он угадал их собственное уникальное чувство безысходного одиночества в мире. Одиночество это пугает. Начиная искать сочувствия себе подобных, мы нарушаем тютчевский завет молчания, подыскивая все более подходящие к случаю слова. Но настроения пере-

менчивы, и слова, которые казались точными мгновение назад, теряют свою живость на глазах:

*И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова...*

(Н. Гумилев)

Поэт мечтает высказать нечто, что воплотит его личное чувство во всей полноте и живости. Между тем, написанная им поэма — это всегда ограниченная, конечная вещь — картина. Она статична, она уже не пульсирует, она сама собой во времени не живет (по слову Фауста: «остановись, мгновенье!»). Таким образом, поэт в своем творческом порыве, стремясь освободиться от губящего (но зато оживляющего — ведь только живое умирает!) действия времени, старается схватить подлинную конфигурацию переживания разом в его жизненной полноте, без присущей ему длительности. Больше того, письменный текст существует лишь в одном измерении — ведь слова следуют только друг за другом, а события протекают одновременно и сразу в нескольких местах, справа, слева, вверху и внизу, то есть во всех измерениях. Однако с помощью подбора слов, образов, созвучий и умелого их чередования поэт мнит заморозить читателя — и себя самого — настолько, чтобы целиком погрузить(ся) в созданный его воображением замкнутый, обладающий многими признаками реальности, мир, где зачастую непозволительные страсти и грандиозные, трагические события позволяют себя наблюдать.

Это парадокс — трагические события и страсти в своей жизни наблюдать нельзя: или они захватывают и ошеломляют, губят и отбивают чувствительность, или вы в них душевно не вовлекаетесь, — следовательно, и знаете о них не все. Время, как и связь событий, в действительном мире неустранимо, но... и неуловимо. Оно находится в таинственном соотношении с мнимым внутрен-

ним временем иллюзорного, поэтического мира, в который искусство заставило нас поверить, приняв его условности.

Эти условности в значительной мере соответствуют условиям физического эксперимента: Эйнштейн неоднократно говорил, что чтение Ф. Достоевского дает ему чрезвычайно много даже в чисто профессиональном плане. Обдумывая его слова, я понял, что он, по-видимому, имел в виду обстановку мысленного эксперимента, в которую Достоевский ставил своих героев.

Как строится эксперимент? Изучаемый объект искусственно изолируется от окружения — так чтобы устранить все посторонние влияния — и затем подвергается воздействию одного, строго контролируемого, фактора. С объектом что-то происходит — мы это наблюдаем и называем результатом.

Хотя звучит это чрезвычайно просто, такая процедура включает целую философию. Во-первых, мы должны убедиться, что действительно устранили все посторонние влияния. Какие из них посторонние, а какие необходимые? Как это все проверить?.. Некоторое время еще следует понаблюдать объект безо всяких воздействий, чтобы убедиться, что он не меняется сам по себе — то есть что он находится в устойчивом равновесном состоянии.

А сколько времени ждать? Когда можно считать, что равновесие уже наступило? В одном из экспериментов в моей лаборатории (уже в Израиле) нам пришлось ждать семь месяцев, и я все еще не уверен, что это был конец. Во всяком случае, это был бы конец карьеры незадачливого аспиранта, который взялся бы за такую задачу. Впрочем, в научной литературе встречаются и большие времена выдержки...

Среди хаоса влияний, которые желательно устранить, мы сначала выделяем важные, существенные, и именно на них обращаем сугубое внимание. Мы изолируем объект от нагрева, внешнего давления, электрического и магнитного полей... (Однажды в моей

практике оказалось необходимым устранить и ... силу тяжести. Теперь такие опыты делают на спутниках в невесомости.)

Даже после всего этого, если перед началом работы прочитать гороскоп, приложенный сегодня к каждой еженедельной газете, можно основательно усомниться в том, что какой бы то ни было эксперимент имеет смысл. Ведь согласно астрологии все события на земле, в том числе и результаты эксперимента, зависят от расположения звезд... Что-то в этом есть — безусловно, все в природе связано.

Влияние звезд, однако, мы заведомо устранить не сможем и даже не знаем, когда это влияние скажется на нашей собственной судьбе. Им, скорее всего, придется пренебречь. По-видимому, первым экспериментатором мог стать только человек, готовый пренебречь вековым авторитетом астрологии... Но все же почему-то склонный верить, что в космосе действуют те же законы, что и на Земле. Это совсем не было очевидно до того, как законы механики Ньютона были выведены из законов движения небесных тел.

Механика Ньютона обязана своим возникновением именно тому, что за небесными телами люди наблюдали гораздо пристальнее, чем за земными (может быть, и под влиянием астрологии).

Мы устраняем все посторонние факторы, которые нам известны, заранее смиряясь с тем, что известно не всё, и потому мы должны быть готовы к неожиданностям. (Вот, такой неожиданностью для меня и было влияние силы тяжести на тепловые свойства жидкости.) В сущности, с самого начала мы знаем, что изолированный объект — это недостижимая мечта, идеализация, платоновская идея.

Пусть изолированный объект это лишь идея, но зачастую влияние многих факторов действительно достаточно слабо, чтобы ими можно было пренебречь по каким-нибудь известным (то есть кое-что нам все-таки бывает известно еще до опыта или мы принимаем это на веру) или неизвестным причинам. Тогда вступает

другое соображение: что именно мы наблюдаем, — действительное свойство объекта или только его реакцию на наши усилия?

С природой не сговоришься: «Три, четыре, пять — я иду искать...» Даже, чтобы измерить собственную температуру, приходится порой засунуть термометр в такое место...

У многих температура от этого повышается.

Неустрашимое влияние самого процесса измерения на объект присутствует в любом эксперименте. Извлечение информации неразрывно связано с потерей энергии. И чем точнее и подробней информация, тем больше соответствующая потеря. Античный миф о ложе Прокруста гениально выразил эту истину. Суть ее просто в законах термодинамики. Собственно, это должно было стать ясным, уже когда мы ввели термин «изолированный объект».

Возможно ли наблюдать изолированный объект? Наблюдение автоматически исключает изоляцию. Чтобы что-то наблюдать, необходимо вступить с этим «что-то» в контакт...

Я уже говорил, что моя наблюдательность превосходит мою изобретательность, и поэтому я всегда предпочитал «выжимать» последние дробы в результатах своих наблюдений, а не изобретать новые методы измерений.

Таким образом, наблюдение без внешнего воздействия — это тоже только идея, поэтическая мечта, тема фантазии романа Герберта Уэллса — «Человек-невидимка»:

*А может, высшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пробраться, не оставив тени
На стенах... Вычеркнуться из широт.
...Так временем, как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...*

(М. Цветаева)

Вот с такими средствами мы исследуем окружающий мир. Профессионализм состоит не в том, что мы умеем делать то или это, а в том, что мы знаем (и оговариваем заранее) количественную меру достоверности всех процедур и готовы их ревизовать, в случае обнаружения несогласованности.

Поскольку мы не можем избежать идеализации в процессе измерений, мы должны смириться и с тем, что наши результаты, то есть добытые нами истины, тоже представляют собою идеализации, схематические отображения реального мира, точность которых не больше, чем точность предположений, положенных в основания опыта. Эта приблизительность и позволяла зачастую объяснять принципиально новые явления причудливыми, но основанными на старых идеях способами, вроде теории теплорода, механических моделей максвелловской теории электромагнитного поля и т. п.

Неожиданно содержательным оказалось непримиримое столкновение корпускулярной теории света, которую предложил Ньютон, и волновой теории Гюйгенса. Еще более волнующим оказался случай, когда одно и то же явление могло быть описано той или другой теорией в зависимости от типа эксперимента, в котором оно проявилось. В спорах о том, является ли электрон частицей вещества или волной, сказала, наконец, недостаточность наших представлений, основанных на повседневном опыте.

Когда мы из укрытия наблюдаем за прохожим, мы можем тешить себя мыслью, что он не заметит, куда упал луч света, отраженный от его тела. Но, если наблюдаемым объектом станет частица субатомных размеров, этот луч непременно (и необратимо) изменит ее судьбу, ибо действие луча света на электрон — это не меньше, чем удар ломом по голове человека. Квантовая механика это неустранимое влияние наблюдения узаконивает и количественно оценивает. Таким образом, ее принципы гораздо ближе

к здравому смыслу, чем это принято признавать в общедоступной литературе.

Никакой парадоксальности мышления не требуется, чтобы понять, что топор неподходящий инструмент для бритвы. В субатомном мире, таким образом, мы встречаемся с необходимостью включить в понятие «эксперимент» не только предположительно наблюдаемый объект, но и инструмент, запланированное нами воздействие на него, т. е. способ наблюдения — в сущности, наблюдающего субъекта. Если в отношении «изолированного объекта» и «невозмущающего наблюдения» мы еще могли довериться идеальным схемам, платоновским идеям, то идеализировать наблюдателя, то есть самих себя, нам гораздо труднее. Здесь нам на помощь отчасти (но лишь отчасти!) приходит компьютер, который ближе всего к платоновской идее «незаинтересованного наблюдателя».

Достигнутое таким образом в XX в. более тонкое понимание самой сущности «опытного знания» вскоре распространилось и на язык, литературу, психологию и социологию, где человек выступает одновременно и как наблюдатель, и как наблюдаемый объект. При такой постановке «эксперимента» (уже совсем по Достоевскому) мы не всегда можем предвидеть, какое из наших наблюдений приведет к более глубокому пониманию, а какое окажется обманчивым, периферийным и уведет в сторону.

Научные понятия, введенные профессионалами для удобства оперирования, сразу входят в наше сознание в виде идей, минуя стадию непосредственного опыта. Соответствующий опыт есть только у профессионалов.

В пределах профессионального общения это не вызывает трудностей. Но при переходе к обычному языку не стоит приписывать научным терминам простой, вещный смысл.

Язык — это общее достояние, и профессионалы всех профессий — часть человечества, которая невольно (и бесконтрольно)

вбрасывает в язык свой профессиональный жаргон. Это, конечно, относится и ко всяким другим не полностью замкнутым группам (например, к блатным).

Слова, которые в первоначальном языке могли значить нечто, быть может, очень простое, (а, быть может, преступное) через некоторое время нагружаются дополнительными оттенками смыслов, которые они вбирают из профессионального опыта разных социальных групп и отпечатываются в психологии всех носителей языка.

Обыкновенному слову «ядро» уже не легко будет вернуть его первоначальный, невинный смысл — ядро ореха. И «частица» в сегодняшнем языке редко означает «малую часть». Язык научной и научно-популярной литературы захватил интересы миллионов людей и сильно повлиял на сознание широких масс в XX в. Отблеск ядерных взрывов добавил научным терминам незапланированную дополнительную экспрессию. Увлечение пассионарной (первоначально очень небольшой) группы ученых ядерной физикой спустя короткое время привело не только к созданию целой новой техники и гонке вооружений, но и оставило необратимый след в языке и в общественном сознании.

Однако, между вещами и идеями навсегда останется бездонная иррациональная пропасть, через которую человек то и дело перебрасывает ненадежный, качающийся, висячий мост из слов и символов...

Для жизни среди людей, в общем мире, необходимо нащупывать связь между вещами и идеями. Философский фанатик Л. Витгенштейн завещал нам «молчать о вещах, о которых нельзя сказать ясно», но его призыв столь же правилен и столь же бесполезен, как и вышеприведенный призыв Ф. Тютчева.

До тех пор пока человек окружен вещами, он вынужден их называть и этими названиями оперировать. Назвать своим отдельным именем каждую вещь из бесчисленного их множества он

не в силах. Хотя, как известно, эскимосский язык включает более двадцати разных названий видов снега, все же и 20 — лишь очень малое число по сравнению со всем множеством оттенков реальности. До тех пор пока человек пользуется разумом для ориентации в мире, он вынужден классифицировать вещи и создавать понятия. Это не философская причуда, распространившаяся в западном мире, а практическая необходимость адекватно передавать знание. Как пронизательно заметил в своей статье Э. Бормашенко: «чем более абстрактно знание, тем меньше потери при его передаче». Без операций с идеями и символами мир и сейчас не отошел бы от уровня каменного века.

Всегда остается фундаментальное сомнение в том, что язык, в его конечности, способен вместить реальность.

При пользовании языком следовало бы, как и в квантовой механике, принимать во внимание правило неопределенностей: чем больше энергетический заряд, эмоциональная наполненность данного слова, тем многозначнее его употребление, выше размытость значения. Однозначные термины (например, «лошадь» или «электроника») почти лишены эмоционального наполнения, и потому все согласны в том, что они означают. Слово «Бог», включающее бурю эмоций, вызывающее войны и грандиозные народные движения, совершенно не поддается никакому определению.

«Я мыслю, следовательно существую». С этой формулы Декарта началось победное шествие рационализма. Какой смысл в этом высказывании? Кто это «Я»? Что значит «мыслить»? И, наконец, как определяется «существование»?

Современный человек уже не мог бы позволить себе такой расплывчатости. «Я» — это биологическое существо? Или это сумма моих склонностей, предпочтений, образования, книг, прочитанных в нежном возрасте? Может быть, это характер, унаследован-

ный от родителей, ДНК, принадлежность к определенному кругу, клану, племени? Наконец, может быть, это моя воля к власти, позыв к овладению и господству? Скорее всего...

«Я мыслю»... Могу ли я мыслить вне правил языка, на котором возрос и образовался мой разум? Или вне общих правил группы языков, принадлежащих к единому цивилизационному кругу общающихся культур? Если верить постмодернистам, наши языки в своей всеобщности уже содержат все наши *возможные* мысли, и мысли, выходящей за пределы этого гетто, т. е. «*невозможной*», уже никак не удастся быть выговоренной. Она будет воспринята просто, как интеллектуальное хулиганство или дилетантский бред. Постмодернизм убеждает нас, что все уже высказано, и мы обречены повторяться. К тому же, могу ли я быть уверенным, что к моим мыслям в какой-то степени не примешиваются и чувства? И это не только мысли, но и, в какой-то степени, пожелания (посягновения, так сказать, притяжения, страсти).

Наконец, что значит, что «я существую»? Оттого, что в дебрях своего организма я переживаю некое смутное шевеление, которое безосновательно называю словом «мыслить», я действительно могу сделать вывод, что существую? Не означает ли термин «существовать» — быть наблюдаемым, т. е. хотя бы в принципе допускать объективное наблюдение? Кто же меня наблюдает?

Если ограничиться только вышеприведенным афоризмом, то получится, что «я сам себя наблюдаю». Тогда это утверждение сводится к тавтологии. Т. е. «я существую, потому что я существую». Боюсь, что так оно и есть.

На самом деле в этой хлесткой фразе не хватает главного действующего лица. Декарт твердо верил в Бога — его (и его мышление) наблюдал Бог. Это по смыслу соответствует библейской фразе «Ханок ходил пред Богом». В отличие от другого гения его времени, Б. Паскаля, у которого с Богом были более короткие отношения, Декарт просто «ходил пред Богом». Бог, как ему казалось, одобрял

его дерзкую амбицию «правильно мыслить». Поэтому проблема объективного наблюдателя для него не возникла.

Наблюдать Нечто или быть предметом Его наблюдения — это, в сущности, значит одно и то же (т. е. быть в контакте) в согласии с принципом взаимности Мартина Бубера: «Я-Ты». Я мог бы сказать иначе: «в согласии с квантовой механикой».

Весь грандиозный механизм религиозного эстаблишмента, церковь или раввинат, есть средство наблюдения (или — более банально — средство связи) между сообществом верующих и Средоточием их веры. Эту парадоксальную двустороннюю («Я-Ты») связь и обязан осуществлять механизм традиции.

Этот механизм совсем не обязательно должен оставаться неизменным на протяжении веков. Изобретение электронного микроскопа изменило наше представление о микромире. И так же Реформация в свое время изменила духовный мир христианина.

Проблема нашего времени состоит в том, что наша (конечно, как и христианская) традиция не выполняет свою основную функцию связи («Я-Ты») для человека, включенного в мировую рациональную информационно-экономическую систему. Напротив, мусульманская традиция, давая верующему иллюзорное чувство осмысленности его жизни, благодаря ощущению наличия этой двусторонней связи, в сегодняшнем глобализованном мире не позволяет ему включиться в рациональную систему мировых отношений.

В Библии достоверность утверждения скреплялась фразой: **Бог свидетель, что...** Впоследствии установились более мягкие формулы, обозначающие Его присутствие...

Но это присутствие всегда предполагалось.

Поскольку за прошедшие столетия Бог совершенно исчез из философского дискурса, люди стали в буквальном смысле бес-

призорниками. Они ходят без присмотра (без наблюдателя свыше) и отчасти чувствуют свое сиротство. Их язык остался от прошлого, а мышление становится все более замкнутым на самого себя, т. е. релятивным. Унаследованный нами от предшествовавших тысячелетий язык сопротивляется нашей сегодняшней практике, освобожденной от всякой догматики. В языке сохраняются реликты догм, которыми мы в современной жизни (сознательно или бессознательно) пренебрегаем. Коротко говоря, современные люди по своей психологии (способности хладнокровно рассмотреть все сценарии, в том числе и абсолютно недопустимые) все ближе оказываются к типу преступника, блатного. Это видно и по засорению всех языков блатной лексикой...

Беспризорников некому научить логике. Правильно построенная логика, по-видимому, необходимо должна включать два ненаблюдаемых в жизни полярных понятия: «ничто» (полное отсутствие — несуществование — нуль) и «предельную полноту» (полную целостность — Бог — бесконечность). Характеризует ли это устройство мира в его основе или только устройство нашей познающей системы, остается, конечно, за пределами нашего познания. Однако, без этих двух понятий любой язык будет неполон и мы останемся в узких пределах обывательских представлений.

Это становится особенно ясно на примере простой арифметики. Без нуля и бесконечности (Кстати, в иудаизме одно из часто употребляемых наименований Б-га — Эйн-Соф — Бесконечность.) невозможно построить логически замкнутую математическую теорию. Повидимому это соображение правильно и для любой другой замкнутой системы правил, что видно из учреждения в любом человеческом общении разных форм табу. Между тем, нуль не означает количества («...чего нет, того нельзя считать.» *Эккл. 1,15*), а бесконечность не позволяет счета. И то, и другое ускользает от наших определений и ненаблюдаемо (и даже недостижимо) в реальности. Поэтому и философский дискурс, не включающий поня-

тие Бога, оказывается ущербным, несмотря на то, что никакого разумного определения этого понятия заведомо невозможно предложить. Такое определение и не может существовать, потому что человек не может выскочить из себя, чтобы наблюдать Бога и мир сверху (со стороны). И, все же, он теряет ощущение подлинности своего существования, когда выясняется, что у него нет свидетеля, стороннего наблюдателя (лучше сказать, наблюдателя свыше). Поэтому и простой обыватель в той части мира, которая безоглядно отдалась идеям Просвещения, потерявши философскую ориентацию, теряет свою мораль и, в конечном счете, вкус к жизни.

Слава Богу, нуль — начало мира, Большой взрыв, нам все-таки оставили. Эйнштейн позаботился. Но Нечто Высшее осталось только для ученых энтузиастов. И для традиционно верующих.

В природе не существует изолированных объектов. Любой предмет следует рассматривать в его окружении и вместе со средствами его наблюдения. Но, поскольку мы по отношению к изучаемому предмету не больше, чем средство наблюдения (а квантовая механика не больше, чем инструкция к пользованию — феноменология микромира), такое рассмотрение оказывается практически невозможным — это бесконечная анфилада зеркал. Электрон не «так же неисчерпаем, как и атом» по словам Вл. Ленина, а более сложен, чем атом, потому что он должен рассматриваться вместе с гораздо более сложными средствами наблюдения, чем необходимо для атома. Ленин, конечно, этого в виду не имел. Это утверждение не относится только к физике, а является универсальным. В физике, как и вообще в науке, следует оговорить предел подробности, до которой мы готовы продолжить исследование, и не заглядывать «по ту сторону».

В прошлом каждый цивилизованный человек в детстве получал более или менее религиозное воспитание, а уж потом по мере поступления новых научных сведений либо как-то согласовывал

их со своей совестью, либо приходил к выводу, что его религиозные представления были неадекватны. Такая эволюция находится в гармонии с возрастным развитием у человека критической способности, которая составляет необходимый элемент мышления.

Специалисты по распознаванию образов говорят, что человек всегда начинает с интуитивного угадывания цельного образа, и лишь затем различает детали. Различая эти детали, он иногда вынужден отказаться от своего первоначально цельного ощущения. Древние религии дают человеку в целом согласованную, хотя и чисто художественную, метафорическую картину мироустройства. Уточнение деталей наукой не слишком изменяет эту картину, потому что наука по своей природе не может относиться к целому (всеобщей теории Всего быть не может).

Религиозные системы предназначены вдохновлять и освободить от неизбежных сомнений, обуревающих вдумчивого человека, едва он выйдет из детского возраста. Сомнение составляет нерв научно ориентированного мировоззрения, которое изучает детали, и не может противоречить никакому цельному религиозному убеждению, пока оба остаются в пределах своей компетенции.

Нам было суждено родиться в перевернутом мире. Еще в детстве, в возрасте веры, нам внушили некоторые научные идеи. Иные из них были вовсе недурны. Но с возрастом мы убеждаемся, что и в религиозном мировоззрении содержалось неузнанное нами в молодости обаяние.

Во всех западных странах дети теперь так воспитываются, что научные идеи им понятнее и ближе, чем религия предков. Так как они еще не научены сомневаться, именно этим идеям суждено остаться для них тем начальным набором мифов, воспринятых без критики, на котором основывается всякое дальнейшее понимание, — то есть, в сущности, их религией. Таким образом, в качестве твердой опоры выбирается как раз то самое, в чем ученому полагается сомневаться. Потому что все научные истины, даже если они

и подтверждены вековым опытом, для ученых суть только более или менее основательные гипотезы.

Опыт дает нам только индуктивное знание, но мировоззрения строятся дедуктивно. Первоначальной опорой познания в нашей цивилизации был миф о существовании Единого («**Я — Господь!**») и о Его небезразличии к нам и нашим делам («**Слушай, Израиль!**»). Потом христианство и Ислам добавили свои волнующие подробности.

Теперь то, что тысячелетиями служило предкам твердой дедуктивной опорой, в современном профанном мире (где царит опыт) как раз и подлежит доказательству (и слишком часто его не находит). Этот радикальный переворот в сознании грозит привести к крушению всю грандиозную пирамиду западной цивилизации. Потому что из логики мы знаем, что обратное утверждение не эквивалентно прямому.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Еврейской Библии по справедливости приписывают открытие феномена Истории. Не просто пересказа отдаленных и отделенных друг от друга событий, а некоторого связного сюжета, который существует в объективной действительности и куда-то ведет (или заводит) народы. Всякий человек способен ощутить соучастие в таком сюжете, как ценность, как повод для гордости или стыда.

В России впервые воспринял эту идею в полноте П. Я. Чаадаев: «Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. ... Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история: это физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Мы живем одним настоящим... без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе... Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно... Каждая

новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является Бог весть откуда. Исторический опыт для нас не существует.»

Осознание Чаадаевым идеи индивидуального исторического пути оказалось для нации чревато роковым выбором: суждено ли и России следовать общечеловеческому (в те времена человечеством признавалась только Европа) стандарту в истории или ей предназначена особая миссия («Умом Россию не понять... В Россию можно только верить.»).

Относительно этого фундаментального вопроса общество разделилось на «западников» и «славянофилов», и это деление до сих пор вызывает оживленную полемику и ожесточенную вражду.

Хотя для человека, знакомого с последующим блестящим взлетом российской культуры, чаадаевская характеристика выглядит чрезмерно суровой, в ней содержится частичное объяснение той загадочной стремительности, с которой Россия, спустя меньше чем столетие, эту свою культуру растеряла. Почти целый век напряженных идейных поисков, художественного всевидения, пророческих прозрений русского культурного круга, провалился разом в небытие, выпал из летосчисления, как Атлантида, опустившаяся на морское дно.

Новый российский народ после 1917г. покушался не следовать историческому опыту предыдущих поколений (выбравших, хотя и с грехом пополам, западный путь развития), а преодолеть и отбросить влияние прошлого, в ходе осуществления своего собственного, оригинального утопического проекта («Мы наш, мы новый мир построим»). Но, конечно, пути осуществления этой утопии были продиктованы именно опытом предыдущих поколений. Поэтому все варианты советского исторического сознания были лишь разными формами мифологизации и фальсификации действительности. Подлинной истории в России 50 лет не существовало.

Ближе к концу Советской власти российский народ опять очнулся в том же культурно неустойчивом психологическом состоянии «чуждости самому себе», в котором он пребывал во времена Чаадаева — между «западниками» и «славянофилами». Западники сулят достаток и свободу, славянофилы манят государственным величием и покоем.

При таком делении (и сопутствующем ожесточении) в предреволюционном российском обществе юридической (собственно, «западной») идентификации гражданина оказалось уже недостаточно и — сначала подпольно, а потом и общепризнанно — к выбору этому припуталась дополнительная, этническая характеристика — «пятый пункт». Это немедленно сказалось на судьбе национальных меньшинств в Империи и превратилось в серьезный фактор, предопределявший политическое поведение.

Тогда-то и вышел на сцену Александр Солженицын, писатель, взявший на себя лично задачу вместить историческое сознание русского народа.

Если А. Сахарова можно было бы условно назвать «западником», то Солженицына с той же степенью условности можно было бы назвать «славянофилом».

Технократические идеи Сахарова были предназначены советскому обществу в целом и импонировали, в основном, интеллигентской элитарной группе (в которую угодила и подавляющая доля еврейского населения). Чувства же и опасения Солженицына разделяла широкая, социально и политически нерасчлененная, масса титульной нации. Это сочувствие далеко от всяких идей и основано на интуитивных народных притяжениях и отталкиваниях, которые художнику так легко предугадать.

Оставим «западную» надежду узнать, какой путь «правильный». О правильности пути мы в жизни узнаем только по тяжести расплаты за «неправильное» прошлое.

Для нас, нынешних израильтян и бывших русских евреев, к счастью, нет необходимости принимать взгляды Солженицына или отвергать их. Как и весь остальной мир, кроме России, мы находимся на периферии его писательского внимания и не составляем существенной части аудитории. Мы потому и оказались вне России, что решение этого коренного вопроса русской истории предоставили оставшимся.

Он пишет не для нас. Определяющий этот факт не сразу доходит до русскоязычных читателей на Западе. Однако, в том, что Солженицын пишет, содержится много важного и для нас.

Попробуем понять его, не примешивая собственных пристрастий, не сверяясь со своими интересами. Как рекомендуют философы со времен Сократа: «Не восторгаться, не негодовать, но — понимать».

В соответствии с русским идеалом писателя, от которого ожидают больше, чем просто литературы, Солженицын в своих книгах строит свою собственную историю, социологию и антропологию России XX века. Погруженный с головой в этот грандиозный замысел, он сплошь и рядом перестает быть писателем, и выяснением для себя увлекается больше, чем изложением для читателя. Человек, взявший почитать его роман перед сном, вскоре отложит книгу.

Вопросы, на которых останавливается его испытующий дух, приличествуют скорее титанам, на чьих плечах держатся небеса, чем простым смертным, ищущим как бы избежать личной ответственности прочтением великого писателя: «Извечная проблема, нигде не решенная и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей, или как заковать в обязанности, не давая прав?»

Если в «Архипелаге ГУЛаг» такая особенность была предвзвешена подзаголовком — «опыт художественного исследования» —

в «Августе 14-го» автору пришлось объяснять такое отклонение от «нормы» уже в самом тексте: «Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки...»

Конечно, русская история дает достаточно веских поводов оправдать любое жанровое отклонение. Но, еще за сто приблизительно лет до Солженицына, и Лев Толстой то и дело прерывал повествование, чтобы на десятках страниц высказывать свои взгляды на историю, социологию и природу человека, несмотря на то, что историки тогда еще наслаждались безопасностью, а история России не была, по-видимому, изломана.

Как и Л. Толстому, А. Солженицыну тесны жанровые рамки, и его романы — не совсем романы, а «повествование в отмеренных сроках», и книги его — не книги, а «узлы». Можно понять тех, кого это раздражает, но суть дела все же, по-видимому, не в тщеславии выдумать новое слово, а действительно в некоем ином принципе, который в свое время сделал творчество Солженицына в такой же степени «новым», как и «архаическим».

Тема художественного исследования «Архипелага ГУЛаг» поддается определению, кажется, легче всего. Исследуется возникновение и развитие величайшей в мире карательной системы, сумевшей за полвека изменить почти до неузнаваемости облик целого народа. Исследуется способность и готовность этого народа, и человека вообще, сопротивляться, терпеть или способствовать собственному угнетению и порабощению.

Почти в начале книги (во всяком случае, для меня это было началом) автор задается вопросом, почему советские граждане так рабски спокойно покоряются аресту, почему не кричат, не сопротивляются, не бегут... «Исследование» уже здесь превращается в проповедь, и вопрос обращается в призыв. Я помню, какое впечатление произвел на меня этот отрывок в самиздате. К тому

времени меня уже не раз арестовывали, но этот раз я воспринял иначе.

...Нагоняющий шорох шин у обочины, открытые дверцы черного автомобиля, пристойно-свирепые лица, поблескивающие золотыми зубами из мягкой черноты. Неброские костюмы, обязательные галстуки, любезность казенных кабинетов: «Присаживайтесь, Александр Владимирович...»

Никогда больше я не соглашусь поддержать этот гнусный отенок благопристойности! Ни за что больше не приму этого подмигивающего приглашения на казнь, этого подлого взаимопонимания, связывающего «советских людей со своими органами»...

Одним скачком я оказался позади машины и затесался в очередь, ожидавшую троллейбуса. Мотор взревел, и, въехав на тротуар, машина задним ходом врезалась в толпу. Народ брызнул из-под колес. Трое оперативников вцепились и мигом оторвали меня от земли, так что ноги мои не коснулись ее уже до самого места назначения...

Свободная воля, однако, даже и оторванного от почвы человека способна противостоять насилию, придав его телу твердость и форму, несовместимую с дверным проемом служебного автомобиля. Неравномерно сгибаясь и разгибаясь в воздухе, я успешно продолжал препятствовать работе оперативной группы. Правда, края автомобиля, о который бились мои выступающие части, казались мне все жестче, но уже торжествующим боковым зрением я успевал увидеть, как сопровождавшему меня Игорю Губерману удалось возбудить возмущение толпы, и вот они ведут сюда слабо упирающегося милиционера, «чтобы разобраться»...

Захваты роботов в неразличимых костюмах стали, как будто, ослабевать, и в этот короткий миг я сумел лягнуть в галстук направлявшего их оператора... Это и было моей роковой ошибкой: отсредоточившись от своей главной задачи, я уже не успел помешать им согнуть мое тело под надлежащим углом. В период зрелого социализма такую работу делают знатоки...

Милиционер после первых же слов проявил понимание и успокоил возбужденную толпу: «Совсем не безобразия. Берут, кого положено. Те, кому надо!» Это заключение я узнал со слов Игоря, так как машина с моим телом в то время уже неслась, нарушая уличное движение, по московским улицам к заветному месту возле Гастронома № 18.

Что заставило меня так горячо отозваться на слова Солженицына? Почему я воспринял их как вызов, обращенный лично ко мне?

Как ни странно, ответ на эти вопросы содержится в весьма академической статье покойного С. С. Аверинцева «Античная литература и ближневосточная словесность»: «На Ближнем Востоке каждое слово предания говорится всякий раз внутри непосредственно жизненного общения говорящего с себе подобными. Интеллектуальный фокус внутреннего самодистанцирования, наилучшим образом известный интеллигентному греку со времен Сократа, здесь не в ходу».

Сейчас я уже не вспомню, читали ли мы с Игорем «Архипелаг» непосредственно накануне, но помню точно, что мы живо обсуждали его — именно эту главу — «Арест».

Всем своим образованием, кругом знакомств и симпатий склонялись мы к иронии и самодистанцированию. Уж нам ли был неизвестен какой-либо из интеллектуальных фокусов, так удобно разделяющих мир на явление и сущность, литературу и жизнь, западников и славянофилов, «мы и они», наконец...

В духе всего нашего круга было бы оценить литературные достоинства отрывка и повздыхать о несопоставимости поэтической прозы с прозой жизни.

И в КГБ были разочарованы моим поведением. Стыдили: «А еще профессор!» Наводили на мысль о Сократе: «К лицу ли вам...» — и обещали к следующему разу обязательно руки и ноги переломать.

Сократ, как известно, не стал дожидаться, пока тогдашние специалисты начнут выламывать ему руки, и выпил предназначенную чашу с ядом, не пускаясь в авантюры, сохранив достоинство и дистанцию...

Нет, Сократа из меня не вышло, что и говорить. Но зато я получил ключ к пониманию Солженицына. На этот краткий миг мы вместе с Губерманом вошли в круг его истинных читателей.

Что помешало нам принять слова писателя с привычной долей иронии? Ведь не на Ближнем же Востоке воспитывались мы оба? И что тут было первопричиной? Наш статус русских интеллигентов («образованцев» по А. Солженицыну) или еврейская натура, чем-то все же близкая этому самому Востоку?

Внутри русской литературы всегда существовала тенденция выйти за рамки собственно литературной формы и перейти непосредственно к «содержанию», то есть к жизни. Стремление превратиться в учебник жизни («Что делать?») всегда толкало русскую литературу прочь от классических образцов в сторону библейской сумятицы. (Аверинцев называл ее «ближневосточной» лишь в ходе своего собственного сократовского самодистанцирования от реальности советской цензуры.)

Внутриситуативная заинтересованность порождает и жанровую неопределенность. Многие русские писатели незаметно для себя переходили от изложения к изобличению и от повествования к благовествованию. Кастовое сознание русской интеллигенции включает не только (и даже не столько) всевозможные интеллектуальные фокусы, но прежде всего учительство, следование и жертву.

Соответственно этому и ее литература выполняет не только эстетическую, но, гораздо чаще, этическую задачу. Отделить Солженицына от этой негреческой традиции невозможно. Его воспринимал в полноте только тот, кто читал его, как будто к нему это было обращено лично. Солженицына прочитывали и проникались

только те, кто ждал от него ответа на вопрос «как быть?». И сам Солженицын ощущал, верил, что он призван дать ответ.

Продолжим любопытную мысль Аверинцева: «Сравнивая греческое и библейское отношение к слову, как образу мира, мы делаем не что иное, как познаем себя. Сравнивать мы должны, памятуя, что мы остаемся европейцами, и, следовательно, «греками». Внутри (греческой) культуры, которая... стала «нормой» для последующих, относительно литературы точно известно, что это есть именно литература (а не, скажем, пророческое вещание), и так же обстоит дело с жанровыми разновидностями: при взгляде на любой культурный продукт мы знаем, что он такое и по какой шкале его надлежит оценивать.»

Это — безусловно декларация западника. Далеко не все представители русской культуры легко согласились бы присоединиться к этому категорическому «мы», что «остаемся европейцами, и следовательно, «греками». Солженицын (как, впрочем, и Л. Толстой с Достоевским) вызывает интерес всего мира именно тем, в чем он от этого определения отстывает. Шкала, по которой его надлежит оценивать, не разработана.

Для нас, евреев, еще меньше оснований безоглядно отождествляться с «греками», и мы, быть может, больше других способны были бы понять Солженицына. Наши взаимоотношения с «греческой культурой, которая стала нормой для последующих», осложнены не меньше, чем солженицынские. Родство наше с греками (как и классической русской литературы) сомнительно. Как писал тогда в своей дерзко иронической манере Игорь Губерман:

*...А жена моя гречанка —
Циля Глезер из Афин.
Цилин предок — не забудь! —
Он служил в аптеке.
Он прошел великий путь
Из евреев в греки...*

Однако, понимание, о котором я говорю сейчас, отличается от бесстрастного, «сократовского» понимания, упомянутого мною в самом начале. Такое новое понимание должно было бы включить сопереживание и соучастие...

Тогда при изменившихся обстоятельствах (а обстоятельства с тех пор действительно радикально переменялись) оно неизбежно включит соответственно раздражение и противодействие. Быть может, это и есть, по крайней мере, одна из причин, по которой Солженицын такого сочувственного понимания от нас не ждет и не хочет.

Во всяком случае остается верным, что анализируя солженицынское отношение к миру, мы лучше познаем себя. Потому что дорога, по которой он отходит от европейского классического наследия, ведет его к Библии, источнику классическому для нас. И здесь лежат семена драматического конфликта, потому что невозможно читать Библию, не сопоставляя ее с реально существующим, вопреки всему, еврейским племенем. А такое сопоставление оставляет писателю слишком узкий путь между общенародной русской жадой Богоизбрания и верностью букве Писания, заложенного в фундамент, так называемой, иудео-христианской цивилизации.

В сознании христианского писателя, независимо от его воли, оживает неразрешимая дилемма пророка Валаама: двойное побуждение — импульсивное намерение проклясть евреев и несформулированная (читатель, возможно, ожидает слова «подсознательная», но здесь уместнее надсознательная) тяга благословить их.

Этой неразрешимостью Александр Солженицын и поделился с читателем в своей последней книге. «200 лет» — книга не о евреях. Эта книга о России — о себе, в сущности. Поэтому нет смысла останавливаться на ошибках (или искажениях) в истории евреев, которые якобы допустил автор. Ошибки эти укоренены в сознании писателя (и огромного множества его читателей) глубже чем его интерес к фактической истории.

Нет сомнения, что в Российской Империи евреи были во всех отношениях нежелательным элементом. До тех пор, пока жизнь народов будет оцениваться с точки зрения имперских интересов и в пределах русской цивилизационной модели, такие расхождения неизбежны. В терминах культуры, которая воспринимает, например, торговлю и денежные отношения, как низкую материю, нет смысла обсуждать правильность описания роли евреев в экономической жизни. Солженицына совсем не заинтересовала не менее драматическая (и окончившаяся также массовым исходом) история 300-т лет русско-немецкого сосуществования. Он не высказался по поводу татарского ига. В отечественной истории его волнует только фундаментальное.

Он возвращает внимание читателя к той исходной точке, на которой застал Россию П. Чаадаев. С жадным, ревнивым (и зачастую несправедливым) вниманием он сравнивает двухсотлетнюю историю своего народа с параллельным развитием еврейского меньшинства, жившего в почти родственной близости, на самом пределе ассимиляции и все же сохранившего свою обособленность. Он силится рационально разрешить историческую загадку, которая остается неразгаданной уже тысячи лет.

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын хорошо понимал, кого клеймил, к чему призывал, и голос его звучал непререкаемой пророческой уверенностью. В последней же книге, особенно во втором томе «200 лет», пытаясь распутать переплетающиеся в столетиях нити скрытых обид и открытых притеснений, он и сам заколебался — может быть впервые в своем творчестве — знает ли он, что хочет выразить?

Начав с Российской революции, и невольно дойдя до невидимых (и неочевидных) пружин исторических судеб народов, Солженицын вплотную приблизился к апокалиптическим пророчествам, положенным в основу христианской культуры: «Все произошедшее за два столетия с еврейством в России ... — не игра случай-

ных стечений на окраине истории. Еврейство закончило круговой цикл распространения ... — и теперь двинулось в возврат на свою исходную землю». И тут он вдруг отступает от своей, уже ставшей ему привычной, роли «знающего, как надо»:

«В том цикле и в разрешении его — проглядывает надчеловеческий замысел. И, может быть, нашим потомкам предстоит увидеть его ясней. И разгадать.»

В такой неожиданной неуверенности, в этом осторожном «может быть» пророческая нота звучит еще яснее, чем это могло бы прозвучать в его категорическом суждении.

Я знакомился с Солженицыным дважды. Первый раз нас познакомил Бенедикт Сарнов, занимавший тогда самый крайний либеральный фланг допустимой в СССР литературной критики. Это было в Центральном доме литераторов. Солженицын выглядел молодым, полным сил мужчиной с быстрым взглядом и резкими жестами. Он был тогда уже в середине своей крутой дороги к успеху. Мы оба, Бен и я, всей душой сочувствовали его успехам, и он это понимал.

Второй раз это произошло через много лет, когда мы с Нелей приехали в Москву и Наталья Дмитриевна — жена Солженицына — приехала в гостиницу за нами на своей машине, чтобы отвезти на их дачу. Александр Исаевич тогда уже вынужден был опираться на палку, но отзывался на реплики так же остро. Хотя он очень внимательно прочел мои статьи о себе, он пытался убедить меня, что в его мировоззрении не содержится склонности к религиозному дуализму, которую я отметил: «Просто в человеческой душе есть и ДОБРО и ЗЛО». Но это отнюдь не просто, и его книги именно это подтверждают. Эти мои статьи вообще оказались не по зубам российскому читателю. Единственный, кто прочел и оценил их, оказался Сергей Сергеевич Аверинцев, к сожалению, покойный. Мы встретились в Лондоне на Семинаре по русской философии незадолго до его смерти.

Солженицын был рад нашему визиту и воспринимал его, как смелый, нетривиальный поступок с нашей стороны. Оказалось, что за эти годы московское общество раскололось так радикально, что наша нейтральная позиция казалась ему мужественной и для нас чуть ли не опасной. Действительно, Бен Сарнов в результате навсегда прервал нашу многолетнюю дружбу, утверждая, что мы, таким образом, предали его, способствуя черным силам, угрожающим либеральному будущему России. По-видимому склонность к религиозному дуализму присуща сейчас всему российскому обществу, и Солженицын очень убедительно это отразил в своих книгах.

И сам не остался в стороне.

«НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН ВНУТРИ НАС»

В эпопею Александра Солженицына («Август 14-го», «Октябрь 16-го») автор стремился проследить сползание предреволюционного российского общества (и отдельного человека в нем) от его «нормального», цивилизованного состояния к тому современному его состоянию, которое характеризуется расхожим словом «совок». Он к тому же уверен, что такое направление эволюции угрожает всем существующим обществам, и убеждает читателя, что его исследование носит общечеловеческий характер. Автор ищет в документах ушедшей эпохи, в частных письмах, дневниках, газетных рекламах. Он прослеживает истории отдельных семей и мировых событий. Сотни страниц уходят в сторону от сюжета, чтобы обнажить работу над источниками, развернутый комментарий, пересказ событий и фактов.

В непрерывающемся потоке истории он тщетно ищет тот критический момент, ту роковую, невидимую развилку, начиная с которой дальше все пошло хуже и хуже по естественным законам разложения, но до которой, как ему казалось, еще не поздно было повернуть, обуздать, разумно направить...

Его выбор Мировой войны в качестве начала отсчета и утомляющий анализ военных действий вызваны, по-видимому, не столько желанием восстановить последовательность реальных событий и тактических ходов (в основном, поражений), сколько попыткой выявить (для себя самого, быть может?) возможную меру коллективного усилия, меру прочности организованной человеческой массы по отношению к неблагоприятному стечению обстоятельств.

Он ловит признаки развала, растворения социальной ответственности, улетучивания порядочности буквально на бегу: «Задвое суток, что перемалывали их полк, состарились уцелевшие: ...никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить ее лучше, выкачать грудь. Ни одного беззаботного лица: ...там, где со смертью они сокоснулись, все обязательства службы стали слупливаться с них. Но не слупились еще настолько, чтоб и всякие команды перестали быть над ними властны. Еще и простого приказа могло достать...»

А вот немного дальше по этому пути: «Взошло солнце. Все так же никто никого не задерживал, не спрашивал. А во всех, кто ехал и шел, было новое, сразу даже не назвать: будто при оружии, при амуниции, по делу или в составе части, будто еще не бегство, еще подчиненная своим командирам армия, а уже не та: не так обращивались на офицеров и на лица появилось выражение **своей** озабоченности, не общего дела». Тут в тексте Солженицына уже проступает статистическая модель социологии, намеченная еще Львом Толстым в заключительных главах «Войны и мира». Но полвека богатого социального опыта уже не позволяют писателю видеть в каждом солдате Платона Каратаева.

Еще дальше по ступеням падения: «Разве только лошадью и не понимается особенность этого вида боя — бегства. Чтобы слать низших в наступление, приходится высшим искать лозунги, доводы, выдвигать награды и угрозы, а то и самим непременно идти впереди. Задача же бегства понимается мгновенно и непротиворе-

чиво сверху донизу всеми, и нижний чин проникается ею несопротивительней корпусного командира. Всем порывом готовно отзывается на нее разбуженный, три дня не евший, разутый, обезноженный, безоружный, больной, раненный, тупоумный, — и только тот безучастен, кого уже нельзя добудиться. В ночь ли, в ненастье, единая эта идея ухватывается всеми, и все готовы на жертвы, не прося награды».

А вот уже и конец: «К вечеру 16-го уже не существовала Вторая армия, а перемешанная, неуправляемая толпа. Утром 16-го донские казаки были верной частью общероссийского воинства, к вечеру самостийно смекнули они, что своя донская рубашка к телу ближе. Дошла до них та непоправимая сдвижка частей и сдвижка в умах, после которой уже не восстанавливается армия...»

Посреди этого развала Солженицыну удается проследить также и конструктивную волю одиночек, вождей, офицеров, силой своей и верностью противостоящих хаосу, разрушению, шкурничеству: «Мы, в повседневной жизни всегда руководствуясь сообщениями своей сохранности, оставляем в стороне эту загадку профессиональных военных и других людей долга (как будто не из нас же получают такие люди при твердом воспитании): как неуклонно они переходят в неестественную готовность умереть и в саму смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни?.. Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа».

Действительно, такие люди есть во всякой армии, и не раз в истории неудачно начатое сражение из поражения обращалось в победу благодаря присутствию и самоотверженности таких одиночек.

Однако Солженицын повествует о противоположной ситуации, когда поражение наступило, несмотря на мужество отдельных людей. Его анализ носит общечеловеческий характер, и всякому

человеку во всяком обществе должно быть важно знать, а когда же одного героизма не хватит? И до какой степени сам этот героизм есть естественное порождение традиции и образа жизни, предшествовавших войне?

Ибо я отнюдь не уверен, что люди долга получают просто от «твердого воспитания», как мимоходом бросает автор. Похоже, и эти люди, и само воспитание зависят от господствующего настроения в стране. От духа, царившего в обществе, из которого ушли на фронт герои и трусы, будущие георгиевские кавалеры и дезертиры.

Автор верил, что в начале войны 1914 года эта основа в России была еще вполне здоровой, а общие понятия неизвращенными. Однако, вот разговор воспитанника интеллигентской, революционной семьи, сбежавшего с позиций и бросившего свой взвод, прапорщика Саши Ленартовича с человеком долга, кадровым полковником Воротынцевым: «... на главное возвращал его Саша:

— Сейчас вы заставляете нести труп (убитого в бою командира. — А. В.), потом прикажете нести этого поручика, наверняка черносотенца...

Саша рассчитывал — полковник рассердится. Нет. Так же отрывисто, и даже будто думая о другом:

— И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, это рябь на воде.

— Партийные — рябь?? — поразился, споткнулся Саша... — А тогда что ж национальные?.. А мы из-за них воюем? А какие же разногласия существенны тогда?

— Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик, — еще отрывистой отдал Воротынцев. И внешней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на ходу смотрел то под ноги, то в карту».

Мир, в котором можно так однозначно звать к порядочности, нам незнаком. Ибо он основан на едином представлении о по-

рядочности, опирающемся на общие неизменные ценности. Нам не посчастливилось застать ничего подобного.

Ответ Воротынцева обладает замечательным свойством быть одновременно банальным и очень глубоким. Банальность ответа в том, что каждая группа людей имеет тенденцию отгораживаться от неприятных им взглядов и вкусов, объявляя их носителей непорядочными и приписывая именно себе желаемую норму — порядочность.

Постаревший Ленартович, прочитав сегодня роман Солженицына, сказал бы: «Да ведь он едва ли не монархист! А я-то считал его порядочным человеком». И в его кругу вопрос на этом будет закрыт. Как-то на московской писательской даче за водкой слышал я и противоположное: «Как можно считать Хемингуэя порядочным человеком? Ведь он чуть ли не республиканцам в Испании сочувствовал!» И тут вопрос сразу закрылся.

Неужели нет никакого пути к пониманию между людьми? Как профессиональный ученый, я знаю, что такой путь есть. Профессия ученого в значительной мере состоит в том, чтобы достигать взаимного понимания даже в отношении объектов, в принципе, непонятных. Этот путь нелегок.

Во-первых, необходимо хотеть понять своего оппонента. Условие, которое в жизни почти никогда не выполняется. В обычной жизни люди хотят убедить или даже победить, а не понять. В науке это условие тоже дается с трудом. В особенности, если оно сопряжено с ущербом для самолюбия.

Во-вторых, необходимо определить понятия, которыми мы собираемся оперировать, и в дальнейшем не отклоняться от данных вначале определений.

Эта последовательность и составляет главную трудность в обыденной жизни. Ибо в обыденной жизни наши понятия текучи. И неодинаковы для разных людей. Такое «простое» понятие, как порядочность, не только сильно изменило свой смысл с 1914 го-

да, но и перестало быть (а фактически не было и в 1914 году) одним и тем же для различных групп людей.

Если в некие легендарные времена для истинного российского патриота и монархиста признаком непорядочности могло бы послужить всякое отклонение от формулы «За Бога, Царя и Отечество!», ненамного позже начала складываться и группа, для которой признаком непорядочности стало всякое, хотя бы частичное, признание этой сакраментальной формулы. Не забудем, что всего через три года после описываемых в романе событий все, что назвал бы тогда Воротынцев порядочностью, было открыто провозглашено черным предательством или гнилым либерализмом.

Порядочностью мы называем упорядоченность внешнего поведения, происходящую от стойкой организации внутренней, духовной жизни. В отличие от неупорядоченного, то есть хаотического, энтропийного поведения, которое отражает только хаотичность внешнего мира, не освещенного никаким общим принципом. Такое определение предполагает, что и в общественном сознании существуют некие незримые силовые линии, определяющие направления добра и зла (нравственные **верх** и **низ**), а отдельный человек имеет свой внутренний компас, чтобы узнать правильное направление, в какую бы ситуацию он ни попал и как бы сильно от желательного направления ни отклонился.

Действительно, даже висая вниз головой, человек прекрасно знает, где на самом деле верх. Это было бы не так просто, если бы не было силы тяжести...

Таким образом необходимы, по крайней мере, два условия: внешнее — существование в общественной структуре линий направления добра и зла, и внутреннее — душа, умеющая отличать стороны в этом пространстве — наш компас. Иммануил Кант сформулировал когда-то, что есть только два заслуживающих внимания чуда на земле: «Звездный мир над нами и нравственный закон внутри нас». Похоже, он имел ввиду только компас, ибо направ-

ление Добра и Зла в окружающем его мире казалось ему столь же универсальным, как и законы мышления.

По мере того, как человечество все глубже проникает в одно из двух чудес, отношение ко второму повсеместно становится все более легкомысленным. Почти уже закономерно возникают сомнения, существует ли оно, это второе чудо. То есть существует ли нравственный закон? Особенно, если мы в него не верим. Или, по крайней мере, очень слабо верим.

Нет, компас работает! И даже чувствительность его, как будто, не ниже, чем раньше... Несомненно также, что какие-то силовые линии все время пересекают наше сердце. То вдруг, ни с того, ни с сего, уступишь оппоненту, подумав некстати: «Кажется, он прав, собака!» То, ни к селу, ни к городу, врага пожалеешь. Взбредет, например, в голову: «А куда ему, болезному, податься?» Или, вопреки житейской мудрости, положишь живот за други своя... Он же сам над тобой и посмеется. Но все же ты будешь знать, что следовал линии добра.

Однако душа устает следить за извивами самопересекающихся, петлистых линий, протянутых из разных бесконечно темных глубин в столь же темные, неведомые дали. Стрелка компаса пляшет, как бешеная, и поневоле подумаешь: а не бросить ли ее к чертям, в самом деле? — Только сбивает. Не только не успеваешь соответствовать, но и регулярно от своей немедленной пользы отклоняешься. И уж если за одной какой линией и уследишь, другая непременно протянется тебе наперерез, так что ни пройти, ни объехать ее без моральных потерь...

Похоже, тут не в компасе дело. Спутанно, неоднозначно сегодня все наше нравственное пространство. Неясно, где чьи линии. Какой именно, чей нравственный закон имел ввиду кенигсбергский философ?

Какой бы закон он ввиду ни имел, он подразумевал, что этот закон — один для всех. Интересно, смог бы нравственный закон

его кенигсбергских сограждан сосуществовать с законом, живущим (или прозябающим) в душах современных жителей Калининграда? А ведь нам — приходилось совмещать.

С другой стороны, наш мир наверняка погибнет без единого нравственного закона. Хотя какого ни на есть.

Существование нравственности, как и определение порядочности возможны только в обществе, в котором есть единая (и, желательно, единственная) сетка нравственных силовых линий, этих незримых координат, по которым могут ориентироваться все. Истина эта нравственность или ложна, ее главное достоинство совсем в другом — в приемлемости для всех. Ведь земля без людей тоже ни меридианов, ни часовых поясов на себе не несет. А после Эйнштейна мы знаем, что и во всей вселенной нет абсолютной системы координат. Но, если мы хотим сговориться и с кем-нибудь встретиться, независимо от того, верим ли мы в Эйнштейна и во вращение земли, нам следует сверить часы и уточнить, по одинаковым ли книгам мы изучали географию. Также и если мы хотим кому-нибудь сделать добро, нам следует предварительно справиться, одинаково ли мы с ним добро и зло понимаем. Или, возможно, творя свое добро, мы разрушаем его систему нравственности. На что он не замедлит ответить, последовательно постаравшись разрушить нашу. Мы останемся оба на разоренной, возвращенной в первобытное, докоординатное состояние земле, и изю всех законов нам останется только закон джунглей. По большей части так и происходит...

Вот почему Библия так настойчиво рекомендует нам возлюбить всего лишь своего ближнего. А о дальнем там нет ни слова. И вправду, дальнего лучше оставить пока в покое.

Таким образом, мир потеряет свои очертания и погибнет, если перестанет существовать то, в объективное существование чего мы с трудом верим.

И наоборот, мир, возможно, устоит и спасется, если мы все поверим в то, что, может быть, само по себе и не существует.

Итак, мы сами, каждый для себя, решаем, стоять ли миру или провалиться.

Конечно, мир стоит на вере.

Для всех исторических обществ испокон веков единой координатной сеткой была религиозная традиция. Никакой иной основы для порядочности в истории еще не было придумано. Эта сетка безнадежно запутывалась всякий раз, как традиция разрушалась или почему-либо видоизменялась. И всегда это приводило к кровопролитию и разорению. Конечно, современный человек может и посмеяться над разницей между крещением двуперстием или щепотью, и другими мелочами, которые раскололи русское общество в XVII веке, но ведь современный человек еще несколько лет назад и над разницей между шиитами и суннитами смеялся...

Теперь уже не засмеется.

Религиозные войны не бессмысленны. В сущности, это единственные войны, которые имеют какой бы то ни было смысл. Люди не хотят, чтобы ощущаемые ими линии направления добра и зла пересекались и перепутывались какими-то посторонними влияниями, грозящими взорвать и разрушить простоту и ясность их картины мира и единственность нравственных координат.

Тот вакуум, что образуется на месте бывшего религиозного мировоззрения, заполняется различными идеологиями, и — единственное когда-то понятие порядочности грозит расщепиться на столько различных понятий, сколько есть партий в обществе.

Идеология может и воровство оправдать, и убивать заставить. И террористы становятся порядочными в нашем обществе, и воры вырастают понемногу, не говоря уж об отставных стукачах.

Общество, в котором одна-единственная порядочность расщепилась на множество разных, недалеко от того, чтобы потерять всякую. И превратиться в общество блатных...

Отчасти в СССР это уже произошло.

Ведь вот, поди, угадай, какого типа порядочность есть у соседа... А жена и подскажет: пока ты со своей порядочностью будешь носиться, как дурак с писаной торбой, другие-то все и успеют. Другие-то, ведь они не то, что ты. Они не теряются. Прямо на ходу подошвы рвут.

Ответ Воротынцева прапорщику Ленартовичу означает, как будто, что единая сетка нравственных координат в ядре русского общества к началу XX-го века еще существовала. Или, точнее, что Солженицыну очень хотелось бы, чтобы она существовала...

Идея, в зародыше содержащаяся в этом Солженицынском «исследовании» растворения, размытия внутренней (а потом и внешней) структуры общества (и армии) еще до революции представляется мне близкой к, так называемому, правилу Линдемманна, характеризующему порог упорядоченности в кристаллах, отдельные атомы которых раскачиваются все сильнее по мере нагревания. Это сходство не имеет прямого отношения к исторической достоверности его анализа, а характеризует общность законов природы. В сущности он ищет ту самую критическую точку, где былая симметрия упорядоченного общества сменилась моральным хаосом, позволившим этому обществу изгнать и истребить из своей среды лучшую свою часть и извратить все общечеловеческие понятия. Эта задача не решается одним уравнением с одним неизвестным.

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА ПРИЧИНА ИЛИ ПРЕДЛОГ?

В связи с 40-летием Шестидневной войны в израильской печати вспомнили, что и наша алия из СССР началась примерно в то же время. Некоторых авторов такое совпадение даже соблазнило поставить эти события в отношении причины и следствия.

Конечно в том вихре влияний и чувств, который подхватил бывших советских евреев в конце 60-х и бросил их на колючую проволоку, отделявшую СССР от мира, легче всего всплывает на поверхность светлое воспоминание о празднике души — лихой победе Израиля над толпами врагов. Приятно и то, что израильский истеблишмент нашел лестным для себя совпадение сроков оживления сионистской активности в СССР с победоносной Шестидневной войной. Но решимость, которая предшествовала этому взрыву произошла не от израильских успехов. Причины событий, которые радикально меняют судьбы десятков тысяч людей следует искать в жизни самих этих людей. Для того чтобы сработал такой спусковой механизм, как многократно искаженный слух о сказочной победе за три моря каких-то евреев, нужно предположить предварительное существование хорошо взведенной пружины.

Я начну издалека.

В истории евреев часто повторяются одни и те же трагические ситуации-катастрофы. Учитывая длительность еврейской истории, повторения не удивительны. Удивительна сама длительность.

В этих повторениях часто осуществлялся некий отбор. Выжившая популяция выделялась каким-нибудь своим специфическим качеством.

История русских (даже скорее советских) евреев в ее своеобразии ярко подчеркивает идею такого отбора.

Октябрьская революция 1917 ввела в России дискриминационное законодательство, хотя и не направленное прямо против евреев, но фактически лишившее гражданских прав (и средств к жизни) более трети именно еврейского народа, как нежелательного «мелкобуржуазного элемента».

Одновременно в ходе Гражданской войны была уничтожена (или изгнана) большая часть русского населения, выполнявшая наиболее сложные управленческие и технические функции в, и без того отсталом, российском обществе. Открылось громадное поле вакансий для образованных людей. Масса молодежи из всех слоев населения от души подхватила ленинский лозунг: «учиться, учиться и учиться...»

Это вызвало лихорадочную активность по приобретению и освоению новых профессий и в поголовно грамотной еврейской среде. Порыв к «классовой перестройке» совпал с многолетней предшествовавшей тенденцией евреев к получению светского образования, которая уже и к началу XX века создала предпосылки превращения евреев из этнически-конфессиональной в социальную общность. Профессии аптекарей, фотографов и счетоводов превратились в типичные еврейские занятия еще до революции. После 1917 г. в рекордный срок (две пятилетки) евреи сформировали в России практически весь корпус врачей, адвокатов и журналистов и начали завоевывать позиции в инженерных, военных, ученых и артистических профессиях.

Модернизирующееся советское общество с 20-ых почти по 60-ые годы было действительно супердинамичным. Непрерывно возводились новые промышленные объекты и основывались новые учреждения, нуждавшиеся в квалифицированных людях. Набор студентов в ВУЗы возрастал экспоненциально в течение жизни двух поколений. Российское общество, несмотря на бедность и многие ограничения свободы выглядело как общество безграничных возможностей.

Перед началом Второй мировой войны почти половина еврейского народа уже исполняла разные жизненно важные технические роли в структуре растущего советского общества, катастрофически нуждавшегося в грамотном, инициативном и ответственном элементе.

Энтузиазм молодежи («Фанечкины друзья» по выражению проф. А. Мильнера) по поводу доступности высшего образования зачастую заглушал не только жалобы старшего поколения на узаконенный государственный грабеж их частной собственности (экспроприации), но даже страх массовых репрессий. Для еврейской молодежи это часто означало также разрыв со своей семьей и всегда — разрыв с традицией. Стремительный социальный рост квалифицированного слоя в российском обществе, и особенно еврейского меньшинства, напоминал стремительно растущий снежный ком, которому не предвиделось ограничений.

Когда разразилась война, германская армия в России наступала так быстро, что избежать поголовного физического уничтожения смогла только та часть евреев (около миллиона), о которой советские власти преимущественно озаботились эвакуировать в связи с их технической нужностью для эффективного функционирования промышленности, а также та, что была мобилизована в армию (около полумиллиона, хотя 200 тысяч из них пали в боях).

(Появление евреев в Европе в первые века н. э. тоже было связано с нуждами Империи. Это не были те самые евреи, с которыми римляне воевали — крестьяне и воины. Это были те евреи, которые были римлянам нужны — торговцы и ремесленники.)

В результате около половины всех российских евреев (по крайней мере полтора миллиона) были оставлены на произвол судьбы и погибли в Катастрофе. Это была как раз та половина, которую обычно зовут «простыми людьми», «почвой», еврейскими корнями — народная толща.

Те, что остались в живых, выжили благодаря их индивидуальным усилиям и неординарной успешности в своих областях. Это были скорее люди неукорененные, городские, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Практически никто из них не сосредоточивался на традиционной верности религии, культуре, языку.

Потомки лишь этого дважды «избранного» меньшинства составили советское еврейство в послевоенный период. Чтобы заразить таких людей сионистской мечтой, нужно было найти действительно серьезные аргументы в текущей действительности.

Уже в 60-ые годы по статистике каждый третий советский еврей имел высшее образование (это значит, без детей, больше половины народа). При общем еврейском населении меньше 1% в стране, 5% лиц с высшим образованием и 10% всех научных работников в СССР оказались евреями. Грамотная русская речь, очки и шляпа превратились почти в такой же характерный признак еврея в глазах простого народа, как пейсы и лапсердак в предыдущем столетии. Такое превращение имело многообразные последствия.

К 60-м годам былая социальная динамика в СССР исчерпалась, и темпы развития начали катастрофически замедляться. Я не ставлю себе задачи из области советологии. Поэтому я не собираюсь задаваться вопросом, правильной ли была политика советских властей, и кто был в этом виноват. Я констатирую факт:

к концу 60-х советское общество вступило в застойную фазу. Это привело к замедлению темпов во всех областях и, в частности, к ограничению роста образования. На графике кривой приема студентов (не евреев, а всех вместе) в ВУЗы с 1940 по 1975 г. ясно видно замедление роста и резкий перелом к концу 60-х (даже, пожалуй, именно в 1967 г.).

На самом деле не только в получении образования, но и во всяком социальном продвижении резко выросли трудности для всех слоев общества, независимо от, никогда полностью не исчезавших, протекционизма и антисемитизма. Любой наблюдатель мог бы начертить такую же кривую и для многих других социальных возможностей в СССР. Страна завершила стадию индустриализации и остановилась в недоумении перед постиндустриализмом. Антиинтеллектуализм советского руководства и запрет многих современных знаний завели советское общество в тупик. Множество способных людей всех национальностей остро почувствовали свою недовостребованность и трудности конкуренции. Снежный ком рассыпался и потек в разные стороны для разных групп населения.

Национальная дискриминация, конечно, добавила свою весомую каплю яда к бедам любой еврейской семьи.

Но в 60-х это была уже не прежняя традиционная еврейская семья, для которой высшее образование виделось как немислимое благо и единственный путь к равенству. Теперь это, в среднем, была семья, в которой получение образования стало частью регулярного образа жизни и способом поддержания социального статуса. Народ инженеров и врачей не собирался превращаться обратно в народ парикмахеров и продавцов. Лишение доступа к образованию рассматривалось теперь евреями, как катастрофическое нарушение их фундаментальных прав, преступление режима, разрушительная расистская политика деклассирования евреев. Так оно, собственно, и было, хотя это была проблема отнюдь не только

евреев. Евреи особенно остро ощутили, что, в то время как они не чувствуют себя отдельной группой, сплоченной общей культурой и языком, не только власти, но и большинство регулярных граждан их отличает и видит как принадлежащих некоему единому этническому целому.

Мир незадолго до того пережил постиндустриальную революцию. Постиндустриальная революция на Западе привела к некому повышению роли (и, соответственно, самоуважения) специалиста и в СССР. Ежедневно решая технологические задачи, ставившие в тупик неквалифицированное (несовременное) начальство, специалист одновременно убеждался в своем потенциальном могуществе и социальном унижении.

Для евреев эта ситуация была еще усугублена их фактическим неравенством. Находились начальники (и целые передовые отрасли — Институт Научной Информации, Институт Высоких Температур, Институт Математической Экономки), которые сознательно пригревали у себя способных евреев, зная, что от них можно не ожидать карьерной конкуренции: продвижение по социальной лестнице или премирование для них всегда будет затруднено.

Множество разносторонне одаренных людей перестали связывать свои амбиции с официальными учреждениями и перешли на «подножный корм», «черный бизнес» и «самиздат». Статус безработного не был предусмотрен советским мировоззрением, но неполная занятость на трудовом посту, оставляющая силы для посторонних инициатив, рассматривалась скорее как близкая к норме. Пустующие магазины породили теневую экономику, которая приобрела всеохватывающий характер. В стране появились неоприходованные официальными инстанциями большие деньги, манившие, не знавшего в прошлом таких искушений, советского молодого человека.

Одновременно открылись всевозможные литературные, исторические, мистические, теософские, и просто самообразователь-

ные кружки. Многие котельные и дворницкие в больших городах превратились в престижные клубы молодых дарований.

Победа Израиля в Шестидневной войне, еще прежде, чем советские евреи успели ее осознать, повергла советские власти в настоящую панику. Эта победа обнажила порочность всей их политической стратегии. И власти окончательно потеряли голову. Вся их гигантская пропагандистская машина была брошена на приписывание Израилю совершенно необыкновенной военной мощи, а сионизму в целом ведущей роли в мировой империалистической коалиции, якобы противопоставленной «лагерю мира и социализма».

Только этого и не хватало советскому интеллигенту, и, особенно еврею, чтобы почувствовать, наконец, тягу к сионизму. Книжонки, разоблачавшие сионистскую идеологию, стали бестселлерами, поскольку советский народ давно привык вычитывать свои сведения о внешнем мире между строк официальных «разоблачений». Для многих впервые открылось, что, собственно, израильтяне это не какие-то Ближневосточные туземцы, а те самые евреи, которых мы знали с детства. Советские евреи почувствовали себя в фокусе мировых событий. На Западе их ожидал могучий, победоносный союзник — Израиль. И все несметные силы империализма были теперь на их стороне.

Власти сами поспешили обвинить первых диссидентов в сионизме (и, таким образом, указать им дорогу), когда почти никто из них еще и не помышлял об этом.

Иногда я задаю себе вопрос, была ли это просто глупость или здесь уже содержалась продуманная провокация?

Партийными инстанциями и пропагандой все евреи автоматически были поставлены под подозрение. Более того, как выяснилось из речи одного из высокопоставленных партийных функционеров (кажется, Демичева) на закрытом собрании, немедленно

но разошедшейся по всей стране: «так называемые, половинки и четвертушки еще опаснее, чем просто евреи, потому что их сионизм не сразу бросается в глаза». Не все граждане сразу сумели по достоинству оценить это расистское заявление, но общая обстановка в стране подошла вплотную к революционной ситуации: заметная часть населения, чей «сионизм бросался в глаза» была объявлена врагом общества, и в то же время подозрение в сионизме не снижало, а значительно повышало общественное уважение к заподозренным.

Конечно шок Шестидневной войны подтолкнул власти к этому. Но причины были внутренние. Войдя в экономический кризис и отчаявшись остановить стремительно нараставшее самораскрепощение граждан, власти перешли к откровенно фашистским методам и поставили на антисемитизм. Застойное российское общество вступило в неизбежный конфликт со своим передовым, динамичным элементом и, как это уже бывало в истории, воспользовалось антисемитизмом как испытанным оружием.

Оружие это, однако, оказалось обоюдоострым. Чем больше власти настаивали на нелояльности евреев в составе советской интеллигенции, тем большая часть лояльных интеллигентов начинала осознавать свое еврейство или ему симпатизировать. На интеллигентских пьянках весело зазвучал «оригинальный» тост: «В следующем году — в Иерусалиме!»

Не все евреи, конечно, принадлежали к интеллектуальной элите. Однако множество простых людей в еврейской среде в какой-то степени отождествляло свои амбиции с претензиями образованного круга и воспринимало дискриминацию интеллектуалов в ряду прочих незаслуженных обид еврейского народа.

Интеллигентная часть общества стала метаться между осторожной («смелой») критикой «отдельных недостатков» и открытым протестом. Участие евреев в протестном движении стало подавляющим. В ответ власти всех скопом объявляли сионистами. Вопреки

ожиданиям властей, очень многие (и даже не только евреи — вот, это наверно действительно был отблеск 6-дневной войны) легко приняли для себя этот термин.

Сионистское движение в России, собственно, никогда не прекращалось, но до конца 60-х это был непопулярный уровень подпольных кружков, без ясного будущего. После нескольких разрешений на отъезд в Израиль, выданных под давлением Западного общественного мнения (в основном, в Прибалтике) цель ясно обозначилась. С началом 70-х многие из этих кружков, изучавших иврит и ловивших израильское радио вместо ВВС, стали восприниматься как закрытые престижные клубы. Их члены стали открыто заявлять о себе и агрессивно требовать легализации.

Начиная с этого момента советские евреи, как группа, превратились в субъект истории и заслуживают отдельного изучения. Я хотел остановиться лишь на предистории, потому что слишком часто в израильской литературе (даже научной) встречается сбивающая с толку суперлегкомысленная формулировка: «Шести-дневная война привела к глубоким изменениям в жизни евреев Советского Союза.» («Евр. Самизд.», издание Евр. Унив., Иерусалим, 1973–1978.)

К самым глубоким изменениям в жизни советских евреев привела их именно сама жизнь в Советском Союзе.

Я совсем не сторонник материалистического подхода к истории, но все же социальные взрывы и народные переселения, как мне кажется, следует рассматривать в свете реальных жизненных условий людей в их обществах прежде всего. Вдохновляющие международные события и народные мечты впоследствии накладывают на эту реальность свою эстетическую печать.

Вот и основа нашего реализма — Библия — не ограничивается одной лишь мечтой о Земле Обетованной, а впереди Исхода встав-

ляет рассказ о реальном положении дел: «Восстал в Египте новый царь... И сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его. И делали жизнь их горькою...» (Исход, 1, 8–14).

Мечта означает лишь направление движения. Русское еврейство, пройдя свой двухсотлетний путь в составе Российской империи и, переболев и мечтами о равенстве и социализме, и о либерально-просвещенном великодержавии, выбрало свой путь в Израиль не случайно.

Последствия этого выбора отразятся на всей политике, экономике и культуре Израиля, как бы скептически ни относились к этому сторонники теории «плавильного котла». Чтобы переварить такую сильную группу как русские евреи, израильскому обществу придется в какой-то степени «обрусеть».

НА ВЫХОДЕ

Зима 1971-го началась для нас с Марком Азбелем с Советско-Американского Симпозиума по Теоретической Физике в Ленинграде. Время было непростое. Смертный приговор Э. Кузнецову и М. Дымшицу на Ленинградском процессе встряхнул не только евреев всего Советского Союза, но и вызвал бурю протестов на Западе. Руководители Ленинградского Обкома недоумевали: «Зачем нам нужно, чтобы у нас в Ленинграде наши сионисты встречались с американскими?» — Они как в воду смотрели: состав делегаций с обеих сторон был действительно выдающийся. Но, к счастью, международной политикой СССР управляли не из Ленинграда. Правительство хотело разрядки, кредитов, продовольствия, черт-те чего...

Верховный Суд срочно отменил смертные приговоры.

Но вместо ожидаемого затишья, волна заявлений на выезд в Израиль поднялась выше критического уровня, и в марте 1971 власти решили выпустить группу самых отчаянных сионистов, чтобы снизить внутреннее давление. Д-р Меир Гельфонд, зихроно ле враха, который покидал Москву с этой передовой группой, увез мои документы, чтобы оформить мне вызов на выезд в Израиль. С этого момента я мысленно распрощался с привычной жизнью и начал готовиться — не к отъезду, нет! — а к серии настоящих преследований, которые неизбежно должны были воспоследовать.

Гамлетовская позиция в отношении СССР («Вся Дания — тюрма!») кажется мне и сейчас самой естественной для человека моего круга и темперамента (особенно еврея). Однако следом за этим признанием ситуация того времени в СССР провоцировала и гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?»... И как... быть?

Я был другом многих диссидентов. Среди них не было реальных политических мыслителей. Никто из них ничего конструктивного не предлагал. Их ответ на гамлетовский вопрос сводился, в сущности, к «не быть». Их позиция, тогда и сейчас, была последовательно христианской и потому в практическом плане вела только к распятию. Я не утверждаю, что она была исторически бесплодной. Однако этот спор продолжается со времен Иисуса Христа и все еще далек от разрешения. Можно ли «быть» по-христиански? Андрей Синявский утверждал, что по-христиански можно только умереть.

Тут следует вспомнить, что принц Гамлет был все же наследником престола, и его «быть» или «не быть» означало также взять или не взять на себя корону и соответствующую ей ответственность. Диссидентская оппозиция в СССР в такой подавляющей степени состояла из евреев, что сказать свое «быть» означало бы для них действительно в какой-то мере претендовать на ту сомнительную роль в истории, которую антисемиты приписывают русским евреям со времен Революции. К счастью для всех, наши здоровые племейские корни (и, конечно, высшее образование — рациональная культура) снабдили большинство из нас достаточным реализмом, чтобы не позволить разыгаться такой мании величия.

Власти сами поспешили обвинить первых диссидентов в сионизме, когда большинство из них психологически еще не были к этому готовы. Многие потом, однако, воспользовались этим определением для своей эмиграции.

Прежде моя работа ученого поглощала почти все мое время. Но, когда местное начальство прослышало о моих диссидентских

связях, оно приложило демонстративные старания к ограничению круга моей профессиональной активности с целью уменьшить мое вредное влияние на окружающих и особенно на молодежь. В результате у меня образовался резерв свободного времени для гуманитарных размышлений, а мой авторитет распространился далеко за рамки узко профессионального круга...

Быть может, самое ужасное, что переживали мы в России, — это возникавшее моментами ощущение, что время остановилось. Когда, перечитывая воспоминания С. Степняка-Кравчинского или С. Ю. Витте, я замечал, что одни и те же явления русской жизни воспроизводятся в течение столетий, когда последовательность событий — провал Крымской войны, смерть самодержца, реабилитация, либерализация, реформы — повторяется в пугающих подробностях спустя сто лет, я чувствовал, что и моя жизнь превращается в какую-то копию, ремэйк, подражание чему-то, уже бывшему, лишённому новизны и интереса.

Гуманитарные размышления и удушливая политическая атмосфера все больше убеждали меня в моей чужеродности в стране, где я родился и вырос. Еврейское происхождение давало этому чувству комфортную рамку. Сионизм, особенно в литературно обаятельном изложении Владимира Жаботинского, показался мне специально для меня придуманным.

К этому времени всеобщее уважительное отношение ко мне коллег и приятелей все чаще и заметнее сопровождалось их паническим страхом, как бы моя репутация нелояльного гражданина не оказалась заразной. Опыт таким обоюдоострым образом подтверждал теорию. Если добавить, что весь этот процесс пришелся на мои 36–39 лет — критический возраст — гамлетовское отчаяние (Россия — тюрьма!) и гамлетовская встреча с тенью отца (Библия — образ Моисея) не покажутся неуместными в этом контексте.

Не следует, однако, думать, что это было целиком и полностью вынужденное решение. Я (и многие мои современники), по видимому, охотно шли навстречу такому отчаянию, потому что, наряду с возможной гибелью, оно обещало также нечто ослепительно новое.

То, что советские граждане были заперты в своей тюрьме, создавало у них красочные иллюзии о жизни на воле, подобно представлениям о женщинах у многолетних узников. Меня многократно приглашали из заграницы на международные конференции по специальности. При этом, конечно, ни разу вопрос о моей реальной поездке даже не доходил до рассмотрения местной парторганизации, без которого поездка за границу в СССР была нереализуема. Поэтому кадры кинохроник западной жизни, которые иногда доводилось мне увидеть, даже если это были сцены природных бедствий, выглядели заманчивыми праздниками, которых я был незаслуженно лишен. Заграница в представлении моего поколения была похожа на мусульманский рай, куда попадают только в результате героической гибели.

Мои диссидентские связи позволили мне близко познакомиться с некоторыми лидерами сионистского движения еще до его заметных успехов. Хотя я был по-человечески очарован покойным Меиром Гельфондом, сионистская среда начального периода показалась мне не на уровне такого грандиозного предприятия, как Исход. Именно здесь я увидел для себя вызов, не оставлявший сожалений о, возможно, навсегда покинутой науке.

Решение «быть» перестало означать для меня рутинное продолжение налаженной жизни и вылилось в ту творческую работу самосознания, которая привела меня (и многих других) к пониманию Исхода не только как бегства, но и как возрождения. Это была нелегкая интеллектуальная и литературно-философская задача, необходимость решения которой не всеми осознана и теперь, спустя десятилетия.

Проследить, хотя бы пунктирно, историческую нить от реальных, сознававших себя, евреев к преуспевшим советским технарям, воображавшим себя недооцененными гражданами мира и солью Земли, было непросто. Тем более, что эта нить была старательно затоптана не малограмотными чиновниками антисемитского государства, а евреями — добровольными энтузиастами марксистского учения. Нужно было найти слова, приемлемые в той обстановке, не повторявшие унылые формулы устаревших идеологий, способные расшевелить и заинтересовать искушенных советских интеллектуалов, привыкших видеть черновую изнанку любого текста.

Так как впереди ожидалась долгая борьба, тюрьма и всякие мытарства, я не готовился, собственно, к выезду, а только к этой борьбе. Мы с Нелей продали нашу машину и гараж. Это, в общем, гарантировало нам около года жизни.

Некомпетентность советских властей сказалась и здесь — выпустив первых, «натуральных» сионистов, увлеченно и трогательно повторявших слова из пожелтевших страниц изданий XIX века об «исторической родине», и отказав в выезде группе известных ученых, как М. Азбель, И. Пятецкий, В. Рубин, В. Файн, А. Лунц, А. Лернер, В. и Е. Левичи, И. Ирлин, Г. Фрейман, В. Браиловский, Н. Мейман и др., они автоматически обеспечили будущему сионистскому движению высокоинтеллектуальное руководство и международное внимание.

Мы жили в идеологизированном обществе, и наша цель должна была быть сформулирована на языке идеологии. Попытки выбраться из СССР в одиночку десятки лет систематически пресекались. Но, вот из многолетних, безнадежных попыток периферийной группы диссидентов родилась и захватила воображение тысяч людей выношенная ими, ошеломляющая своей фундаментальностью идея — **Исход. Не просто личное бегство, а народная революция.**

Можно думать, что советские власти ни в какую бы другую страну и не пустили. Но ведь они не пускали и в Израиль... Суть дела, в то время понятная всем, состояла в том, что никакая другая страна не смогла бы прозвучать, как символ веры и источник вдохновения.

У Пушкина есть пронизательное замечание, что девушка может сложить песню об утраченной любви, но скряга не сумеет собрать вдохновение для песни об утраченных деньгах. А ведь здесь речь шла о смертельном риске. Об отсидаках, ссылках и загубленных жизнях. Любой мотив, поменьше, не только никогда не заставил бы сплотиться для борьбы такую массу людей, но и не вызвал бы никакого сочувствия ни внутри СССР, ни снаружи. Оказалось, что запас идеализма русских евреев еще не был полностью исчерпан.

Совпадение множества субъективных и объективных факторов, принесших успех этому невероятному движению, было, конечно, чудом. Власти и окружающее население были ошеломлены не меньше нас. Нужно было быть слепоглухонемым, чтобы равнодушно пройти мимо такого переживания.

Участие в общем деле создавало особую атмосферу близости, которая затягивала, и множество людей, первоначально не планировавших ехать в Израиль, переменили свое решение, ощутив это окопное братство.

Некоторые вдохновленные иностранными радиопередачами евреи потянулись искать руководства и поощрения у известных отказников, вроде меня. Почти к каждому ученому или писателю, упомянутому по Западному радио, примыкала вереница сочувствующих и даже завидующих.

Иногда эта натуральная социальная тенденция принимала анекдотическую форму. К нам с Нелей однажды явился поэт, член Союза Советских Писателей, Андрей Кленов. Он, как оказалось, был евреем (настоящая фамилия его была Купершток) и полу-

чил разрешение на выезд в Израиль. Он пришел, чтобы ободрить нас: «Вас, конечно, скоро выпустят. Уж если ОНИ выпускают меня — крупнейшего в России поэта, то вас долго держать не будут!» В подтверждение этой мысли и для демонстрации своей идейной готовности он прочел мне свое последнее стихотворение:

*Ерусалим, прими меня как сына!
Меня когда-то звали Аһарон.
Мы таковы — нам целый мир чужбина —
Отечество нам Хайфа и Хеврон!*

Я, чтобы не рассмеяться, как бы задумчиво произнес: «Но в Хевроне, кажется, живут арабы?» — Он задумался лишь на одну минуту и со свежим чувством продекламировал:

*Ерусалим, прими меня как сына!
Меня когда-то звали Аһарон.
Мы таковы — нам целый мир чужбина —
Отечество нам Хайфа и Хулон!*

«Ну, теперь совсем замечательно», — похвалил я, поняв, что он уже детально изучил всю карту Израиля. Впрочем, через пару месяцев мне передали, что этот выдающийся поэт — Аһарон — уехал в Нью-Йорк и теперь работает агентом по торговле недвижимостью. Ощувив освобождение от непосредственной опасности и глядя на соотечественников, бегущих кто куда, евреи стали все чаще искать личной выгоды.

Это, вообще-то, естественно. Но специфически человеческое (тем более, историческое) проявляется как раз не в том, что естественно, а в том, что натуральные побуждения преодолевает.

В 50-х годах естественнее всего было дрожать от страха, но первые сионисты из круга Меира Гельфонда, которых я тогда недооценивал, начали этот процесс вопреки своим натуральным импульсам, а точнее, в согласии с импульсами, которые были для них еще натуральнее, чем общераспространенный страх. К концу

70-х, когда страх прошел, более натуральным стало думать только о себе; такое естественное право было признано всеми, кроме «фанатиков», и это стало концом движения.

Я не планировал для себя никакого будущего вне Израиля. Меня выпустили «всего» через три года активной борьбы, и я не ощущал искушения свернуть в сторону, несмотря на многочисленные любезные приглашения от университетов разных стран, за которые я все же был чрезвычайно благодарен.

Основное преимущество жизни в Израиле — чувство душевного покоя, согласия с судьбой, не требующее переживаний по поводу упущенных возможностей или невыполненного долга: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» (А. С. Пушкин). Разумеется, это вряд ли общераспространенное чувство, но как раз для бывшего мятежника очень сладостное.

На Ленинградском Симпозиуме каждый из нас — Марк и я — выбрали себе американского коллегу, который лучше всех был знаком с нашими работами, и решили осторожно их расспросить, можем ли мы надеяться на поддержку американских ученых в случае тяжелых преследований в СССР.

Оба коллеги выразили понимание и сочувствие, и обещали сделать все возможное для нашей поддержки.

Для успешного советского ученого, запросившего вызов в Израиль в то время, отказ и преследования по работе были неизбежны. **Означало ли это также и отказ от творческой жизни и профессионального общения?**

Дальнейшие мои шаги в течение всего 1971 г. были направлены на решение этой, как мне тогда казалось, главной проблемы. Я повстречался с проф. В. Левичем и проф. А. Лернером, двумя известными учеными старшего поколения, которым уже было отказано в выезде, и заручился их поддержкой. В своих друзьях Марке Азбеле и Моше Гитермане я не сомневался.

Неожиданно, моя приятельница Юлия Шмуклер (впоследствии, в Израиле, проявившаяся как талантливая писательница) сообщила: «Ты знаешь, Илья Пятецкий-Шапиро хочет переговорить с тобой об отъезде.» — Сам Пятецкий-Шапиро! Великий математик! Я помчался к нему со всех ног... Вошел, представился... Пятецкий осторожно спрашивает: «Юля мне сказала, что у вас есть ко мне какое-то дело?». Я опешил : «А мне Юля сказала, что вы меня просили о чем-то поговорить...»

Юля, оказывается, поступила, как Том Сойер, сведя нас вместе и надув обоих... Нелегко двум сорокалетним людям, прожившим всю жизнь в СССР, пренебречь обычной подозрительностью с незнакомым человеком, да еще и по деликатному вопросу, который может завести совсем не на Ближний, а, весьма вероятно, на Дальний Восток...

Но нам с Ильей это далось просто, — мы перешли на профессиональный язык. Это и было решением проблемы: нужно было организовать научный Семинар! С такими авторитетными участниками это переставало быть проблемой.

Член знаменитого Сахаровского Комитета, Валерий Чалидзе (тоже квалифицированный физик), годами изучавший Советское законодательство, открыл нам, что согласно букве советского закона никакая научная деятельность в пределах СССР не может быть подвергнута судебному преследованию. Это не значило, конечно, что нам таким образом обеспечивалась безопасность, но это открывало нам легальную линию защиты на случай весьма вероятных «нарушений социалистической законности».

Первое заседание нашего Семинара в апреле 1972-го мы назначили в квартире физика Генриха Соколика (покойного, к сожалению). Генрих был прикован к креслу болезнью позвоночника. Его отец до своей смерти работал с Капицей, и его обширная квартира помещалась в самом сердце российской физики — в Институте Физических Проблем. Мы и не думали прятаться. Нашей задачей

было, как раз, установить прецедент открытой творческой работы вне официальных советских рамок.

Наши коллеги-отказники так истомились в искусственной изоляции от своих научных коллективов, семинаров и лабораторий, что в квартире царила приподнятая атмосфера праздника. Даже страх, который естественно вызывало присутствие толпы топтунов, неожиданно затопивших безлюдный переулок на задворках Института Физических Проблем, не мог отнять это неожиданное возвращение чувства комфорта и уверенности ученого в своей привычной профессиональной среде. На первый семинар собралось 15–20 физиков, химиков, математиков и программистов (тогда еще редкая профессия). Впоследствии число участников доходило и до сотни. Люди заполняли каждый квадратный сантиметр тесных советских квартир.

Наука давно разбилась на множество дисциплин, практикующих каждая свой профессиональный жаргон. Специалисту по твердому телу трудно сходу понять специалиста по ядру. Мы ставили перед каждым докладчиком задачу выразить содержание доклада на общепонятном для всех квалифицированных ученых языке. Эта творческая задача оказалась новой и непростой для многих из них.

Первым докладчиком был проф. Гитерман. Он и вообще отличный лектор, а в такой сочувственной аудитории его доклад был прямо великолепен. У всех осталось праздничное ощущение большого успеха, несмотря на то, что за некоторыми из нас топтуны проследовали до самого дома.

Следующим нашим шагом было составить объявление о Семинаре и разослать его в газеты. Газеты, разумеется, его не напечатали, но власти были извещены, что мы не собираемся скрываться. Мы также разослали приглашения тем нашим коллегам за границей, которым были известны наши работы.

Первыми, кого я помню, приехали на наш семинар два американца из Университета штата Вашингтон (Сиэтл) — проф. Эдвард

Стерн и проф. Грегори Дэш. К счастью и мы хорошо знали их работы, и наше научное общение было слегка затруднено только несовершенством нашего английского. Они оба были выдающиеся ученые и милые обаятельные люди. С Эдом Стерном, автором пионерских работ по изучению тонкой структуры кристаллов, мне удалось подружиться на много последующих лет и даже сделать несколько совместных работ.

Но при их визите выяснилось одно непонимание, носящее фундаментальный характер. Они, наслышанные о стеснениях евреев в СССР, привезли с собой десятки тфиллин и талесов, считая, что эти стеснения имеют религиозный характер. Убедившись в значительном религиозном равнодушии советских евреев, они были удивлены и испуганы самой расистской постановкой вопроса в СССР. Если дискриминация в СССР не носит религиозный характер, то какой же? Как власти узнают, кто еврей?

Так как почти все семинары, кроме первого, проходили в моей квартире, я чувствовал себя как бы на службе, и совершенно не страдал от того научного остракизма, который возник вокруг меня сразу после моего увольнения из института.

Неправильно было бы винить в этом остракизме только организованный эстаблишмент. В результате многолетнего запугивания многие советские коллеги избегали контактов с нами по собственной инициативе, опасаясь за свою репутацию и карьеру. Частично эти опасения были преувеличены. Но это стало вполне ясно только спустя много лет.

Впоследствии я узнал, что американский коллега, с которым я говорил на Ленинградском Симпозиуме настолько серьезно отнесся к нашей просьбе, что после Ленинграда специально заехал в Израиль и переговорил с проф. Ювалем Нееманом о группе советских ученых, желающих покинуть СССР и ожидающих поддержки. Гигантский личный авторитет проф. Неемана сыграл ключевую роль в том, что несколько выдающихся мировых

светил и Нобелевских лауреатов отозвались на этот наш призыв о помощи.

А после этого посещение Московского Семинара отказников стало уже как бы обязательным приложением к визиту в Москву для всякого уважающего себя западного ученого. Отнюдь не только для еврея, так как вопрос был поставлен нами принципиально: является ли ученый собственностью государства или он свободен в выборе страны проживания? Такая постановка вопроса задевала каждого ученого в каждой стране.

Накануне назначенного нами Международного Семинара власти без всякого суда и следствия арестовали всю нашу компанию и продержали в подмосковных тюрьмах две недели, не сообщая нам ни сроков, ни условий нашего заключения, пока, как им показалось, иностранные гости не разъехались.

Этот арест, незаконный даже по советским нормам озадачивал администрацию тюрьмы. — Тюремный режим предусматривал, например, запрещение заключенному днем ложиться на постель. Но нас, конечно, тянуло весь день валяться. Один из надзирателей закричал: «Встать! Не положено!» и получил неожиданно нахальный ответ: «А евреям — можно, — вот, поди, спроси там у своего начальства.» Мы так и не узнали, спрашивал ли ошеломленный еврейскими привилегиями надзиратель у вышестоящих или предпочел не возникать, но нас действительно оставили в покое.

— Арест этот не смог ничего изменить и убедил обе стороны продолжать в том же духе. После моего отъезда Семинар продолжал существовать под руководством Марка Азбеля, а затем Виктора Браиловского, еще больше 12 лет до самых перестроечных времен.

Вторым проектом, который я тогда задумал, было антропологическое исследование, превратившееся впоследствии в много-

томный тысячестраничный альманах — «Евреи в СССР» в издании Еврейского Университета в Иерусалиме.

В 60-х годах громко произнести слово «евреи» в СССР многим интеллигентам казалось бестактным. Писатель Борис Хазанов (Файбусович) отметил, что это слово сделалось почти нецензурным и, подобно надписям в уборных, напоминало о чем-то подлинном, интимном, но в хорошем обществе непроезжимым. Более трех миллионов людей живших в стране, с детства носивших на себе эту метку, общаясь между собой и с окружающими, тщательно избегали этого обозначения, называясь то «французами», то «малайнцами», то иными «нейтральными» кличками. Дети смущались, когда их бабушки говорили на идиш при посторонних. Писатели-евреи изощрялись в изобретении имен для своих героев, которые не звучали бы однозначно по-еврейски.

Набиравшему силу, осознававшему себя движению требовалось словесное выражение. Соблазн сломать лицемерную традицию был так велик, что оправдывал риск ожидаемых репрессий. В сборнике «Евреи в СССР» было опубликовано несколько моих работ, анализировавших субъективный, условный (конвенциональный) характер национальных различий, противоречащих общепринятому, укоренившемуся в России, расистскому подходу.

Мы исходили из презумпции Валерия Чалидзе, что научная, познавательная деятельность в СССР **не может** рассматриваться как преступная. Однако у власти стояли не такие преданные советским законам люди, как Валерий, и они знали только два ответа на несанкционированную ими творческую деятельность: посадить или выслать. В сущности, как и наш Семинар, это был эксперимент осуществления **свободной интеллектуальной деятельности в несвободных пределах** Советского Союза. Спустя всего несколько лет, как только власти перестали считаться с давлением Запада, они арестовали за издание этого сборника Виктора Браиловского и осудили его на тюрьму и ссылку.

Мы с Нелей своими руками делали два экземпляра каждого материала, после чего один из них немедленно прятался во избежание возможной реквизиции. Когда сборник был готов я отвозил его старой машинистке Сарре Львовне Шапиро, которая на своем старом ундервуде умела пробивать своими старыми узловатыми пальцами сразу семь экземпляров под копирку. Держать язык за зубами она научилась еще раньше, когда в 30-х расстреляли ее мужа.

Полученные семь экземпляров мы выдавали добровольцам, которые обещали размножить и распространить сборники. По одному экземпляру отправлялось в Харьков, Ленинград и Минск. Пользуясь Нелиными литературными знакомствами мы давали читать эти сборники многим писателям, — Семену Израилевичу Липкину, Александру Володину и др... Они это доверие ценили и порой высказывали ценные замечания.

Мне не хочется пересказывать здесь серию приключений, преследований, обысков и тайных уловок, которыми сопровождалось изготовление и распространение сборника. Спустя сорок лет не стоит вновь переживать детективную историю, которая для нас тогда составляла нашу жизнь, а для современного читателя превратится в низкопробную приключенческую литературу.

Уже после выхода первого или второго номера к нам с Нелей и молодым физиком Виктором Яхотом присоединились тоскующие без дела талантливые литераторы Рафа Нудельман и покойный Илюша Рубин, которые придали более литературный характер этому изданию. Они и продолжили его после нашего отъезда на 8-м номере. Хотя черновики именно этого номера у меня отобрали на очередном обыске, копия каждого листочка перепрятывалась мною у далеких знакомых, вне круга подозреваемых, так что номер вышел, как ни в чем не бывало, когда я уже всходил на сходни самолета в Вену.

«Евреи в СССР» продолжались до № 20, когда последнего его редактора Виктора Браиловского арестовали (Советская власть не сумела удержаться на уровне соблюдения своих собственных законов, несмотря на неодобрение В. Чалидзе) по обвинению в «анти-советской пропаганде», сменившемуся на облегченные «клеветнические утверждения». Это, однако, произошло уже одновременно с общим обострением «холодной» войны и началом войны в Афганистане, когда руководство СССР вновь перешло к конфронтации с Западом.

ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ

Новому поколению уже трудно будет поверить, что идея правозащиты и вся деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова в свое время не были встречены с энтузиазмом многими людьми, составлявшими героическую кучку «демократов», как называли тогда советских оппозиционеров. Я помню как формулировал раннюю точку зрения «демократической» группы протестантов покойный Толя Якобсон, талантливый поэт и один из создателей «Хроники текущих событий»: «Наша деятельность не ставит себе никакой политической цели. Наш протест носит чисто моральный характер.» Толя и в самом деле был бесконечно далек от мысли о политическом маневрировании, хотя бы и в целях собственной безопасности, и сообщал это восторженной группе друзей-единомышленников как формулу их общей веры.

«Комитет Защиты Прав Граждан» Сахарова, Чалидзе и Шафаревича был создан через несколько лет, когда многих членов той трогательной первоначальной группы идеалистов успели уже посадить или сослать на разные сроки. Участие великого ученого А. Сахарова и новая, уместная в западной ментальности организационная форма — Комитет — придали этому начинанию грандиозный резонанс во всем мире, и иностранные журналисты резко сдвинули центр своего сочувственного внимания

с остальных, «неорганизованных» диссидентов на эту, впервые организационно оформившуюся в СССР, открытую оппозицию.

Может быть, частично в первоначальном отчуждении демократов от Комитета была виновата и несколько вызывающая манера, в которой излагал идеи «Комитета Защиты Прав Граждан» Валерий Чалидзе.

Сахаров не был слишком красноречив. Все первоначальные документы Комитета формулировал Чалидзе. История оказалась немилостива к нему. Его роль в событиях того времени редко отмечалась по достоинству современниками, а в книге Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом» содержится глубоко несправедливая, весьма субъективная оценка его роли.

Суть дела в том, что Валерий до такой степени был чужд российской системе всеобщего бесправия и бессистемной анархической мысли, что и в своем языке не делал никакой поправки советскому человеку, чтобы облегчить ему понимание его собственной ситуации на советском «новоязе».

Валерий выглядел, как написала Нина Воронель в своей книге «Без прикрас», портретным воспроизведением врубелевского «Демона» и вел себя соответственно. Как такой аристократ мог сложиться на советской почве остается одной из тайн, подчеркивающих непредсказуемость индивидуального человеческого поведения.

Он говорил на языке политической корректности, когда это понятие не было еще общепринято и на Западе. Но российские люди в течение десятилетий привыкли к другой постановке вопроса, типа: «Ты за белых или за красных?» и «Кто не с нами, — тот против нас!»

Поскольку Чалидзе требовал лояльности к писаному закону, советский человек сплошь и рядом понимал это, как лояльность властям. «Что? Мы будем подчиняться ИХ законам? Когда они держат народ в рабстве и неведении...»

Но аналитический ум Валерия на самом деле подразумевал первоначальный, буквальный смысл советского закона, а не то произвольное толкование, которое укрепились и стало общепринятым за десятилетия бесконтрольного господства партийной номенклатуры. Он вложил в это дело всю свою нерастрченную страсть ученого и незаурядный интеллект казуиста. При помощи внимательного изучения Уголовно-Процессуального Кодекса РФ (который был его настольной книгой) и советской юридической литературы ему удавалось сплошь и рядом обнаружить, что подлинное содержание закона в СССР не соответствовало (по-видимому не соответствует и сейчас) обычной практике его применения. Зверские репрессии, которым в течение десятилетий подвергался советский народ, в сущности, никогда не имели законной силы и осуществлялись преступными руками вопреки или в обход законов.

Именно он открыл мне, что никакая научная, исследовательская деятельность не может быть в пределах Советского законодательства объявлена преступной. Это дало нам, группе ученых, привыкших облекать свои мысли в научную форму, уникальную возможность произвести самиздатское издание «Евреи в СССР», как антропологическое исследование неизученного этнического меньшинства в стране, и регулярно собирать Семинар ученых-отказников, изгнанных из своих институтов. При этом, конечно, нельзя сказать, что мы чувствовали себя вполне в безопасности, полагаясь на эти замечательные законы, которые скрыто присутствовали и все предыдущие годы советского режима. Но мы все же предпочитали на случай репрессий (как всегда «необоснованных») опираться на писанный закон, а не на переменчивые суждения властей.

Валерий, в сущности, пытался втянуть российских граждан и российские власти в содержательный диалог о буквальном и фактическом смысле и пределах применимости правил, по которым они живут. И власти, и граждане по разным причинам не были к этому склонны. Но, к сожалению, была и общая причина их тер-

пимости по отношению к всеобщему беззаконию: и от тех, и от других легалистская постановка вопроса требовала серьезных волевых и интеллектуальных усилий и ежедневного гражданского мужества, неведомого на российской почве. Неискушенные советские граждане всегда ощущали себя потенциально или реально в чем-то виноватыми, и власти умело этим пользовались.

Власти безосновательно предпочитали исходить из презумпции эмоционального единства устремлений всего советского народа. Первый же вопрос, который задавали допрашиваемому в КГБ был: «Вы ведь советский человек?» Далее само собой разумелось, что это на деле означает стремление всячески помочь КГБ в их самоотверженной работе. Советский же человек, твердо помня, где находятся миллионы НЕСОВЕТСКИХ людей (среди них зачастую и его родственники) и парализованный страхом, спешил в принципе согласиться, на ходу в нервной спешке находя для себя увертки, дающие возможность практически уклониться от этого сердечного согласия, но никогда все же не заходя так далеко, чтобы его можно было открыто уличить в немыслимом нежелании помочь своим «родным органам».

К 70-м годам (в «застойные» Брежневские времена) такая постановка вопроса стала отчасти смущать даже и многих советских чиновников с высшим образованием. И с их стороны возникла в те годы не до конца выявившаяся тенденция придерживаться более корректной линии в своей повседневной практике.

Впервые это обнаружилось во время процесса Синявского-Даниэля, когда власти сочли возможным, хотя бы отчасти информировать общественность о ходе суда и допустить в судебный зал какую-то часть «непроверенной» публики. Они не пошли еще так далеко, чтобы допустить потенциальных свидетелей защиты — мы с профессором Эмилем Любошицем ходили в Верховный Суд РСФСР набиваться в свидетели — но уже не выволакивали нас из здания суда и не рвали из рук бумаги. Почти сразу после этого Процес-

са в Уголовный кодекс была введена новая статья 190, смягчавшая «ультрареволюционные» формулировки 70-ой об «антисоветской пропаганде» до уровня более спокойных «заведомо клеветнических измышлений». Все же малограмотная чиновничья рука вставила туда эпитет «заведомо», обесмысливающий обвинительный характер закона.

Во время одного из моих «приводов» в КГБ интеллигентный полковник светски благожелательно объяснил мне, что, хотя моя самиздатская книжка «Трепет забот иудейских» не требует непременно применения статьи 70-й УК, но все же некоторые ее положения отлично подпадают под статью 190-ю. Пользуясь необязательным тоном нашего разговора, я возразил, что в моей книге «заведомой клеветы» быть не может: если бы я «заведомо» знал, что это неправда, я бы этого не написал. «Да, — небрежно сказал он, — эта статья неудачно сформулирована, но вы ведь понимаете, о чем я говорю»...

Спустя пару лет почти такой же разговор повторился в более боевой обстановке, но опять с обоюдным пониманием несовершенства наличной юридической практики. На этот раз меня притащили к другому полковнику силой и потребовали, чтобы я написал, что мне было предъявлено предупреждение о том, что моя деятельность подпадает под статью 190. Я отказался. «Почему вы отказываетесь?» — с любопытством спросил этот полковник. «Потому что вся моя деятельность от начала до конца не содержит никакой заведомой клеветы. Все, что я говорил и писал — чистая правда!» «Действительно, — внезапно согласился полковник, — до моего предупреждения вы могли не знать и думать иначе, но теперь я вас предупредил, что это клевета, и теперь вы знаете, так что это уже становится заведомой клеветой!»

Тут у меня всплыл отчаянный вопрос Паниковского в почти аналогичной ситуации: «А вы кто такой?» Он уверенно ответил, что он представитель Государственной безопасности СССР и упол-

номочен решать, что клевета, а что — нет. Вспомнив уроки Валерия Чалидзе, я ответил, что только суд может решить этот почти философский вопрос. Вместо того, чтобы зря рассердиться, полковник вызвал из-за двери Иванова и Петрова и приказал: «Подпишите, что задержанному было предъявлено предупреждение об ответственности по статье 190 УК, которое он отказался подписать.» На этом этапе счеты российских властей с законом в 1974 г. были вчерне закончены. Вскоре были закончены и мои счеты с бывшей родиной. Под новый 1975 год я вылетел в Большой мир и российский закон перестал быть моей проблемой.

В 1976 г. я был с визитом в Австралии, когда в России принималась новая (Брежневская) конституция. Один из журналистов спросил меня, как я оцениваю этот политический сдвиг, и я ответил, что вижу в этом безусловный шаг вперед. «Но, как же так, — поразился он, — ведь старая Конституция (она звалась Сталинской, но была написана Бухариным) была гораздо демократичнее!?» «Нет, — пришлось мне объяснить этому розовому либералу — старая Конституция писалась не для выполнения в жизни страны, а для международного престижа. А в новой конституции присутствует частичная тенденция к реальному следованию в обыденной гражданской практике». Я не уверен, что журналист меня до конца понял, но сопровождавший меня университетский коллега необычайно развеселился и сказал, что теперь он впервые уловил, что в мире называется «загадочной русской душой».

Загадочная русская душа оказалась не по зубам и прекрасному грузинскому принцу с внешностью печального демона, как и многим поколениям русских либералов и правозащитников до него.

ИСХОД

Теперь мне уже трудно это представить, но в Москве мы жили без телефона, без радио и без телевизора. В середине декабря 1974-го в два часа ночи в дверь позвонила наша подруга Дифа и, рыдая в голос, сообщила, что ей только что позвонили по телефону и сообщили, что нам выписано разрешение на выезд в Израиль. Срок на подготовку к отъезду — две недели. Почему это должно было произойти среди ночи, откуда и кто звонил, как и многое другое в тогдашней жизни, мы не поняли. Можно ли подготовиться к отъезду из страны, где родился и прожил безвыездно 40 лет, за две недели? Мне кажется, что и сейчас я еще не полностью собрался.

За отпущенные нам две недели у нас в квартире еще раз произвели обыск и несколько раз ненадолго уводили на допросы, по-видимому, для создания и поддержания требуемого уровня стресса. 27 декабря 1974 г. мы все-таки вылетели из Шереметьева в Вену. У сходней самолета нам помахали рукой на прощанье два до боли знакомых агента КГБ.

На сборном пункте в Вене за нашим первым ужином на свободе заиграли печальную песенку, от которой мы с Неллей не смогли сдержать слез. Впоследствии оказалось, что это был государственный гимн Израиля. Три предыдущих года борьбы на грани тюрьмы и две недели предотъездного напряжения не прошли для нас даром.

В Израиле меня, как старого знакомого, радушно приняли в офисе тогдашнего помощника премьер-министра по алие («Натив»), о существовании которого я раньше не имел понятия, но они, как выяснилось, внимательно следили за моей судьбой. Как оказалось, они и осуществляли тот пресловутый «сионистский заговор», которым нам прожужжали уши в СССР. В офисе работали польские и прибалтийские евреи-энтузиасты старого закала. Многие из них научились русскому языку на Воркуте и в Сибири. Командовал этим узким кругом заговорщиков кибуцник Нехемия Леванон — человек исключительных качеств с внешностью итальянского мафионера, числивший среди своих личных друзей президента Франсуа Миттерана и сенатора Генри Джексона. Его в свое время лишили дипломатического статуса и выслали из Советского Союза за нелегальные встречи с советскими евреями, и его неотступная воля в сочетании с трезвой макиавеллиевской политикой обусловила массовую поддержку на Западе еврейского движения в СССР.

Фокус успеха Нехемии в Европе состоял не столько в высоте идейного пафоса борьбы за свободу и равноправие, сколько в умелом задействовании обширной сети личных, неформальных дружеских связей участников «заговора» с людьми, составлявшими политический истеблишмент послевоенной Европы.

2-я Мировая война отгремела сравнительно недавно, и в сердцах бывших подпольщиков Сопротивления еще жива была память о солидарности жертв нацизма. А кто были эти подпольщики и жертвы? — Евреи и коммунисты. Таким образом наиболее эффективно поддерживали еврейское движение не столько защитники всяческих свобод, сколько горячие сторонники СССР, которым антисемитская позиция советских властей мешала с ней отождествиться.

Многие наши сионистские активисты приняли эту игру слишком всерьез и обвиняли Нехемию в симпатиях к СССР и коммунистическим партиям. Это создало основу для неутраченного конфликта русских евреев с «Нативом».

Нехемия, не дав мне опомниться и прижиться в моем Университете, немедленно включил меня в свою работу и отправил по городам и весям Америки на съедение тамошних евреев. Рост активности советских евреев в СССР американцы наивно приписывали повышению уровня дискриминации, в то время как непосредственная причина была в снижении уровня страха. Нужно сказать, что энтузиазм американских евреев тогда действительно превзошел рутинный уровень, и я с некоторым удивлением убедился, что советские власти и вправду недаром опасались влияния сионистских организаций на общественное мнение. Объездив Америку, Англию и Францию (и даже Австралию) с выступлениями в поддержку советских евреев перед еврейскими общинами, научными обществами и парламентариями, я сильно усовершенствовал свой английский и почувствовал себя знакомым с жизнью западных стран лучше, чем с Израилем.

Мы все были воспитаны на европейской культуре. Русская культура, на которой мы выросли, вся пронизана ностальгическим чувством по Европе. Она как бы тоскует по Европе, она построена на европейских реминисценциях. Не было ни одного по-настоящему плодотворного русского писателя — от Гоголя до Толстого и Достоевского, — который бы многократно не путешествовал по Европе, не любил ее, не говорил на многих языках, не читал европейскую литературу. В России, в библиотеке Серпуховской тюрьмы, где я провел две недели вместо нашего Международного Семинара, мне достался академический томик Пушкина — «Незавершенное и незаконченное». Все это «незавершенное» было полно его заметок: «хорошо бы написать русского Вальсингама, русского Тернера». Он все время словно бы пытался «переводить Европу» на русский язык.

Ощущение от Лондона, напомнило мне Диккенса. Вернее, еще до прибытия, я уже настроился на Диккенса, а когда я увидел Париж, я был счастлив узнать описания Бальзака. И Рим...

Как раз, Рим дал мне очень характерное переживание. В Риме, сопоставляя невероятную красоту Рима классического — Форум, Колизей, — с Римом современным, я пришел к мысли, которую затем начал постепенно расковыривать. Мне показалось, что это характерно для всей Европы: Рим — это полуразрушенный, заброшенный город, захваченный варварами. Это, разумеется, грубое преувеличение, но я сознательно делаю такое преувеличение. В Риме я не увидел ни одного здания, которое было бы своевременно отремонтировано. Не было ни одной стены, не загаженной свастиками и серпами с молотами. Рим показался мне чудовищной безалаберностью и безобразием, нагроможденными на покинутую и брошенную красоту.

Во Франции поражает расхождение между Францией, принадлежащей сегодняшним французам, и Францией, принадлежащей русским читателям. Французский знакомый сказал мне: «Вы гуляете по прелестным Парижским бульварам, по набережным Сены, но вы не знаете настоящей Франции. Пойдите на могилу Наполеона, и вы увидите сердце Франции. Вот, если вы сумеете пережить это, — тогда вы поймете...».

Я пошел на могилу. И должен сказать, — после этого понял, что действительно Францию совсем не знаю. Эта гробница полна ложного пафоса. Могучий мрамор, невероятная пышность, памятник побед, которых у Франции нет.

Величие Наполеона выглядит неловко на сегодняшних французях, как треуголка на случайном прохожем. Это памятник комплексу неполноценности.

Современная Европа чувствует, что она не в силах освоить собственную культуру. Сегодня во всем мире культура создается, — точнее, ее пытаются строить, — в условиях распада религиозного сознания, отсутствия абсолютных ценностей. Я боюсь, что в этих условиях построение подлинной культуры вообще невозможно.

Я не верю, что может существовать безрелигиозная культура.

В мире нет центра. Этим и характерен западный мир, повторяющий эйнштейновскую модель Космоса — в нем нет центра. Амстердам — это центр для голландцев, замечательное, потрясающее место, но это ни в какой мере не центр ни для англичан, ни для французов. Сол Беллоу как-то сказал, что Париж в культурном смысле несколько не выше Буэнос-Айреса, но для французов — это их уровень, их центр.

В этом плане Тель-Авив и Иерусалим — ничуть не меньшие «центры». Мне даже кажется, что некоторая чуткость позволила бы нам заметить, что в каком-то еще более глубоком смысле подлинный центр мира действительно находится здесь, — не только для нас, евреев...

Разговор о «центральности» Израиля имеет и иной, более глубокий смысл. Европа и европейская культура были созданы деспотизмом и поддерживались до тех пор, пока традиция деспотизма сохранялась. Сейчас Европа переживает кризис, который ставит перед ней — и всеми нами — проблему: может ли вообще существовать демократическая культура? Американское общество — единственное в мире общество, которое знает только демократическую традицию. Эта культура, что в США, что в Европе, в значительной мере оказывается посредственной.

Культурное творчество, в которое ушли силы еврейского народа — «СЛОВО» — не выжималось под давлением. Это не был результат тирании или какого-либо целенаправленного насилия, индивидуальной воли...

Русская литература вообще создала у нас превратные представления о европейских нравах и западном образе жизни. Вместо английского персонализма и французского жизнелюбия неподготовленный наблюдатель сталкивается подчас с английским хамством и французским культом еды.

Желание понять немецкую загадку толкнуло меня даже согласиться участвовать в германо-израильском научном сотрудничестве, которое заставило меня длительное время провести на территории Германии.

Мои выступления перед публикой в Европе и Америке дали мне дополнительное понимание массовой психологии и трудностей демократии. Однажды так случилось, что мне пришлось выступать в Англии перед большой аудиторией после выдающегося юриста, израильского правоведа. Правовед объяснял западным людям, чем отличаются российские сионисты от общедемократического движения в СССР. Он сказал, что демократы якобы хотят изменить государственные законы в СССР, а сионисты просто хотят уехать оттуда.

Я вынужден был поправить его, сказав, что демократы хотят не столько изменить законы, сколько добиться, чтобы хотя бы отдельные законы в СССР, наконец, выполнялись, а сионисты хотят добиться, чтобы выполнялся, всего один закон, о свободном выезде из СССР. Мне с большим энтузиазмом хлопали, и я был горд, что так замечательно исправил и уточнил их знание о дорогом мне предмете.

В перерыве я подошел к посрамленному профессору и попрекнул, что он, будучи специалистом, вводит в заблуждение аудиторию, зверски упрощая ситуацию, и т. о. невольно отягощая положение и без того несчастных российских демократов.

В ответ он предложил мне обойти аудиторию и расспросить слушателей, что они поняли в результате наших выступлений. — Результат был ужасающий. Большинство смутно припоминало слова профессора, прибавляя, что это «всем известно» и, с энтузиазмом приписывая мне те же его слова, добавляли, что это было зато «оригинально, свежо, и сразу видно настоящего участника движения, а не зануду-профессора». Абсолютно все пропустили мимо ушей

главную особенность Советского режима, не укладывающуюся в сознании западного обывателя: перманентное отсутствие в России соответствия между писаным законом и наличной судебной практикой. Я подозреваю, что эта особенность российской жизни не была вполне ясна и самому профессору, судившему о России только по опубликованным документам (и остается неясной большинству людей на Западе и сейчас). Но все же я почувствовал себя вынужденным извиниться перед ним за свою неопытность и неделikatность. По-видимому, ничто сложное не может быть воспринято в большой толпе. Политики не врут. Они упрощают. Они говорят на языке своей аудитории.

НАЧАЛО И КОНЕЦ

«История культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же — каждый раз новым — актуальный момент текущей культуры. Мир построен из двух времен, наличного и отсутствующего».

Б. Л. Пастернак, «Охранная грамота»

Предчувствие конца христианской эры побуждает чувствительные художественные натуры возвращаться мыслью к ее началу. В русской литературе такое возвращение было впервые возведено в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, а спустя несколько лет и в евангельском цикле стихов к «Доктору Живаго» Б. Пастернака.

Оба романа были написаны авторами, воспитанными еще в досоветской культуре, в которой евангельские подробности составляли необходимую часть памяти образованного человека — «легенду, заложенную в основание традиции» — но оказались совершенной культурной новостью для советского читателя и до основания потрясли его воображение.

Впрочем, за последние десятилетия и западный читатель так основательно отошел от традиционного религиоз-

ного воспитания, что евангельская история выглядит для него если не полной новостью, то во всяком случае подходящим материалом для домыслов и интерпретаций.

Дэн Браун и многие другие по-своему переписали сегодня Евангелия, и их коммерческий успех подтвердил одновременно и правоту сентенции, высказанной в эпиграфе, и плотность непроглядного тумана, в который погрузился исходный текст в сознании большинства читателей.

Сравнительно недавно к такому повороту подошли и в современном кино. Почти одновременно на этом поле выступили два баловня успеха — Мэл Гибсон и Ларс фон Триер, — каждый в соответствии со своим артистическим амплуа.

Мэл Гибсон, суперзвезда, многократный исполнитель ролей героических персонажей, любимец массового зрителя, не стал опускаться до переинтерпретаций, осовременивающих Евангелия, подобно М. Булгакову или Б. Пастернаку, ни, тем более, перевернуть их, как Дэн Браун, а поставил себе фундаментальную (но также и фундаменталистскую) задачу воспроизвести «подлинную» картину события и прямо принял канонический евангельский текст за свой сценарий.

Ларс фон Триер противоположен Мэлу Гибсону во всем, но их объединяет тонкое понимание пружин зрительского успеха. Для громкого успеха не всегда нужно потакать публике, иногда есть смысл публику раззадорить или даже умело оскорбить. Это особенно верно, если речь идет о публике изысканной, о театральных снобах и пресыщенных кинокритиках, как в случае фон Триера. В обоих случаях публику нужно ошеломить и озадачить. Оба фильма блестяще справляются с задачей.

Если современная европейская публика и привыкла к мысли о распятии Христа, она привыкла к лакированному, эстетически облагороженному образу этой, когда-то позорной, казни. Варварские подробности мучений казнимых, физиологические детали

истязаний в фильме Мэла Гибсона сделали из канонически закрепленных, освященных (и отчасти одухотворенных) традицией сцен распятия современный кровавый триллер, способный по своей экспрессии конкурировать со сценами гладиаторских боев, заполнивших в последние десятилетия экраны кинотеатров.

Напротив, нарочито условная, обманчиво игровая режиссура фон Триера, возвращающая зрителя к упрощенным «шекспировским» театральным меркам, затрудняет восприятие неискушенным зрителем издевательски мизантропического замысла фильма «Догвилль» («Псоград»).

На первый взгляд фильм фон Триера вообще ничего общего с Евангелиями не имеет. Это история избалованной дочки (суперзвезда Николь Кидман) всемогущего гангстера-миллионера, бежавшей из отцовского дома, где жизнь людей была основана на грехе и жестокости, в поисках «простой и чистой» жизни.

Она попадает в маленький городок, заповедник американо-протестантской добродетели, где пытается на деле осуществить евангельские заповеди, которые якобы искренне исповедуют его обитатели. Здесь она встречается с местным интеллигентным молодым человеком, который так глубоко ее понимает и сочувствует, что становится ее доверенным лицом и представителем, озвучивающим и осуществляющим ее связи с жителями города, ее советником и наставником в новой, незнакомой для нее, обстановке коммунальной жизни американской глубинки. Они ведут душевные разговоры о красоте простоты и прелести неиспорченной низкими страстями провинциальной жизни.

Городок живет по правилам ранней американской демократической традиции, принимая все свои решения на общем собрании, неизменно сопровождая их пуританской, христианской риторикой. Сначала героиню увлекает эта идиллия. Именно о такой чистой, общей с простым народом жизни она и мечтала, к этому всей душой стремилась. Ее принимают в городскую общину на условии

безоговорочного принятия их давно устоявшихся правил. Она изо всех сил старается понравиться обывателям и всячески услужить каждому из них.

Однако евангельская кротость и безграничная уступчивость героини очень быстро приводят к тому, что город понемногу привыкает ею помыкать и ее эксплуатировать. Молодой человек каждый раз со знанием дела объясняет, хоть и не всегда идеально чистые, но оправданные общечеловеческим несовершенством, мотивы горожан и горячо одобряет ее самоотверженное смирение, утешая ее цитатами из Писания.

Постепенно прорисовывается евангельская ситуация, при которой город привыкает взваливать на нее свои огрехи (а в конце концов и грехи) и требует от нее все большей самоотверженности в ее преданности людям.

Через небольшое время она устает от своей добродетели и в отчаянии пытается бежать из города. Однако ее останавливают на полдороге, напоминая о бесчисленных невыполненных обязательствах, которые она невольно на себя взяла в тщетном усилии никому и ни в чем не отказать.

После неудачной попытки бежать она окончательно попадает в рабство к окружению, выполняя всю черную работу, которую на нее сваливают, а весь город еще дополнительно винит ее в неблагодарности. Жители города, еще так недавно единодушно хвалившие ее бескорыстие и отзывчивость, принимают все новые фарисейские решения о ее недостаточной уступчивости, неблагочестии и несоблюдении правил.

Окончательно проясняется евангельский сюжет о Иисусе Христе, которого непостоянный и неблагодарный народ, еще недавно обожавший (и обожествлявший) его, уже готов был развенчать и распять. Совершенно в духе современной нетерпимости к мужскому шовинизму здесь по произволу режиссера-модерниста в качестве страдающей за грехи всех людей фигуры выступает женщина.

Молодой человек, красноречиво уговаривающий ее «подставить вторую щеку», каждый раз представляет ей (и зрителю) новую изысканную казуистику, с помощью которой требует поверить, что каждое очередное надругательство над ее человеческим достоинством может (и даже необходимо должно) быть оправдано духом христианской кротости и всепрощения.

После многих недель унижительной нищеты, недоедания, непосильного труда, издевательств местных подростков (включающих, между прочим, и серию изнасилований, за которые позорят ее же) героиня порывает со своим гидом, добровольным идеологом непротivления и возвестителем коллективной воли жителей, и окончательно решает вернуться к своему отцу-гангстеру.

Здесь у ее отца (блестящий актер Майкл Кан) открываются черты Отца-Саваофа и религиозный сюжет окончательно выходит на поверхность. Отец прямо задает дочери вопрос Громовержца: оставить ли жизнь этому жалкому городку и его жителям или уничтожить все разом.

Дочь уже в совершенно пророческом стиле приговаривает город к гибели и лично стреляет из пистолета в ханжу-идеолога (то есть попросту в христианского гуманиста), который все это время оправдывал перед ней вопиющее лицемерие и двойные стандарты жителей этого вместилища ложной веры и скрытого порока. Таким образом, евангельской легенде в фильме приписано новое завершение вполне в ее апокалиптическом духе: после предсмертного взывания Иисуса с креста — «Зачем же ты меня покинул, Господи!» — Всемогущий отец-гангстер (гневный, жестокий Иегова — Бог мщения!) явился во плоти и силе и по слову Апокалипсиса разрушил весь мир греха.

Искусные условные постановочные ходы и прекрасная игра актеров отчасти прикрывают намеренное кощунство режиссерского замысла, но рассыпанные по сценарию многочисленные намеки не оставляют сомнений. Сторожевого пса в городе зовут Моисей, и он

неприкаянно торчит на краю города в виде молчаливого картонного манекена, никак не участвующего в драматическом действе, но сообщающего ему его библейскую многозначительность.

Оба режиссера получили шумный и скандальный успех.

Мэл Гибсон — за то, что возвестил миру свою преданность христианской цивилизации, хотя при этом и не отказал себе в личном удовольствии подчеркнуть зловещую роль евреев при самом ее зарождении. Как он сам сказал, отвергая обвинения въедливых журналистов в намеренном показе евреев в таком некомплементарном сюжете: «Чего вы от меня хотите? Норвежцев там не было!»

Ларс фон Триер — напротив — за то, что он на весь мир проклял эту цивилизацию. Он проклял ее за ее фактическую неспособность соответствовать своим собственным заповедям и настойчивое лицемерие, с которым эта несостоятельность ею отрицается.

Впрочем, это также единственная цивилизация, которая может позволить внутри себя такое безоговорочное осуждение. Мера свободы художника в европейской (уже не совсем христианской, или даже совсем не христианской) культуре давно выплеснулась за рамки не только христианства, но и простого инстинкта самосохранения христианских когда-то народов. Именно эта безграничная свобода провоцирует особо чувствительных граждан нагло бросать свой ботинок в истеблишмент, который не в силах удовлетворить их обостренную потребность ощущать себя праведными.

Да! Гуманистическая цивилизация дала просвещенному человеку безбедную жизнь, но она не нагрозила его сознанием неотменимого долга, который составил бы смысл этой жизни. И он бунтует, чувствуя себя обманутым. Как будто в самом начале этот смысл проглядывался. Или это была иллюзия?

«СИОН» И ЧУВСТВО ЮМОРА

Когда вся наша группа, составлявшая в Москве «Евреи в СССР», собралась, наконец, в Израиле, нас с большим энтузиазмом включили в редколлегию русскоязычного журнала «СИОН», издававшегося сионистскими активистами прежнего призыва, членами героических подпольных кружков, прошедших российские тюрьмы. Мы, конечно, радостно откликнулись и начали работать. Сионистские активисты были полны искреннего энтузиазма, но литературно совершенно беспомощны. Они наполняли страницы журнала идеологическими штампами и бодрящими сведениями о комплиментарных к евреям высказываниях выдающихся личностей. Журнал был непереносимо скучен, и почти не имел подписчиков. К нему подошло бы известное издевательское название: «Слоны и еврейский вопрос».

Поскольку наша компания состояла из опытных литераторов и московских сионистских активистов, мы внесли в этот унылый журнал свой литературный вкус и горячий полемический дух последних бурных лет почти открытого движения (по крайней мере, в Москве мы вызывающе демонстративно декларируем его законность, вопреки преследованиям КГБ), которое за эти годы

приобрело силу и престиж, признанные в широком мире. Появился заинтересованный читатель. Журнал (не без участия соратников Нехемии) начал нелегально проникать в Россию. Количество подписок резко пошло в гору.

После краткого периода общих восторгов и взаимной любви, (с № 15 «СИОН»-а до 21-го) между старой и новой частями редколлегии начались трения. Конечно, как всегда, причиной трений объявлялась идеология, которая у нас, вновь прибывших, якобы была не вполне сионистская, антисоветская, слишком ироничекая, «недостаточно доступная простому еврею» и т. п.

Какая идеология сионистская? Мы приехали в Израиль — можно ли было поступить более по-сионистски? Фактически дело было в избытке у «старых борцов» личных амбиций и недостатке чувства юмора. Это сразу стало ясно, когда самый яркий из них, покойный Виктор Богуславский, участник Ленинградского процесса (а также профессиональный архитектор, спланировавший большую часть еврейских поселений Самарии) решительно стал в этом конфликте на нашу сторону, предпочтя быть, «хотя и меньше почитаемым, зато более читаемым».

Фантом «простого еврея» потом еще несколько лет витал над сознанием Нехемии и его сотрудников. Радостно встречая на сходнях самолетов одного за другим российских интеллектуалов в качестве сионистских активистов и лидеров еврейского национального движения, они при этом с некоторым смущением высказывали свое недоумение: «разве это евреи?» А где же их идишь? А гефилте фиш? Они все ожидали, что вслед за этими «джентльменами» потянутся, наконец, и родные им «простые евреи», к которым они привыкли в своей Польше и Литве. Мне было трудно объяснить Нехемии, что «простых» евреев в России больше нет: одних немцы убили, другие превратились в советских бюрократов, третьи вышли в профессора и режиссеры. Простой еврей стал врачом или инженером.

Но он все вздыхал и сомневался...

Когда схлынула первая волна идейно-мотивированных репатриантов и основной поток, вместо Израиля, устремился в Америку, Нехемия решил сам съездить в Вену, чтобы на месте понять, что определяет выбор советских людей и куда утекают простые евреи. Вернувшись, он признался, что был неправ в своих ожиданиях: «Действительно, ужас как евреи огрубели. Ваши профессора и артисты из столичных городов меня, как представителя Израиля, хотя бы вежливо выслушивают, а простые евреи прямо **на хуй** посылают!»

При этом на слове «на хуй» он деликатно понизил голос.

В результате решительного размежевания старая редколлегия проголосовала за наше изгнание, и № 22 уже не мог сохранить название «СИОН». — Гора с плеч! Все-таки это название, по-видимому, было чересчур обязывающим. Под новым, неприязненным названием «22» журнал и выходит до сих пор, переживая то «тучные», то «тощие» годы. Надпись на обложке — «журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле» — призвана была оградить нас от многочисленных фанатиков, догматиков, схизматиков — всех тех, кому невнятен юмор и недоступны переносные значения слов.

— Можно сказать, что четвертая заповедь («Не поминай имени Б-его всуе») предписывает с осторожностью упоминать слово — понятие — которое не подлежит общим правилам обращения со словами. По-видимому, «СИОН» — одно из таких, слишком значимых, нагруженных историческим смыслом, слов. В самом деле, ведь слова это вещи, даже скорее слова — это числа, и они позволяют нам производить с ними те же алгебраические действия, что и с числами, потому что математика — это просто логический язык. Однако и математика, как я уже писал, признает существование выделен-

ных чисел: если А добавить к В, сумма, вообще говоря, составляет $A+B$. Но, когда А равняется бесконечности, $A+B$ остается А, какое бы ни было В. Таким образом есть число, СЛОВО — бесконечность — которое НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В ОБЫДЕННУЮ РЕЧЬ, и потому не должно быть произнесено без уделения ему специального, экстраординарного внимания.

В окружающей нас природе таких особых крайних чисел-вещей-слов нет. Но человек в своем историческом существовании наделяет такими особыми свойствами (святость) разные места (Гроб Господень, Кааба), времена (Рождество, Рамадан) и предметы (иконы, распятия) для своей ориентации в пространстве и времени и для ободрения в материальном мире. Иудаизм часто клеймит эту общечеловеческую склонность идолопоклонством, но вполне освободиться от нее не может (Стена Плача, Йом Кипур, мезуза). Повидимому это (как и отсчитывание от **нуля**) — психологическая потребность аналогичная необходимости в ежедневной ориентации — инстинкт — определение условного начала координат в своем собственном мире. Как утреннее установление положения тела при пробуждении.

Безусловное и бесконечное не умещаются в сознании. В обыденной жизни человек всегда остается в пределах средних чисел. Все его практические задачи решаются далеко от крайних пределов познания. Ему достаточно интуитивного ощущения бóльшего и меньшего, чтобы ориентироваться среди людей и обстоятельств. Так удерживается практическая мораль, которая потому, как раз, и допускает значительные отклонения, что абсолютных точек отсчета не знает.

Вообще все правовые соображения («Права Человека») суть условности, происходящие от договорных отношений между людьми. Они, конечно, вынуждены отступать перед законами природы. Однако религиозные принципы, основанные в каждой цивили-

лизации на древней предшествовавшей традиции, претендуют на абсолютность даже более высокую, чем законы природы. Условное, конечно, должно уступать абсолютному, как и договорное вынуждено уступить природному. Пытаясь устранить иррациональный элемент из своего нарратива мы ставим свою цивилизацию в заведомо проигрышную позицию. Наличие еврейского фундаментализма среди океана окружающих фанатиков оказывается единственным реалистическим основанием для существования Израиля. Все рациональные и исторические обоснования его оспоримы и опровергаемы людьми, принадлежащими к иным культурам и склонными следовать своим мирообъясняющим мифам. Навязать другим народам представление о нерушимости договорных отношений (например, Тора сообщает, будто «Авраам купил за серебро пещеру Махпела» в Хевроне) проще, чем внушить им идею святости человеческой жизни. Мы фактически можем противопоставить врагам свою не менее последовательную систему абсолютов, основанную на более древней традиции, отчасти признаваемой (или, хотя бы уважаемой) и ими. Конечно, это не может быть «Декларация Прав Человека», представляющая собой просто краткую выжимку из этой древней системы, записанную, однако, на современном, слишком рациональном, западном языке, невнятном для архаического сознания.

УНИКАЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА И ВЫЗОВ

Исход из России, борьба за выезд, жизнь в Израиле настолько отличаются от моей предшествующей жизни, что мне нелегко сопоставить их в одной книжке в тех же терминах. Значения многих слов в моем языке почти незаметно для меня необратимо изменились, и тот факт, что я пишу на русском языке не делает меня российским писателем. Эту перемену очень трудно определить. На элементарном информационном уровне нет почти ничего такого, что создавало бы (точнее, что оправдывало бы) такую громадную разницу в понятиях между Россией и Западом. Нет таких животрепещущих сведений, которых лишен наш бывший соотечественник и которые мы могли бы сообщить ему нашей неподцензурной литературой, так что он, наконец, все поймет. Нет таких фактов, которые он не мог бы, приложив некоторые усилия, узнать. Нет и таких идей, которые нельзя было бы в России выдумать или вычитать у кого-нибудь из старых мыслителей. Тем не менее всякий, покинувший Россию и сохранивший глаза открытыми, узнает бесконечно много. Что же это такое мы узнаем здесь, чего не знали там?

Чтобы ответить на этот вопрос, я попробую сначала задать свой вопрос читателю. Когда юноша впервые

познает женщину, узнает ли он что-нибудь новое? — Конечно, а как же! Но ведь все это ему тысячу раз говорили товарищи, научные книжки, порнографические картинки? — Ну да, но ведь это совсем не то...

Вот, приблизительно, это я и хотел сказать о реальной жизни, поскольку реальной жизнью я считаю только жизнь на Западе, а нашу прошлую жизнь в России лишь искажением реальных отношений. Мы жили там, как в воспитательном доме, и наше знание о мире и о себе было не выше того, которое имеют подростки, могущие обо всем рассуждать, но лишенные собственного жизненного опыта. Слушая рассказы товарищей или разглядывая порнографические картинки, юноша скользит по поверхности чего-то, что его возбуждает, но не вполне ему внятно, ибо он не знает своей роли и возможностей в этом захватывающем занятии. Он узнает что-то общечеловеческое, но не свое. Когда же подросток приобретает личный опыт, он действительно знает нечто, но, попытавшись выразить это знание, вряд ли уйдет дальше инструкций товарищей (которые тоже ведь знали), научных книжек или порнографических картинок. Потому что, передавая это знание он не может передать главное — что это значило для него лично. Для слушателя все это будет, возможно, значить нечто иное, его чувство и его оценка этого чувства будет, скорее всего, совсем другой, хотя он и сделает, допустим, все по инструкции. «Вот скотина!» — подумает молодой человек: «Что он за хреновину мне молот — Все совсем не так».

Нечто подобное происходит и с иммигрантами на Западе. Их трудности напоминают трудности юношеского возраста, в такой же мере окрашены одновременно в трагический и упоительный цвета и так же способны привести к самоубийству. Первая интимная близость со свободой не всегда кончается благополучно, но без этого нельзя стать взрослым. Хотели ли мы этого?

Человек не может жить долго в присутствии великого. Иначе он становится поэтом. А это совсем другое дело. Поэтому всякий,

поселившийся в Израиле, через некоторое время находит себя в трудном положении человека, которому задали скептический вопрос: «Ну, и что?» Сначала он несет в ответ лихорадочный бред, который естественно возникает в голове у каждого при столкновении с такими фундаментальными вещами, как Храмовая гора (Мория) или гора Мегиддо (Армагеддон). Потом — все чаще запинаясь, наблюдая, как подлинность переживаний вытесняет литературные образы и не оставляет места для словесного выражения. Только на первый взгляд эта беспомощность кажется чисто словесной. Только в первый момент эта безгласность кажется порожденной близостью к библейскому сверхлитературному канону. Главное все же — не в выражении. Главное — в нашем внутреннем состоянии.

Словесная растерянность пришельцев соответствует нашей внутренней растерянности, порождаемой уникальностью жизни, которой мы живем. Эта уникальность не является следствием нашего жизненного опыта и потому не дает уверенности в понимании всего Замысла как целого.

Нельзя сказать, что мы вообще не были готовы к уникальному. Некоторые из нас подготовили и весьма многие приняли исход из России с подлинным энтузиазмом. Я думаю, если бы судьба наша сложилась иначе и наши сорок лет нам предстояло бы провести в Сибири, многие сумели бы погибнуть достойно. Но исход наш был порождением и продолжением нашего российского опыта. Он родился как воплощение нашей мечты и идеальный выход из нашего безвыходного положения. Конечно, наш исход был чудом. Но он был, так сказать, чудом очеловеченным. Он отвечал скрытым упованиям и открытым стремлениям. Он позволял себя эксплуатировать. Исход разрубал безнадежно запутанные узлы, оправдывал поспешные решения, отменял ежедневные заботы...

Первое, с чем мы столкнулись в Израиле, что любой знакомый гвоздь, подобранный нами на общей дороге, оказывался не от той

стенки. Тот из нас, кто скажет, что он с самого начала все понимал, только подчеркнет, что он и сейчас ничего не понимает. Израильская жизнь, в отличие от исхода, родилась не от нашей мечты. Она была построена не как выход для нас, а как продолжение истории, в которой мы не участвовали. Наше участие предусмотрено только в неопределенном будущем. Оно не обеспечено, а лишь проблематично, ибо определяется нашими качествами, в которых мы менее всех уверены.

Весь свободный мир одинаково далек от взлелеянной нами в России мечты о неограниченной, но «правильной» свободе. Оказывается, свобода в этом мире смыкает различие между правильным и неправильным. В первую очередь исчезает различие между правильными и неправильными взглядами, которое казалось нам таким очевидным. Не то чтобы правильные и неправильные взгляды в чем-то сблизились. Но неравенство между ними исчезло. В свободном мире оказалось достаточным, чтобы какой-нибудь взгляд поддерживался некоторой группой, чтобы его «правильность» автоматически оценивалась пропорционально силе и влиянию этой группы. А как же Истина?

Постепенно наступает и отмирание неравенства между правильными и неправильными действиями. Трудно отличить правильные забастовки, которые ведут к повышению нашего жизненного уровня, от неправильных, которые ведут к дезорганизации нашего хозяйства и общественной жизни.

Даже граница между преступлением и заблуждением начала размываться. Недавно английский суд совершенно всерьез рассматривал аргументы двух изуверов, забивших до смерти женщину, чтобы выгнать из нее злых духов. Суд признал это вполне допустимым вариантом идеологического заблуждения. Поведение убийц он квалифицировал как чересчур прямолинейное. Судья, присуждая обвиняемых к трем годам тюрьмы, сказал: «Я вынужден послать вас в тюрьму. Мне не легко. Вы действовали, хотя

и **ошибочно**, но прямолинейно по-христиански и не имели злого намерения. Все же какое-то наказание необходимо, ибо как-никак человеческая жизнь была прервана зверским образом, и это происходило слишком долго, чтобы походить на внезапный порыв». Действительно, они топтали ее ногами около двух часов, раздавили ей грудную клетку и осколками ребер многократно проткнули легкие... Урок, который они вынесли из суда, состоит в том, что в следующий раз следует делать это быстрее. Возможно, они сумеют возглавить небольшое движение...

Таким образом, мы находим себя на Западе окруженными неправильными людьми, руководимыми неправильными идеями, страдающими от неправильной политики в неправильно организованной общественной системе, где мы обязаны считаться со всем этим, как если бы все это было правильным. В отличие от А. Солженицына, который может себе позволить лишь талантливо разоблачать этот неправильный мир, любой русский выходец в Израиле имеет право и обязанность попытаться его исправить. И тут наступает предел мечтаниям, конец талантам... «Мысль изреченная есть ложь!» А что сказал бы поэт о мысли воплощенной?!

Старикам — пионерам, основателям этого государства — приятно сознавать, что они добились невероятного, но все они признают, что добились не совсем того, чего хотели. Наиболее радикальные среди них утверждают, что это совсем не то.

Израильская действительность во многих отношениях напоминает вновь прибывшему энтузиасту анекдот о ветреной жене. В ответ на замечание мужа, вернувшегося после долгой отлучки, что в ней «что-то теперь не то», она отвечает: «Всему городу — то, а тебе — не то?!»

Мысль изреченная не есть ложь, но — дело. Как всякое дело, она несовершенна. И объективно (для всего города) Израиль выглядит очень неплохо. Даже настолько хорошо, что его уже исключили из числа развивающихся стран. Второе или третье место в мире

по демократическим свободам, пятое, или там восьмое, место по жизненному уровню, седьмое место по численности и ударной мощи вооруженных сил... Но это не вдохновляет. Изголодавшаяся по идеалам душа репатрианта и развращенное советским воздействием воображение пряника равно не готовы удовлетвориться скромной реальностью Израиля. Даже первое место на конкурсе песен и кубок Европы по баскетболу не утолят этой метафизической тоски по выдающемуся. Дайте нам зримые доказательства нашего первородства, и мы, может быть, и согласимся на восьмое место по жизненному уровню (обеспечив седьмое для наших вооруженных сил)!

Как ни странно, такое доказательство есть. Наша уникальность, наше первенство — вне сомнений. Мы не видим их, потому что мы не смотрим.

Израиль представляет собой единственное демократическое общество в мире, которое ставит себе идеологическую цель. Никто не обратил внимания на тот факт, что, вообще говоря, это невозможно. Демократическое, свободное общество, по определению, никаких целей преследовать не может, ибо оно и есть своя собственная цель. Разные группы в таком обществе могут преследовать свои различные цели, но как только одна из них сумеет навязать свои цели обществу в целом, такое общество выходит из свободного мира и отныне называется авторитарным. Очень скоро его практика оправдывает этот эпитет.

Совершенно не важно, каковы были первоначально эти цели: социализм в России или национализм в Германии, ислам в Иране или культурная революция в Китае. Главное во всех этих случаях, что общественная цель едина и все остальные цели в обществе подчинены этой сверхцели, которая приобретает все менее реалистические очертания. Выражаясь философским языком, телеологическое общество неизбежно становится теократическим. Иными словами, общества, преследующие некую цель вне себя,

управляются правилами, происходящими не от общественных потребностей, а от идеологических догм, и людьми, которые связывают свои стремления не с обществом как таковым, а с мерой его согласия с их догмами. Если эта цель религиозная, обществом управляют священники, как это происходит в Иране, но если цель первоначально и не была связана с религией, она сама превращается в религиозную идею, как марксизм в Советском Союзе или расизм в Германии.

Израиль является теократическим обществом, по крайней мере, по двум признакам: в Израиле нет законодательного отделения религиозного сектора от государственного, и в Израиле нет конституции. Причем она отсутствует не по недосмотру или спешке первых лет, а в сознании того факта, что народу, у которого есть Тора, не нужна конституция. Я добавлю еще и третий, решающий признак: Израиль создан и существует благодаря одной-единственной идеологии — сионизму — и управляется (и может управляться) только сионистскими партиями. Если бы несионистская коммунистическая партия и получила благодаря арабам необходимое число голосов, она все равно без гражданской войны не смогла бы войти в правительство. Итак — идеократическое государство...

Большинство демократически настроенных критиков Израиля формулируют свое возмущение в форме вопросов: «Как это возможно: в демократическом государстве — жить без конституции?» или «Как это можно: терпеть в свободном обществе вмешательство религии в светские дела?» Между тем, если мы действительно хотим что-то понять в этом случае, мы должны ставить вопросы прямо противоположным образом: «Как случилось, что государство, у которого нет конституции, остается демократическим?» и «Каким образом в теократическом государстве общество может оставаться свободным?» Когда мы сформулируем вопросы именно так, нам станет ясно, что сходство Израиля с другими демократи-

ями — это не более чем иллюзия, порожденная нашей неспособностью увидеть и оценить единичное.

Израиль может быть на втором или еще каком-нибудь месте по осуществлению демократических прав (или, наоборот, на каком-то месте по централизации управления), но это так же не ставит его в один ряд с другими современными обществами, как тот факт, что человек находится, допустим, на четвертом месте среди животных по продолжительности жизни, вовсе не ставит его на четвертое место в животном мире. Так же как и тот факт, что Израиль занимает чуть ли не первое место в мире по милитаризации населения и экономики, не делает его милитаристским государством. Это на собственном опыте знает каждый израильский гражданин. Израиль — первое в мире, и пока единственное, теократическое государство, в котором пока соблюдаются и охраняются права человека.

Мы живем в эпоху постепенного преобладания авторитарных, теократических систем во всем неевропейском (а может быть, скоро и в европейском?) мире. В эпоху, когда экономическое процветание западных демократий уже не заглушает сосущего чувства бесцельности существования, охватывающего секуляризованные общественные группы. Демократические общества живут, чтобы жить. Они развиваются вовсе не потому, что ставят себе такую цель. И жизненный уровень их граждан повышается не в ответ на требования справедливости. Растет ли это благополучие или убывает, всегда находится множество общественных групп и отдельных граждан, готовых разрушить все здание ради какой-нибудь зажигательной идеи. К счастью для всех, у большинства сытое брюхо к идеологическим учениям глухо. Но надолго спокойствие не обеспечено нигде.

Израиль — идеологическое государство. Это пока единственное в мире идеологическое государство, в котором идеология не пожирает своих последователей.

В одном из своих выступлений в защиту православной автократии в России А. Солженицын привел Израиль как пример религиозного государства, в котором тем не менее нет ущемления человеческой свободы и ограничения прав. «Религиозное государство, — сказал он, — вовсе не обязательно означает тоталитарный режим». На первый взгляд это кажется верным. Но давайте представим себе, что все это происходило бы лет семьдесят назад. Разве не с тем же правом Вл. Ленин указывал бы нам сейчас на Израиль, как страну, доказавшую, что социализм вовсе не означает разбой и рабство? Он мог бы сказать, что «из этого частного примера мы можем заключить о возможности социализма с человеческим лицом». Мы все немало посмеялись в свое время над этой формулировкой, содержащей в себе свое отрицание. Но такой социализм в самом деле существует в Израиле, и, что бы о нем ни думать, невозможно отрицать, что у него, в общем, человеческое лицо.

То, что вдохновило Солженицына в Израиле, противоречит нашей обычной логике. То, что вдохновило бы Ленина семьдесят лет назад, противоречит также и всему нашему жизненному опыту. То, что происходит в Израиле, не случается больше нигде. И никаких других примеров ни Солженицыну, ни Ленину привести бы не удалось. То, что не имеет прецедентов, является исключением, а не правилом.

Единичный случай, исключение, всегда бросает новый луч понимания на общее правило. Если случилось так в мире, что страна без конституции вполне демократична, следует задуматься: в конституции ли тут дело? А уж тогда вспомним, что и на родине демократии, в Англии, с конституцией дело обстоит неважно (она была принята во времена войны Алой и Белой Роз, то есть, кажется, в XIII веке), да и Сталинская конституция была не худшая в мире — а что толку? Если в нашем теократическом государстве общество пока остается свободным, следует задать вопрос: **а почему оно не бывает свободным в других идеократических государствах?**

Я боюсь, что мой ответ огорчит равно и сторонников, и противников идеологического государства, и оттяну его еще на полстраницы.

Теоретически может быть только два ответа. Либо господствующие теологии других обществ почему-то не позволяют свободы, то есть сам характер их религий препятствует свободе личности. Мусульманство, допустим, хуже христианства. Католичество жестче протестантизма. Но тогда пришлось бы признать, что почти все идеологии в той или иной мере препятствуют свободе, ибо можно набрать много соответствующих примеров для каждой из них. И тогда напрашивается противоположный ответ, состоящий в том, что сами эти общества неспособны к свободе, то есть характер их членов препятствует осуществлению ими свободы при любой мыслимой идеологии. Так что ничего удивительного нет в том, что Свободное Государство Ирландия остается полуфашистским, несмотря на свое название и демократическую конституцию, а Объединенное Королевство свободно, вопреки своему аристократизму и отсутствию конституции.

Однако и это ведь не все. Существует еще такая вещь, как взаимодействие идеологии со своими носителями. Любой народ и любая группа неизбежно деформируют идеологию, которая становится их собственной. Башмак всегда стопчется по ноге.

Теперь я действительно приближаюсь к ответу. Мы живем в такое время, когда любая идея имеет шанс осуществиться и любая группа людей имеет шанс основать новое общество. В наше время нет сомнения, что именно сознание определяет бытие. Так как это по преимуществу массовое сознание, нет сомнений также и в том, что из всех возможных идей оно выбирает наихудшие. Массы во всем мире так трактуют теории, идеологии и религиозные системы, что и самые невинные идеи оказываются безумными руководствами к действию. Идея христианского братства не обязательно должна была привести патера Джонса в Гвиане к массовому убийству.

Возможно, и национализм немцев или турок содержал что-нибудь еще, кроме кровожадности. Даже оголодавший призрак коммунизма не был так страшен, пока он еще бродил только по Европе и не забрел в Азию. Может ли быть что-нибудь более безобидное, чем пластиковый мешок для упаковки овощей? Все ли знают, что десятки тысяч людей (детей по преимуществу) были убиты красными кхмерами в Камбодже, удушенные с помощью обыкновенных торговых пластиковых пакетов, надетых на голову? Будем ли мы винить марксизм в этом преступлении или изобретателя пластиковых пакетов? Башмак стаптывается по ноге. Марксистский сапог и националистические лапти равно не в силах скрыть хамские копыта, особенно если они подкованы железом.

Историческая удача сионизма, везение и благословение состоят в том, что в течение многих лет он был движением меньшинства. Как и еврейство в целом, сионизм испытывал на себе благотворное влияние селекции, порожденной трудностями. Быть сионистом было так трудно, что процент отсева иммигрантов, вызывающий гнев Сохнута сегодня, показался бы замечательным успехом идеологии для знаменитой Второй алии, основательницы и вдохновительницы еврейского Государства. Триста воинов оставил Гидеон из всего своего войска, чтобы справиться с десятитысячным врагом. Это и есть принцип, который спасал и облагораживал сионизм как идеологию, вплоть до образования государства. Какие бы достоинства у этой идеологии ни были, не они возвысили до самостоятельного существования в истории людей, положивших начало еврейскому заселению Палестины. Напротив, люди эти своим героическим служением возвысили свою идеологию от банального национализма, столь общего многим народам в конце девятнадцатого столетия, до уникального мессианского движения, имеющего всемирное значение.

Тридцать лет затем не было отбора в этом обществе. Тридцать лет после провозглашения государства любой еврей мог сюда при-

ехать и выкомаривать здесь, что хотел, по мере понятия своего. Тридцать лет все твердили, что мы такой же народ, как все, и только причудливые люди в старомодных костюмах что-то говорили об избранности, в каком-то невнятном смысле. Тридцать лет было не принято напоминать о Долге, об Идеологии, о Высших ценностях. Может быть, потому, что эти ценности еще сохранялись среди членов общества, построенного на жестком отборе? Может быть, потому, что результаты отбора еще не успели раствориться.

Я не знаю, можно ли назвать сионизм религией, но несомненно, что это вера. Т. Герцль, Х. Вейцман и другие сионисты с международным признанием так красноречиво доказывали всему миру, что мы — такой же народ, как все, что — не мир, конечно, но многие из нас — в это поверили. Жаботинский потратил такую бездну таланта, чтобы убедить нас в нашей заурядности, что и возражать как-то неудобно. Советские власти так упорно доказывали, что евреи — не народ, что доказать обратное стало просто необходимо. Немцы так последовательно уничтожали евреев, как вредную расу, что многие поверили также и в то, что мы раса.

Но я подозреваю, что оболочка национализма, которую принимает порой сионизм в писаниях своих идеологов и оправдательных речах израильского представителя в ООН, есть всего лишь весьма понятная психологическая защита от ужаса своей уникальности. Так Иона, услышав Глас небесный, повелевший ему пророчествовать, «встал и побежал от лица Господня», ибо ничего хорошего для себя не предвидел от этой почетной миссии. Так сионистские политики и публицисты прячутся от ответственности и самих себя, выдумывая свой национализм или социализм, лишь бы не признать единственность и универсальное значение своего движения. В самом деле, не может же респектабельный господин, скажем Аба Эвен, хорошо принятый среди других респектабельных господ, скажем Ф. Миттерана и Б. Крайского, вдруг после пения «Интернационала» встать и заявить, что он верует, будто

Бог избрал нас и заповедал заселить Святую Землю, что наконец исполнились сроки древних пророчеств и именно на этой земле окажется возможным все то, о чем тысячелетиями тщетно мечтало человечество, каковую мечту, кстати, означенные Ф.Миттеран и Б. Крайский незаконно узурпируют под названием социализма. Да если бы он и смог, его бы немедленно в психушку увезли! Его собственные товарищи по партии.

Но, по зрелом размышлении, чем еще отличается Аба Эвен от Бруно Крайского? Действительно ли они принадлежат к одному народу? Несомненно. Принадлежат ли они к одному движению? Возможно. Но важнее всего, что они — разной веры. И эта вера создает между ними непроходимую пропасть.

Вера, что еврейский народ избран и призван, вера в то, что если евреи создадут свое государство, это будет государство особое — светоч для народов, вера в то, что, если это случится, мир переменится, эта вера так близка к народной вере, что непонятно, почему сионизм долгое время считался светским движением. Это несомненно было связано с некоторой идеологической застенчивостью. Социалисты тридцать лет предпочитали говорить, как их европейские коллеги, — полупшепотом.

М. Бегин стал первым политиком в Израиле, который позволил себе говорить на международном уровне как власть имеющий. Он воспользовался мессианской потенцией сионизма и неожиданно для всех преуспел в своем народе. Тридцать лет этой жажде не было никакого утоления. Народ ухватился за знакомую от дедов идею избранности, как утопающий хватается за соломинку.

Народ, занесенный сюда ветром погромов, согнанный преследованиями, укрывшийся от конкуренции в жестоких демократических странах, — это был уже не тот народ, который может обогатить и украсить идеологию. Этот народ хотел, чтобы его наставляли и воспитывали. Он не был готов к свободе. Его угнетали вседозволенность и всепрощение. Народ, набежавший из самых

глухих углов цивилизованного мира, учившийся демократии у турок и румын, русских и берберов, вряд ли обнаружит демократический дух и самодисциплину. Такой народ нуждается в основаниях для самоуважения. Он в восторге ухватился за идею, льстящую его самолюбию. Может быть, он даже готов ради этого самолюбия на некоторые жертвы.

Мы поистине посетили сей мир в его роковые минуты. Мы увидим реальный выбор. До сих пор естественный отбор поддерживал нашу избранность. Теперь мы увидим, может ли идея избранности привести к поддержанию правильного отбора. Теперь мы увидим, содержала ли сионистская идея онтологическое зерно, способное укорениться в действительности.

Сионизм впервые стал идеей большинства. Чтобы доказать свою избранность, еврейский народ должен показать теперь, что именно в большинстве он далек от общего хамства. Сионизм впервые имеет возможность руководить большинством и показать, что это руководство способно привести к отличным от других идеологическим результатам. Наше будущее не обеспечено. Наша группа — русские евреи — не самая демократическая в израильском обществе. Но — самая неопытная. Наше участие неминуемо. Наша роль еще не предрешена. Каждый из нас будет ее импровизировать. Из суммы этих ролей сложится будущий облик Израиля.

Из суммы наших поражений может сложиться его будущее поражение.

БРЮССЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В 1976 Всемирный Еврейский Конгресс для поддержки еврейского национального движения в России собрал специальную Конференцию в Брюсселе. Мне предложили сделать доклад от имени Московской группы ученых-отказников, лишенных возможности самим участвовать в Конференции. После прочтения моего доклада покойный Яков Яннай — бывший рижский еврей, игравший роль идеолога в узком кругу рыцарей Сионистского заговора — сказал: «Да, Саша, депутаты Конференции, конечно, ни слова в вашем докладе не поймут, но им польстит, что у еврейского народа в России есть такие умные лидеры».

На этой Конференции мне привелось познакомиться с Голдой Меир и ощутить исходившее от нее духовное излучение. Во время нашего разговора наедине, она, собственно, ничего значительного не произнесла, но обаяние ее личности не требовало словесной коммуникации и преодолевало ее зримую старческую немощь. Поговорив с ней 15 минут, я впервые ощутил, что такое «харизма» — мистическое понятие, которым часто пользуются социологи, чтобы объяснить с его помощью то, что не имеет рационального объяснения.

На Конференцию приехала и небольшая, неофициальная делегация от России. Их было трое — Аарон Вергелис, редактор журнала «Советише Геймланд» на языке идиш, Марк Гофман — бывший летчик, дважды герой Советского Союза, и анонимный полковник, явно славянского происхождения, который все время молчал. Я уже не помню по какому признаку всем было как бы ясно, что он именно полковник. Журналистка «Буена Сера» — большой итальянской газеты — устроила встречу-дискуссию этой «делегации» со мной и Женей Левичем, как представителями нашей группы «отказников».

Во время этой встречи Вергелис пытался доказать нам (не столько нам, сколько журналистке) что в СССР, в сущности, нет антисемитизма: «ну, разве, чуточку — не бывает ведь все полностью идеальным», Гофман энергично кивал, а белокурый полковник хмуро прислушивался. Мы с Женей эмоционально возражали, исходя из скудной официальной статистики и богатого личного опыта. Вергелис решил тоже обратиться к личному опыту и сказал: «Вот, я, например — угадайте, как началась моя карьера?»

Меня подхватила волна вдохновения, и я наугад выпалил: «Ваша карьера началась в 1948 г., когда вы выдали своих друзей, еврейских писателей, и стали единственным в СССР живым еврейским поэтом на идиш.»

Тут вдруг, совершенно неожиданно, молчаливый полковник громко рассмеялся! Его лицо прямо прояснилось, и он стал выглядеть просто улыбчивым русским парнем, случайно затесавшимся в чужую компанию. Журналистка записывала все на кинолентку. Вергелис не смутился, строго взглянул на полковника и коротко сказал: «Ничего подобного. Просто в 1948-м было впервые опубликовано мое стихотворение».

Я понял, что у себя в КГБ он не меньше, чем генерал, и веселого полковника, возможно, еще ожидают служебные неприятности. Впрочем, прощаясь, Вергелис неожиданно шепнул мне на ухо: «Да вы не волнуйтесь, всех ваших скоро выпустят.»

Во время Конференции ко мне опять вернулось чувство, оставившее, было, меня после Москвы, что я являюсь объектом чьего-то повышенного внимания, иными словами, что за мною ведется слежка. Утром мне из Тель-Авива позвонила Неля и обиняками дала понять, что ее посетил сотрудник безопасности и предупредил, что КГБ специально послал кого-то из России для встречи со мной. В тот же день на Конференции появился хорошо мне знакомый советский писатель И. Д. К. и радостно сообщил, что ему «случайно удалось вырваться к далекому родственнику в Брюгге, и он решил рискнуть и приехать в Брюссель, хотя и почти незаконно, без паспорта (только с «лессе-пассе»), чтобы заодно встретиться со мной».

«Но ведь это для вас опасно, здесь наверняка есть агенты, которые сообщат в Москву, с кем и как вы встречались...»

«Однаво живем!» — лихо ответил обычно очень осмотрительный И. Д.

Я понял, что слежка действительно была, но неизвестно с чьей стороны. Интересно, это чувство действительно возникает от направленного чужого внимания или просто от неотмеченных сознанием случайных наблюдений? Ведь мы фактически видим гораздо больше, чем осознаем.

И. Д. сказал, что интересуется возможностью сделать алию в Израиль. Я обрадовался предлогу спихнуть его израильскому агенту безопасности, который, конечно, оказался тут как тут и был счастлив с ним познакомиться и дать ему исчерпывающую консультацию. Они проворковали как голубки всю Конференцию, а я с радостью оставил их одних и уехал в Париж встречать Нелю.

Каково же было мое удивление, когда И. Д. появился и в Париже, да еще в доме у Синявских...

А как же вам удалось пересечь границу с вашим «лессе-пассе»? — «Я проехал через границу незаметно. Меня не проверили.»

Он еще и потребовал сфотографироваться с нами на память, «чтобы показать друзьям» (может быть, отчитаться?), смело пренебрегая опасностями, якобы ожидавшими его в Москве.

На следующий же день израильский сотрудник посольства объявил, что мы должны срочно отправиться в Лондон на какую-то пресс-конференцию. Поскольку вся эта поездка осуществлялась за счет Министерства Иностранных Дел, я не считал себя вправе капризничать и полетел в Лондон.

В лондонском отеле в семь утра нас разбудил посыльный из посольства и сообщил, что план пришлось изменить, потому что нас срочно ожидают в Риме, и это так важно, что Лондон придется отложить. Мы опять покорились и полетели в Рим...

Через неделю, вернувшись в Тель-Авив, мы нашли дома открытку от И. Д. с недоумевающим вопросом: «Куда вы делись? Я обыскал весь Лондон в надежде еще пообщаться.» Значит, со своим волшебным «лессе-пассе» он успешно перебрался и через Ламанш! Его не проверили и там! Нам стала как-то понятнее странная нервозность израильских посольств в планировании наших визитов. Неля никак не могла забыть недавнюю историю отравленного зонтика, с помощью которого в Лондоне агентами спецслужб был убит болгарский диссидент.

АНТИСЕМИТИЗМ ГЛАЗАМИ ИЗРАИЛЬЯНИНА

Вспомним молодость. И ее песни:

*«Сарра, не спеши, дорожку перешла.
Ее остановил милиционер:
«Свисток не слушали, закон нарушили,
Платите, Саррочка, штраф — три рубля!»
«Ну, что ты, милый мой! Ведь я спешу домой.
Сегодня мой Абраша выходной...
Я никому не дам, все съест родной Абрам,
А курочку разделим пополам...»*

Даже короткого пребывания в израильском гражданстве достаточно, чтобы почувствовать, как изменяется в тебе отношение к антисемитам и антисемитским шуткам. Ну, перешла Саррочка дорожку, ну и что? Песенка про беззаветную преданность Сарры своему Абраму, которая почему-то оскорбляла нас в России, вдруг показалась мне почти трогательной. Если бы только имена Абрам и Сарра не резали слуха русскому читателю, эта простая история, возможно, заняла бы свое скромное, но достойное место в заднем ряду других шедевров мировой литературы, посвященных идиллическим парам: Дафнис

и Хлоя, Филемон и Бавкида, Фархад и Ширин, наконец... Раздобудь Ширин шашлык для своего Фархада, разве она поделила бы его с первым встречным милиционером?

В Израиле, где Абрам и Сарра звучат ничуть не иначе, чем Иван да Марья, начинаешь чувствовать, что если бы антисемитизм оставался неразделенным чувством, он не смог бы задеть нас столь основательно, как это было в действительности. То есть без нашего психологического соучастия, готовности «понять», он не казался бы столь оскорбительным. Опасным — конечно — несправедливым — большей частью, но вовсе не унижительным. Ведь песенка про Саррочку оскорбительна русскому еврею только потому, что она довольно верно воспроизводит портретные черты его нерусского предка. Так называемого «местечкового» еврея, сходства с которым он привык стыдиться. Ведь еврей в России был склонен стыдиться, что отца его некрасиво звали Абрамом. Что мама живот готова была положить, чтоб в доме была курочка. Что родители не угощали направо-налево соседей, как делают русские люди в патриотических кинофильмах, на которых мы были воспитаны. И разве не стыдно того, что родители относились друг к другу по-человечески? Мещанская сентиментальность! Какая еще сентиментальность возможна между Абрамом и Саррой? Вот купила бы она чекушку! А верный Абрам, ставший Аркадием, выпил бы ее с соседом и подрался — такая песня была бы не антисемитской, и она не искаженно отражала бы дорогой нам всем образ советского еврея:

Раз пошли на дело, я и Рабинович.

Рабинович выпить захотел...

Все, как у людей.

Говорят, с помощью логики все можно доказать. И все опровергнуть.

Ничего подобного. Никакой логикой не докажешь израильтянину, никогда не жившему среди других, что антисемитизм может его

унизить. Также невозможно опровергнуть тот, уже случившийся, факт, что существование Израиля проблему антисемитизма снимает. Антисемитизм остается, как был. Но проблемы больше нет...

Как-то в приморском кафе в Тель-Авиве, я оказался свидетелем такой сценки. За одним из столиков сидел здоровенный американец, по виду мексиканского происхождения, набравшийся уже настолько, чтобы начать приставать к окружающим. Он спросил израильтянина, сидевшего за соседним столом: «А ты откуда?» Тот ответил, что родился в Израиле. «Но ты совершенно не похож на еврея!» — радостно загоготал американец, воображая, что делает парню роскошный комплимент. — «Надеюсь, ты не хотел меня этим обидеть...» — с угрозой сказал израильтянин, и американец ошеломленно захлопнул рот.

Конечно, израильтянин может заметить антисемитизм — он не слепой. Но он не может проявить того «понимания», которое дает возможность еврею страдать, а антисемиту получить свое моральное удовлетворение. Израильтянин не найдет в собственном опыте никаких оснований оскорбиться при разговоре о еврейских недостатках. Он даже может многое добавить от себя. Антисемитские карикатуры понятны только людям из диаспоры, которые там вместе с коренным населением знают, как они безобразны. Евреи из Израиля не видят ничего некрасивого в крючковатых носах и выпуклых глазах. Некоторым даже нравятся толстые губы. Однако главное не в этом. Антисемитизм не волнует израильтян прежде всего потому, что он никак не может им повредить.

И это быстро усваивают новые израильтяне. Так уж мы, все люди, устроены. Нас волнует по-настоящему только насущное. Из этого тривиального соображения вытекает нетривиальное следствие: у проблемы антисемитизма существует решение.

Я не стану утверждать, что это решение для всех. Например, тот факт, что пять миллионов евреев в Израиле уже не реагируют

на антисемитизм, нисколько не облегчает ежедневных страданий миллионов антисемитов, по-прежнему видящих более чем достаточно евреев вокруг себя. И у них, антисемитов, пока нет выхода. Возможно, и сами эти евреи не полностью счастливы в диаспоре. Однако у них выход есть...

Проблема, которая имеет решение, уже не проблема, так же, как и трагедия со счастливым концом уже не может считаться трагедией. Жизнь всякого человека на земле трудна, но трагедией ее делают только Непреодолимые Обстоятельства. Рок и Страсти ведут к Гибели. Погромы и Катастрофа сообщают еврейской судьбе трагический оттенок. Но если есть выход, в чем трагедия? Если нет неразрешимости, в чем проблема? Еврейское государство было создано, чтобы дать приют беглецам, которым было некуда бежать. Если бы у слова «некуда» был в те времена какой-нибудь переносный смысл, еще неизвестно, как бы обернулось дело...

Я также не могу сказать, что Израиль, во всяком случае — в том виде, как он есть, является наилучшим решением еврейского вопроса. Несомненно, что в диаспоре есть евреи, которые знают лучшие решения. Например, несколько лет назад в редакцию «22» (см. «22», № 32) поступила из Мюнхена книга Б. Ефимова «Новый Израиль для территориалистов».

В ней набрасывалась заманчивая альтернатива.

Там предлагалось построить плавучий остров, размером с Израиль, который будет плавать по морям, выбирая климат согласно результатам референдума среди его жителей и давая евреям возможность пожить в наилучшее время года то в Европе, то в Америке. Все равно в Израиле нет полезных ископаемых (кроме костей предков). Заодно отпадет проблема границ и территорий, а также смежные проблемы военной службы и взаимоотношений с арабами. Зато пышным цветом расцветут еврейские таланты, которые, конечно, обеспечат высочайший в мире жизнен-

ный уровень... При первых признаках появления антисемитизма в пунктах причала, остров разводил бы пары и отплывал к более гостеприимным берегам... У такого проекта почти нет недостатков, в отличие от Израиля, который имеет их в изобилии. Однако если обсуждать только то, что существует, приходится признать весьма несовершенный Израиль реальным (то есть тоже, в сущности, несовершенным и пока единственным) решением еврейского вопроса.

Решение одной проблемы всегда ведет к возникновению новых проблем. Освободившись от проблемы антисемитизма, израильтяне по горло завязли в проблемах, которые наши предки ввели коренному населению антисемитских стран.

И тут у многих израильтян возникло искушение подумать, что, быть может, и не всегда или не полностью были неправы отдельные антисемиты в отношении отдельных, нетипичных евреев, которые мешали им, антисемитам, решать их отдельные проблемы. Проще говоря, когда из привычного состояния в меньшинстве, ты вдруг ощущаешь себя принадлежащим к большинству, ты и мыслить начинаешь иначе, в соответствии с ролью и интересами большинства.

Если социальная проблема меньшинства состоит в том, чтобы улучшить свое положение в составе общества, проблемы и ответственность большинства гораздо шире (и потому неизмеримо труднее) и относятся к устройству и существованию общества в целом. Проблемы меньшинства известны и хорошо изучены. В идеале меньшинство завоевывает себе все то, что уже есть у большинства.

Как сказал достигший в России признания поэт М. Светлов от имени русских евреев: «Чего они еще от нас хотят? Мы уже пьем, как они». Проблемы же большинства беспредельны и задачи неясны. Идеал для большинства не поддается определению и зависит от веры. Как сказал другой поэт: «Умом Россию не понять...

В Россию можно только верить». Он хотел намекнуть, что Светлов выполнил еще не все условия, необходимые, чтобы слиться с большинством населения России.

Меньшинство получает свою награду или поношение от своего большинства. А чей суд свершается над большинством? Стоит ли упоминать все? Тем более что во многих исторических случаях этот суд еще не свершился.

Еврей в диаспоре, хочет он того или нет, противостоит всего лишь обществу, в котором живет. Правота в спорах с людьми слишком легко ему дается. Даже будучи побиваем и несправедливо оскорблен, он оказывается прав вдвойне, ибо еще и осуществляет на деле христианский идеал распинаемой правоты. Это противостояние, справедливо или нет, дает внешнее основание для антисемитизма.

Прав ли был Иаков в споре с Лаваном? Был ли он виновен перед братом своим Исавом? По-человечески их спор мог быть решен и так, и этак. Пока Иаков не остался один, пока своей борьбой в одиночку он не подтвердил завета, заключенного с предками. Только этот Завет поставил его правоту выше житейских расчетов. Он должен был остаться один, чтобы встретить истинное свое предназначение. Он остался один, чтобы легкость межчеловеческих споров не увела его от призвания. Еврей в Израиле, вместе со всеми соплеменниками, остается, наконец, один...

Человек из диаспоры теперь тысячу раз подумает, прежде чем предпочтет сменить свои знакомые, наболевшие проблемы на свежие проблемы израильтянина. И он будет прав. Думать, вообще, полезно. А вот пожаловаться больше никому...

Распалась связь времен. До 1948 года всегда можно было пожаловаться на антисемитизм. И найти понимание. По крайней мере, среди своих. После 1948-го, попробуй, пожалуйся — свой же брат-еврей тебе под нос сунет: «Ну, и поезжай в Израиль!»

Что же ему ответить?

Кто бы мог подумать о таких необратимых последствиях реализации права на самоопределение? Кто бы предположил, что получив, вдобавок к остальным правам, право на самоопределение (что есть безусловное благо), мы потеряем часть душевного комфорта, связанного с возможностью винить других во всех наших бедах?

Не к тому ли сводились и некоторые из антисемитских претензий?

Такая же опасность, кстати, таится и в реализации всех остальных «прав человека». И нет ли заметной доли правоты также и в претензиях охранителей к диссидентам?

ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ

Хотя с марксистскими иллюзиями я расстался еще в детстве, все же у меня сохранялось представление об историческом процессе, как о чем-то объективном, определяемом вескими причинами. Познакомившись со свободным миром вблизи и прочитавши некоторое количество исторических книг независимых авторов, я почувствовал, что и это не более, чем иллюзия.

Мое поколение воспитывалось на героической картине Гражданской войны, которая изображалась чуть ли не праздником свободы и торжеством справедливости. Сегодня каждый из нас мог по телевизору увидеть сербско-боснийскую резню, гражданскую войну в Руанде или «освободительную» войну в Косово и составить собственное суждение о мере справедливости, сопутствующей такому способу решения социальных конфликтов. Свободная печать, которая появилась, наконец, в России, познакомила читателей и с реальным психологическим обликом «комиссаров в пыльных шлемах», вызывавших когда-то поэтический восторг романтиков.

Практика XX века, вопреки убедительным теориям экономистов и политологов, настойчиво подсказывает весьма скептический взгляд на якобы решающую роль не только «производительных сил и производственных отношений», но также и «классовых и национальных

интересов» в современной истории. Гораздо более значимыми в наше время зачастую выглядят борьба «характеров», спонтанно или целенаправленно сложившихся «клик» и их локальных «культур», так что скорее факторы сознания определяют бытие, чем наоборот. Причем эта борьба приобретает все чаще характер настоящей войны (революции) с кровавыми жертвами и угрозой существованию сложившихся государств. Скажем, даже многие соратники Арафата (а также и Милошевича) сквозь зубы признавали, что его действия зачастую не идут на пользу их «многострадальному народу», однако «что ж поделаешь?». И политические советники глав правительств неоднократно признавали, что не могли разгадать его «характер». Но ведь исходно речь, кажется, шла о «справедливых требованиях палестинского народа»? При чем же тут личный характер?

Бросается в глаза, что правящие элиты всех демократических стран заинтересованы сегодня в сохранении мира любой ценой и часто готовы на серьезные уступки, а добровольческие, радикальные группы на всех (и, особенно, неблагополучных) территориях, которым нечего терять, кроме пособий по безработице, готовы на смертельный риск и длительное напряжение, чтобы со временем превратиться в правящие элиты своих простодушных народов. В конце концов, по нашему российскому прошлому мы знаем, что с помощью террора от народа можно добиться желаемого результата даже и при тайном голосовании.

Британское правительство, например, сбивалось с ног в надежде приостановить кровопролитие в Северной Ирландии, а лидеры террористических организаций, напротив, были безмятежно спокойны. Им не приходилось опасаться, что избиратели за них не проголосуют. Министерские посты в будущем ирландском правительстве им были заранее обеспечены. Наивный человек может спросить: А если выборы все-таки окажутся не в их пользу? — Что ж, тем хуже для избирателей. Война ведь будет продолжаться

до победного конца. Т. е. она будет продолжаться до такого решения проблемы, которое именно они, террористы, а не кто-нибудь другой (хотя бы и любимец избирателей, — он разве неуязвим?) сочтут справедливым. Число же убитых (фактически случайных прохожих) в ходе этого «мирного» процесса (сейчас и в будущем, протестантов или католиков) вряд ли скажется на их политической карьере. Не забудем, что и Ясир Арафат положил начало своему прочному положению лидера (не только в своем народе, но и в мировом общественном мнении), в основном, не убийством враждебных евреев, а предварительным истреблением несогласных среди дружественных палестинцев.

Во многих странах таких вождей и их клики зовут революционерами. На днях и в парламенте нашей страны прозвучал страстный призыв (партии ХАДАШ — коммунистов!) не считать террористами людей, которые убивают всего лишь только солдат нашей армии (может быть, еще и министров?).

Нельзя сказать, что всякие там «классовые интересы» вообще никак себя не проявляют. Но по мере роста современных обществ мы ясно видим, как острота классовых, национальных (и всяких иных социальных) противоречий снижается до уровня, на котором личные страсти и преданность своим группам весят куда больше. Тогда сами эти «классовые» или «национальные» интересы начинают служить случайным страстям и случайным лицам (или группам) только поводом для достижения их собственных целей.

В какой-то степени и всегда так было. Ведь революционеры тоже люди, и ничто человеческое...

Правящие элиты почти всех стран «третьего мира» состоят сегодня из «революционеров», т. е. людей, захвативших власть сравнительно недавно разными силовыми методами и склонных к военным действиям по тем или иным поводам. Те из них, что пришли

к власти более легитимным путем (например, Марокканский или Иорданский король) более других склонны к мирному разрешению конфликтов.

Собственно, сами народы, как правило, столь смутно сознают свои интересы, что их воля играет глубоко второстепенную роль во всех реальных событиях. Да у них никто и не спрашивает. Народная воля даже в самых демократических странах есть в значительной степени вещь в себе. Но во всех обществах являются представительные группы, которые охотно берут на себя смелость (и ответственность!) выступать от имени народа. Как правило, они берут на себя эту роль самозванно.

Конечно не народные избранники так упорно воюют в Чечне, в Косово, в Конго и в Афганистане. И палестинский народ, конечно, не поручал своим героям под шумок «борьбы с сионистским агрессором» присваивать международные средства, щедро выделяемые на «мирный процесс». Какой процент «палестинских бойцов», прибывших из Туниса на территорию Автономии вместе с Арафатом, имел какое-либо отношение к Палестине, останется навсегда неизвестным.

Как и происхождение воинственных боснийских мусульман. Люди, имевшие дело с пленными палестинскими боевиками, захваченными во время Ливанской войны (1982 г.), рассказывали мне, что примерно треть из них были родом из Ирана, Ирака, Пакистана и даже из Греции. Эти примеры позволяют совсем по-новому взглянуть на современную проблему войны и мира, а может быть и на движущие пружины истории вообще.

Никто не уполномочивал в России Герцена или, еще раньше, декабристов вступаться за народ. Еще меньше полномочий было у известной организации с громким названием «Народная Воля». Как скромно написал в своих воспоминаниях Михаил Гоц, по общему мнению «бывший душой этой организации», а затем и одним из основателей столь же «народной» партии эсеров: «...Мне всегда

было неловко с народом, я не умел говорить с ним и приспособляться к его взглядам.»

Выступления народолюбцев надоумили и царскую администрацию выступить от имени народа с известной программой «Превославия, Самодержавия и Народности» — с равными основаниями, хотя и с далеко превосходящими возможностями. Когда эти их возможности были окончательно подорваны неудачными войнами, бесконтрольностью и коррупцией, очередная самозванная группа «рабочих и солдатских депутатов» захватила государственную власть.

Таких групповых самозванных претендентов на власть в то время в России было несколько. Но другие группы, и в частности, эсеры (см. выше признание их основателя), не сумели проявить такой волчьей хватки. Их организации не имели такой армейской структуры. Их сторонники не были в такой степени готовы на все. Их лидеры были слишком разборчивы... Или недостаточно талантливы...

В общем, им не повезло.

Вопрос о власти решался вовсе не поддержкой классов и интересами масс, а самоуверенностью вождей и способностью их сплотить вокруг себя компактную группу беззаветных сторонников. Немногие из большевиков, конечно, были рабочими или солдатами, но все они были готовы рисковать головой, своей и чужой, чтобы следовать бредовым директивам своей партии, т. е. перекроить все основы общественной жизни в духе мафиозной групповой культуры, сложившейся среди них за годы подпольной борьбы. Возможно, Ленин был действительно талантливым вождем.

Здесь кажется весьма уместной идея Льва Гумилева о консорциях — сплоченных группах пассионарных индивидов, то и дело как бы случайно возникающих в обществе. Обычно, это случается в обществе, приближающемся к критической точке устойчивости. В окрестности такой точки повышается вероятность и размах

флуктуаций (т. е. спонтанных отклонений от состояния равновесия). Такая группа, несущая новый стиль поведения в обществе, порой превращается в потенциальный зародыш нового этноса:

«Формирование нового этноса зачинается непреодолимым внутренним стремлением к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной, представляется самому субъекту ценнее даже собственной жизни... Начав действовать, такие люди вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью и исторической судьбой. Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов...» (Л. Н. Гумилев «Этногенез и биосфера Земли», Ленинград, 1979.).

Это процесс природный, зависящий от случая, и сам факт возникновения таких пассионариев (и их групп) не зависит от окружающего общества и его культуры, но цели и формы их суперактивности, конечно, определяются культурным и моральным состоянием их окружения и исторически сложившейся обстановкой.

Одних такая суперактивность захватывает, а другим претит. Пассионарии преуспевают, если им удастся не только поразить воображение окружающих, но и в чем-то заразить их своей страстью. Народ, конечно, выбирает кем восхищаться и кого презирать. Но его выбор ограничен тем, какие элементы своей культуры он выбирает для ориентации в текущем моменте.

Конечно, группа импрессионистов вряд ли могла быть замечена в стране, где живописи не придавали такого значения, как во Франции. Былая разбойничья доблесть викингов не ценится теперь даже и в Скандинавии. Много чего и хорошего, и плохого есть в каждой культуре. Но, хотя выбор модуса поведения (в том числе и такого, например, как в пушкинской драме: «...народ безмолвствует...»), характерного для каждого момента истории

действительно определен народным вкусом и настроением, само историческое действие целиком лежит на совести отдельных людей.

Трудно утверждать, что это вполне ново для нас.

Вот, что говорит, например, о государствах кочевников специалист-историк (Е. Прицак):

«Когда в степи появлялся талантливый организатор, он собирал вокруг себя сильных и преданных людей, чтобы с их помощью подчинить свой род, а потом племя... Потом он предпринимал со своими людьми разбойничьи походы. Если они протекали успешно, то следствием было присоединение соседних племен...»

Т. о. это всегда было делом личной инициативы и удачи, — исторической случайности. А где правит удача, там всегда есть место подвигу... Некий Хлодвиг, например, будучи вождем германского племени франков в VI в., при разделе добычи в ответ на возражение соплеменника разрубил его пополам одним ударом и, т. о. заложил основу государства, которое затем десять с небольшим веков якобы стояло на страже классовых и национальных интересов народа, до сих пор называемого французским. Конечно этот подвиг Хлодвига был не единственный, но все остальные его дела не имели бы никакого влияния на дальнейшую историю, если бы он не решился на этот свой первый шаг.

Все же вера в объективный процесс истории до самой середины XX века не меркла в сердцах историков и могла бы сравниться только с привычным убеждением в конечной победе добра над злом. Эта вера (вместе с упомянутым убеждением) укоренена в основах иудео-христианской цивилизации, в пределах которой мы живем, и ее утрата небезразлична для нашего самочувствия.

Настроение интеллектуальных кругов в девятнадцатом и даже в начале двадцатого века вообще склонялось к поискам объективных закономерностей и основательных причин равно для исторических событий и субатомных движений. Идеи Карла Маркса,

что бы теперь про них ни говорили, очень хорошо отвечали этой потребности.

Живя теперь в обществе с кейнсианской экономикой, покупая втридорога какие-нибудь фирменные джинсы, поневоле вздохнешь с ностальгическим чувством по объективной теории стоимости или представлению об историческом процессе как воплощению прогрессивной поступи производительных сил. Хорошо было теоретизировать, когда понятие всеобщего прогресса еще не было отменено!

Правда, уже тогда было неясно, какие собственно производительные силы открылись у диких орд готов, гуннов и вандалов, затопивших Европу в пору падения Римской империи. Воинственные варвары ведь потому и были воинственны, что не умели толком себя прокормить и профессионально промышляли разбоем (см. выше о степных кочевниках, викингх и прочих героях). Грабеж они понимали как преобладающую форму производственных отношений и буквально во всем зависели от побежденных, поскольку друг у друга им было нечего взять. Но то была древняя история...

Концепция объективной поступи истории («историцизм») была в середине XX века сильно поколеблена возвышением Гитлера. Никакая объективная причина не толкала Германию к войне и уничтожению евреев. Никакой объективной причины не было и для войны СССР в Афганистане. Также не было объективной причины и у правительства Аргентины затевать войну с Англией из-за пустых Фолклэндских островов. Однако эти войны значительно повлияли на ход исторических событий. К сожалению, они все еще не окончательно убедили жителей демократических стран, что мир на самом деле может быть прочно обеспечен только их постоянной готовностью к войне.

Существует ли в этом безбожном мире реальная причина для вражды католиков и протестантов? И разве только в Ирландии? Если это связано с разницей в уровне жизни, поможет ли здесь террор?

В странах с неустановившейся демократической традицией и, особенно, в периоды неразберихи, смут и катастроф, чаще других побеждают самые агрессивные, наиболее беззастенчивые клики.

Если им везет, как повезло в России большевикам, они составляют новую элиту и навязывают свое групповое представление о справедливости всему народу. Как пронизательно сказал В.Молотов спустя всего несколько лет после революции: «Мы не те русские, что были до 17 года, и Русь у нас не та.» (Но спустя несколько десятилетий, она опять оказалась все та же.)

Если их стесняют в их стране, как это случилось с «ФАТХ»-ом в Иордании и Израиле, они зато могут составить новый, «свободолюбивый» (или «прогрессивный»?) народ (например, палестинский, кубинский или «албанский народ Косова») и претендовать на отдельное существование, в котором их роль будет, наконец, определена в соответствии с их амбицией и наличной культурой.

Но и в первом, и во втором случае интересы соответствующего государства или представляемого ими «народа» играют глубоко второстепенную, подчиненную роль. (Неслучайно и в том, и в другом случае вожди все время сбивались на «всемирную», одни — «пролетарскую», другие — «антиколониальную», революцию. А вдруг пофартит где-нибудь еще?)

Возникновение таких лихих клик есть процесс естественный, т. е. природно обусловленный, а наличие народа, который якобы ожидает их заступничества, или насущной проблемы, якобы требующей разрешения, напротив, дело исторической случайности.

Группа одержимых последователей Джозефа Смита в начале XIX в. в США вместо того, чтобы начать истребительную религиозную войну, как это обязательно случилось бы двумя веками раньше в Европе, просто отселилась в пустынный штат Юта, положив начало, ныне вполне мирной жизни процветающей секты мормонов. Сложившаяся к тому времени в Америке тенденция культуры и наличие незаселенных территорий толкнули их к следованию

ветхозаветной парадигме Исхода, а не недавнему опыту европейских религиозных войн.

Исходным импульсом, однако, всегда служит избыточная человеческая энергия, пассионарность, которую господствующей культуре не удастся загнать в приемлемые рамки. Любая культура ограничивает человека, но она же направляет его энергию в допустимое для обществ русло.

Спорт — гениальное изобретение демократической культуры античных греков, возрожденное затем демократической культурой англичан — отчасти поглощает поток раскаленной магмы, исходящей из этого постоянно действующего вулкана. Страстная приверженность болельщиков своей команде не подкреплена внятным классовым или однозначно национальным интересом, но также способна приводить к кровопролитию.

Всеобщие выборы и партийная борьба со всем сопутствующим им идиотизмом, есть далеко не худший способ утихомирить страсть к самовыявлению и инстинкт власти без убийства. Для этого, впрочем, необходимо, чтобы господствующая традиция все-таки заранее предусматривала недопустимость прямого насилия.

Менахем Бегин, будучи успешным главой вооруженной военной организации «Эцель», демонстративно отказался от сопротивления временному правительству Бен Гуриона во время Войны за независимость, тем самым предопределив демократический стиль политических взаимоотношений внутри Израиля. Ему зато пришлось потом 30 лет дожидаться своей победы на выборах.

Само наше существование в регионе не только было бы невозможно без начального насилия, которое положило основание государству, но и в дальнейшем сионистская идея взаимовыгодного мирного сосуществования внедряется в сознание окружающих народов только в ходе ежедневной, многолетней войны. Парадокс

Ближнего Востока: чтобы убедить противника в необходимости отказа от насилия, его необходимо обезоружить. Но, может быть, тогда уже не надо и убеждать?

Существующая в израильском обществе культура открывает для суперактивного индивида множество вдохновляющих возможностей помимо войны — он может посвятить себя науке или заняться спортом. Он может потрясти мир своим искусством, он может разбогатеть, возглавить новое движение, партию, профсоюз, основать фирму или поселение. Наконец, он может отчаянно (и довольно безопасно) бороться за мир, за права арабов, за справедливый процент восточной музыки в радиопередачах, за снижение цены на творог-«котедж». Сексуальные маньяки, игроки, гомосексуалисты, пьяницы и даже наркоманы в израильском обществе сравнительно безбедно могут предаваться своим страстям без всякой конспирации. Наше общество интегрирует практически всех и оставляет так мало отпетых диссидентов, что они не смогли бы сформировать потребность в чем-то вроде революции. Самые решительные деятели, типа Меира Каханэ или Авиغدора Эскина, появились у нас в результате импорта из великих держав. Израильтянин, даже произведенный в генералы за храбрость, не решится сказать, что военная опасность его увлекает. Друзья и недремлющая пресса, не медля, его осудят.

Не та ситуация в окружающих нас арабских странах. Там нет сексуальной свободы, осуждается пьянство, слабо развит спорт, нет интереса к искусству, практически нет науки. Уровень светского образования невероятно низок. Профсоюзное движение, как и всякая иная политика, смертельно опасно, бизнес связан со взятками и покровительством кланов. Газеты не имеют голоса, а оппозиция возможна в столь узких пределах, что легче выдвинуться, вступив в террористическую организацию. При таких условиях почетная смерть в бою с сионистскими захватчиками, американскими империалистами или в результате покушения на своего президента

представляются неплохим вариантом карьеры для честолюбивого арабского мальчика.

Культура войны в большом почете у мусульманских народов. Военная профессия также единственная массовая техническая профессия во многих мусульманских странах, обеспечивающая вполне современный уровень специалистов. Народные массы очень ценят своих военных героев.

Духовные лидеры Ислама поощряют это настроение. Причины для войны всегда находятся, и почетное поражение совсем не позорит погибших. Эта культурная ситуация поощряет все новые и новые темпераментные группы во всех мусульманских странах пытаться свое счастье. Война — не худшее из человеческих занятий, и имеет позади себя многотысячелетнюю престижную традицию.

Война (и как победа, и как поражение) желательна в недемократических странах скрытым «революционерам» всех уровней, которые надеются сменить сегодняшних правителей и их камарильи. Однако война современными средствами (и особенно, поражение) слишком опасна (и потому нежелательна) для режимов, в которых бюрократические порядки в какой-то степени уже установились. Она угрожает и самим диктаторам, и их недавно сложившимся кликам.

Только наличие этой двусторонней опасности, собственно, и обеспечивает то весьма хрупкое взаимопонимание с бюрократическими (или плутократическими?) верхушками окружающих стран, которое может внушить нам надежду на временный мир в нашем регионе. Участие «народов» почти во всех случаях только осложняет этот, и без того трудный, процесс. «Арабская весна» начала серию преобразований, которые не внушают оптимизма. В любом случае мир, который возможен в нашем районе, это мир основанный на военном равновесии, а не на отсутствии конфликтов.

Можно ли судить народы за их пристрастия? Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы ответим на вопрос, КТО будет их

судить. Военных преступников судят только после их военного поражения. К тому же ничто в подобных ситуациях не заставит верить, что судьи свободны от политической предвзятости. Это значит, что гуманистическая цивилизация может рассчитывать на торжество своих принципов «доброй воли» только при условии очевидного военного превосходства. Но «принципы доброй воли», навязываемые с помощью силы, это и есть парадокс Западной цивилизации, который ей еще только предстоит разрешить в ее взаимодействии с другими. Нам следует быть готовыми к тому, что либо торжества «принципов доброй воли» не произойдет вообще, либо это торжество не станет всеобщим.

Что есть справедливость для бесчисленных народов, «не умеющих отличить правую руку от левой»? Намного ли она отличается от той, что была у готов, гуннов и вандалов всего полторы тысячи лет назад?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», касаясь неизбежных в лагере столкновений с блатными, пишет, что уголовный мир не подлежит человеческим законам, и блатные — не люди. В этом представлении он сходится со многими авторами и читателями, потрясенными уровнем жестокости и цинизма, принятым в уголовной среде.

В последнее время мне часто приходилось слышать от окружающих, что и террористы, особенно мусульманские террористы, не люди.

Я хотел бы возразить против такого рода представления. Но вовсе не для того, конечно, чтобы защитить человеческое достоинство террористов или уголовников. Звание человека на мой взгляд вовсе не звучит гордо. Никакого достоинства в этом звании нет. Человек, если и не произошел от обезьяны, все же во многих важных отношениях остается очень близок к ней, и отличие не всегда к лучшему. Но, если мы хотим защититься от упомянутой опасной категории существ, нам придется понять их, именно, как людей. Прежде всего, как людей принадлежащих к определенной, чуждой культурной общности.

Мой короткий опыт общения с уголовниками в детской исправительной колонии пришелся на такой ранний

возраст, при котором мое понимание еще не было безвозвратно ограничено культурой моего круга. И потому, вероятно, моя еще не сложившаяся душа была открыта альтернативным вариантам интерпретации явлений.

Блатные, конечно, люди, и им вполне присущи все обычные человеческие свойства. Однако, их отщепенческое сообщество построено на принципе, который по отношению к общепринятым правилам является дополнительным. Понимание этого принципа дополнительной может пролить свет также и на многие загадочные для европейца черты поведения неевропейских народов.

Уголовники составляют как бы иную, замкнутую цивилизацию внутри существующей, и их успешное функционирование определяется, как раз, факторами, составляющими ее слабость. Именно их демонстративное пренебрежение «общечеловеческими» нормами поведения позволяет им жить за счет обывателя («фраера»), ошеломить его, если нужно, опередить реакцию толпы и восторжествовать над повседневностью.

Поведение блатных, больше чем наполовину — артистическая форма жестикуляции, рассчитанной на аудиторию. Оно в сильной степени ритуализовано и имеет свои законы, этику и эстетику, свой фольклор и своих хранителей традиции.

Блатной не живет в объективном мире вещей и твердо установленных фактов. Он живет только в одномоментном мире людей, к которым не чувствует ни уважения, ни симпатии. Поэтому он действует в соответствии с психопреобразующей моделью реальности, как циркач (еще лучше сказать, гипнотизер-иллюзионист) на арене. Единственной значимой величиной для него является его собственное поведение, которое призвано на эту реальность в той или иной форме повлиять, т. е. шокировать, озадачить или разжалобить.

Уголовник знает, что его реальных сил всегда недостаточно, чтобы приспособить к себе весь окружающий мир. Но, если его ре-

шимость (вдохновение — «дух» на «фене») действительно безгранична, а, главное, впечатление, которое он способен произвести на аудиторию, внушает надлежащий трепет, ближайшая к нему часть мира, может склониться перед ним, обеспечив ему точечный успех. Конечно, он рискует сорваться и пропасть, но готовность к риску — обыденная часть его профессии. Поэтому он (как и викинги, и асасины в древности, как террористы-смертники сегодня) культивирует в себе способность к сомнамбулическим, невменяемым состояниям, при которых действительность перед его глазами как бы прогибается и временами в самом деле идет навстречу...

Варяжские витязи, рыцари-крестоносцы или мусульманские чудо-воины тоже не склонны были тянуть трудовую лямку и в большинстве были отщепенцами в своей народной среде. Они не рассчитывали прожить долго и между грабежами не задумывались о своем будущем.

Слабость любой существующей цивилизации состоит, в частности, в том, что между преступлением и наказанием всегда остается зазор времени, который для преступника может показаться вполне достаточным для оптимистического отношения к жизни. Раскольников в «Преступлении и наказании», прежде чем попал на каторгу, успел пережить целую сентиментальную драму с Соней Мармеладовой и, т. о., отчасти устроил свою дальнейшую жизнь.

Нормальный человек с трудом понимает и предугадывает поведение отморозка, потому что он ценит свою жизнь на свободе. Профессиональный преступник, напротив, воспринимает свое пребывание в тюрьме, как основное, нормальное состояние в жизни, а его внутренняя свобода продлевается и в заключении.

Для него, как раз, ежедневная рабочая рутина нормального человека — тюрьма. Член блатного сообщества живет минутой и ловит кайф при всякой возможности, в том числе и на тюремных нарах. Он стремится только к сиюминутному счастью, и краткие перерывы между отсидками проводит в счастливом, совершенно беззабот-

ном состоянии, соответствующем его представлению о райском блаженстве.

Английские пираты правильно называли себя «джентльменами удачи». Никаких привходящих обстоятельств — только удача и кайф. Неудача не в счет, потому что, если нет удачи, нет и жизни — впереди виселица.

Такому, наполовину солипсическому, сознанию чрезмерная расчетливость — только помеха. (Все же лишь наполовину солипсическому, потому что с опытом жизни наш герой научается симулировать обманчивые или устрашающие состояния, призванные электризовать окружающих, но не обязательно глубоко задевающие его самого.) При поимке вора его психологическая установка близка к поведению капризного ребенка, который бросается на пол и бьет ногами, пока родители не поддаются манипулированию. Часто, это — не столько поступок, сколько жест. Если родители отвечают полным невниманием, ребенок может остановиться.

Если обыватель не пугается, уголовник не всегда знает, что ему делать дальше. Его действия направлены не на объективную реальность, данную нам всем в ощущениях, а на противопоставленную ему коллективную волю общества, обывательскую психологию. Здесь большую помощь ему могут оказать усилия правозащитных организаций, исходящие из презумпции доброй воли. Очень редко ему удастся провести опытных полицейских.

Еще больше, чем с детьми, все эти признаки сближают образ действий уголовников с ритуализованным поведением примитивных племен, которые живут в постоянном, тесном контакте с населяющими окружающую природу потусторонними духами и надеются их запугать, обмануть или задобрить. Своей устрашающей татуировкой, воинственными плясками и жестокими казнями врагов они отпугивают духов, своими жертвами улаживают их и обещивают себе успех на войне и охоте. При этом они понимают, что

духи сильнее их и могут не поддаться магическим усилиям, но они привыкли жить в присутствии опасности и рано умирать. Зато героическое поведение погибших (и особенно приукрашенный рассказ о нем) укрепляет общую традицию и дух следующих поколений и обеспечивает мертвым почетное место среди храбрых...

Эти черты преступных сообществ не столько демонстрируют их низкий культурный уровень, сколько подчеркивают их сугубо человеческий характер.

Уголовники презирают фраеров. У них есть для этого основания. Фраера живут в мелочных заботах о надежности своего существования. Они подвержены бесчисленным страхам, которые преступнику неведомы. Их снедает беспокойство о хлебе насущном, о близких, о будущем...

Искусство всех народов внесло свою долю в обнажение пресности обыденного существования и эстетизацию лихой беззаботности и преступления: «Орел клюнул раз... и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» (А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»). Потому что искусство любит все из ряда вон выходящее, преувеличенное, впечатляющее. Искусство любит успех. А успех достается тому, кто выходит за пределы обывательского воображения. Уголовник видит (и культивирует) в своем образе жизни артистический элемент.

Конечно, вся эта субкультура создана поведением выдающихся одиночек, которые, возможно, и впрямь не знали страха, не ведали колебаний в своем зверстве и не чувствовали боли, глада и хлада. Артистизм натуры позволял этим людям даже и в собственной гибели черпать упоение своим превосходством над унылой законопослушностью их жертв и преследователей. Большинство же в блатном сообществе (как и во всяком другом) просто копирует формы поведения авторитетных воров-старожилов («воров в за-

коне») и обычно может быть сбито с ритма и обращено в бегство всяким решительным сопротивлением.

Также и современный терроризм — это не единичный поступок, который можно объяснять отчаяньем или религиозным психозом. Терроризм не объясняется и одними стратегическими решениями преступных политических групп. Это специфический образ жизни, патетическая культура, включающая свой внутренний язык и жестикуляцию, иерархию авторитетов, жажду престижа. А также свободу от обыденных норм, восхищение женщин и любовь друзей, недоступные простым смертным.

Террор в сознании террориста — это власть сильных своим бесстрашием одиночек над бесчисленными, беспомощными «фраерами», неспособными противостоять «настоящим людям».

Напрасно европейцы всерьез обсуждают нелепость веры шахидов-смертников в мусульманский рай. Рай тут не главное, они успевают отведать всю полноту ощущения сильной жизни еще на этом свете. И острота их переживания героической борьбы и близости победы (которые неизменно видятся им в сильно приукрашенном виде) не сравнится со скукой их тяготящего существования на задворках общества в качестве рабочих пчел...

У преступника (как и у революционера) всегда есть возможность отобрать у фраера хлеб. У преступника нет близких, которыми он не мог бы пожертвовать. Воровство и грабеж в его сознании суть справедливые формы перераспределения жизненных благ между трусливыми и неспособными с одной стороны и смелыми и гордыми с другой... — «Запирайте этажи, нынче будут грабежи...» (А. Блок). «Грабь награбленное...» (В. И. Ленин).

Этот стереотип совсем не бесчеловечен. Нелепо называть бесчеловечным то, что так глубоко укоренено в человеческой истории. На протяжении многих тысячелетий так вели себя ли-

хие представители всех народов. Этот образ действий был близок к героическим представлениям варварских племен Римской империи, среди которых считалось, что «стыдно добывать плугом то, что можно добыть мечом». Действительно, как только Империя ослабела, шайки кельтов и германцев рассыпались по всей Европе и создали свои минигосударства-загоны, где они издавались над культурным населением, как хотели, а настоящее сопротивление встречали лишь друг от друга (при дележе). Еще в XVII в. в Европе солдатский грабеж и насилие считались законной наградой победителей. Всего 30 лет назад в Нью-Йорке из-за аварии в электросети на несколько часов произошло затемнение («Blackout»). За эти часы все магазины в затемненном районе оказались разграблены...

Нечто подобное произошло и в златоглавой Москве, которая, едва ослабел государственный террор, без всякого сопротивления была поделена уголовниками на районы, «опекаемые» разными экзотическими мафиями, «азербайджанской мафией», чеченской мафией, «солнцевской» группировкой, орехово-зуювской и т. д., и т. п.

Т. о. преступная субкультура всегда тлеет в складках цивилизованных обществ. Профессор Дельбрюк, автор фундаментального труда «История войн и военного искусства» утверждает, что численность варваров никогда не была большой, а взрыв варварской мощи происходил всякий раз, как титульная нация теряла охоту к войне.

Бесчеловечной я бы скорее назвал массовую неготовность людей к защите своей жизни и благосостояния и неспособность подержать (хотя бы простым сочувствием) те общественные силы, которые предназначены защищать их интересы.

В периоды социальных бедствий и катастроф у многих обывателей возникает соблазн предпочесть открытую воинскую доблесть воров в законе сомнительным гражданским добродете-

лям честных полицейских, хладнокровных биржевиков и ловких менеджеров. Кому из них лучше вручить заботу о своей жизни и собственности?

Обыватель — не «джентльмен удачи» — всегда ищет, кому перепоручить заботу о своей жизни. К этому и сводится смысл политических прав для нечестолюбивого гражданина. По мере роста общего благосостояния даже и реализация политических прав становится ему в тягость, как мы ясно видим во всех богатых обществах, где даже в судьбоносных выборах участвуют едва ли 45% избирателей.

Десятилетия господства упорядоченной жизни под защитой закона создали у многих из нас иллюзию, что государство и закон имеют подлинное, субстанциональное существование и эти структуры держатся своим собственным весом. На самом деле и государство, и закон существуют лишь условно и лишь в той мере и до тех пор, пока подавляющее число граждан склонно их систематически поддерживать своим деятельным соучастием.

Во всяком цивилизованном обществе существуют преступные структуры и потенциальная люмпенская среда, готовая воспринять уголовные правила. Полностью уничтожить преступность не удается ни в одной стране. С развитием глобализации глобализуется и эта преступная культура. В наше время обнаружилось преступные, террористические движения (например, «Светлый Путь» — организация китайских бандитов в Перу, вооруженные формирования наркодилеров в Колумбии и Мексике и др.), принимающие разные политические формы прикрытия.

Коррупция правящих кругов, избыток свободного капитала в мире и извращение понятий в духе «политической корректности» позволяет этим группам существовать и даже представлять на международном уровне, где разница между допустимым и нетерпимым с каждым днем катастрофически размывается.

Соединение преступных стихий с романтическим идиотизмом грозит совершенно размывать основы всякой цивилизации. Если ве-

ритель Жозефу Де Местру^{*}, нас отделяет от бездны хаоса очень тонкая психологическая преграда, созданная еще несентиментальными предками сегодняшних граждан в суровые времена религиозного засилья и беспредельно жестоких наказаний. Эта преграда утончается на наших глазах с каждым днем. Свободный мир практически отменил наказания в своих пределах, а влияние религий на светские дела сугубо ограничено.

У свободного мира не остается прямых, оперативных средств контролировать поведение преступных групп и индивидов. Всякий сдвиг в сторону усиления контроля воспринимается обществом как шаг к тоталитаризму, и, действительно, открывает для правящих кругов слишком широкие, если не беспредельные, возможности.

Впрочем, перед лицом смертельной угрозы во время 2-й мировой войны, по крайней мере, два традиционно супер-либеральные общества (Британия и США) сумели мобилизоваться и, вопреки собственному внутреннему сопротивлению, дать сокрушительный отпор и Германии, и Японии. Но это произошло только с помощью Советского Союза и после пяти лет изнурительной войны, в течение которых они несли тяжелые жертвы и потерпели не одно горькое поражение.

Война, говорят, великий Учитель, но до чего же не хочется опять идти к нему в ученики...

^{*} Граф Жозеф Де Местр — итальянский аристократ, талантливый литератор и философ, бывший послом Сардинского королевства (Пьемонт) в Санкт-Петербурге. Обладал большим влиянием при дворе Александра I. Ж. Де Местр был горячим противником Французской революции, придавал определяющее значение репрессивным мерам сдерживания разрушительных инстинктов масс, наказаниям и казням, и отговаривал царя от немедленного освобождения крестьян.

ИСТОРИЯ УЧИТ НЕ ВСЕХ

Библии приписывают открытие феномена Истории. Не простого пересказа отдаленных и отделенных друг от друга событий, а как бы связанного сюжета, который существует в объективной действительности и куда-то ведет (или заводит) народы. Всякий человек, в принципе, может ощутить соучастие в таком сюжете, как ценность, как повод для гордости или стыда. В России эту идею принял в полноте П. Я. Чаадаев:

«Народы ... воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. ... Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история: это физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Мы живем одним настоящим..., среди мертвого застоя... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня ... С каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно... Каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является Бог весть откуда. Исторический опыт для нас не существует...»

Сегодня, после всемирного «восстания масс», легко видеть, что он сильно переоценивал западного человека, ориентируясь на европейскую элиту, и слишком самокритично приписал соотечественникам то, что свойственно, к сожалению, массовому человеку вообще. Но идея Истории надолго поселилась в русском сознании. Окончательно утвердило эту идею внедрение марксизма в России.

Анализируя свое отношение к миру, я обнаруживаю и в себе эту фундаментальную априорность, которую несомненно подарил мне марксизм, внушенный воздухом российской школы.

Вот, в пятом классе начинается История древнего мира, сплошь состоящая из греческих мифов и римских доблестей, потом в шестом — Средние века, протекающие почти целиком в пестрящем гербами и крестами католическом мире, и к седьмому мы подходим к Новому времени, в котором уже лидирует Франция и звучит Марсельеза. Школьная наука создавала у нас цельное впечатление, что все это якобы были звенья одной цепи, неуклонно ведущей от бесчеловечного рабовладения через красочный рыцарски-турнирный феодализм к мнимой буржуазной свободе, которая, конечно, есть лишь предпосылка к будущему нашему социалистическому братству: «Вся история — это история борьбы классов» — неважно, где и как именно.

В этой схеме важна не наукообразная фантазия Карла Маркса, что европейский феодализм якобы наследовал античному рабству, а сама иудаистская идея общего времени (и общей морали), которое объемлет эти разные цивилизации, разделенные на самом деле не только временем и пространством, но и относящиеся к совершенно разным народам. Благодаря этой сомнительной идее мы, бывшие советские люди, до сих пор удерживаем в памяти огромный кусок культурного прошлого, который сообщает глубину многим общепринятым условностям и дает нам ключ к пониманию иных культурных моделей.

Современный постмодернизм, отнимая (и отменяя) универсальные мерки, утверждая отдельную историю для каждого культурного ареала, частично отнимает и эту нашу связь с прошлым. Счастлив тот, для кого религиозная традиция, отсчитывающая время «просто от создания мира», эту связь восстанавливает.

Ну, хорошо, пусть наша история это только история нашей «иудео-христианской» цивилизации, как бы ни определять это понятие. При любом определении Россия не полностью принадлежит

к этому историческому целому. Для российского выходца чрезмерный либерализм западного общества необъясним и недальновиден. Его нельзя понять без анализа всей предшествующей истории европейских стран, полной (впрочем, не больше, чем у всех остальных) звериной жестокости и диких притеснений. Может быть этот либерализм — хотя сегодня это прозвучит совершенным парадоксом — как раз один из тех немногих случаев, когда история (прямо по Чаадаеву) чему-то все-таки человека научила. Целые века она учила людей в Европе бояться деспотического произвола королей, сила которых не ограничена уравновешивающим гражданским сопротивлением. Масс-медиа, парламенты и суды в наше либеральное время всячески стараются выполнить эту свою первостепенную функцию ограничения власти, когда о самодурах-королях и о собственном произволе их самодуров-чиновников все уже почти забыли. Сложная юридическая канитель и бесконечные «права» преступника имеют исходной целью оградить законопослушного гражданина от, все еще возможной, злой воли представителя судебной инстанции, действующего от имени государства. Пока еще преступления считались из ряда вон выходящими событиями, изоляция и наказание преступника, и в самом деле, могли казаться современникам второстепенной задачей.

К сожалению, эти идиллические времена ушли безвозвратно. Нельзя сказать, что в былые времена в европейском обществе не хватало преступников. Но у преступников в руках тогда не было таких средств.

Я имею в виду оба значения этого слова. У преступников в прошлые века не было таких грандиозных технических средств. Пока Альфред Нобель не изобрел динамит, а террористы не освоили взрывное дело, т. е. до конца XIX века, опасаться всерьез произвола отдельных заговорщиков или даже небольших добровольных коллективов, обществу не приходилось. Но у преступников в прошлом никогда также не было и таких грандиозных денежных средств, которые те-

перь щедро поступают, как от заинтересованных государств, так и от политически или финансово вовлеченных частных спонсоров.

Мировая, якобы всеобщая, история сумела научить только европейского человека (конечно, не всякого), который — бог весть почему (может быть, чтобы заслужить одобрение Чаадаева?) — склонен был учиться. Все остальные страны и народы, не прошедшие эту школу (т. е. огромное большинство человечества), воспринимают юридические идеи европейцев как специфическое чудачество, с которым они, хотя на словах и вынуждены считаться, но могут (и, конечно, всемерно должны) использовать против них же самих. Зато динамит и другие смертоносные изобретения европейского гения (включая неконвенциональное использование самолетов и бульдозеров) по-прежнему на равной основе остаются в общем пользовании. И, конечно, злоумышленники на всех континентах пользуются ими при всяком удобном случае, нередко при активной поддержке своих нещепетильных правительств.

Западные страны оказались перед неприятным выбором. Что важнее — оградить себя всемерно от международного террора сейчас или, в расчете на будущее, попробовать приучить все другие народы считаться с демократическими законами, т. е. «уважать права человека»? Западная мысль, направленная сразу на обе эти цели без трезвого учета их конечной несовместимости, бессильно бьется в паутине юридических противоречий.

Возможно, мировое европейское сообщество подошло вплотную к тому крайнему пределу, у которого сказывается исходно христианская (т. е. диссидентская) основа его цивилизации. Ведь террор можно остановить только террором, т. е. насилием. Незачем обманывать себя. Полюбить террориста, как собрата по человечеству — хорошее средство стяжать самим для себя царство Божие, но вряд ли эффективное для защиты будущих поколений. И без энергичных насильственных действий о прекращении террора можно только мечтать.

Яснее всех эту антихристианскую идею выражают мыслители, не связанные гуманистической традицией. Вот, что говорил почти 100 лет назад известный реакционер и пессимист О. Шпенглер: «Жизнь есть война. Можно ли отказаться от ее смысла и в то же время сохранить ее? ... Цветной видит белого насквозь, когда тот говорит о «человечности и вечном мире». Он чувствует неспособность и отсутствие воли себя защищать...».

В наше время, после свершившейся антиколониальной революции, чтобы насквозь разглядеть лицемерие политика (будь он белый или цветной), рассуждающего о «человечности и вечном мире», не обязательно самому быть цветным. Достаточно быть трезвым и внимательным.

Сколько времени требуется в любой свободной стране для подготовки террористического акта, даже такого грандиозного, как разрушение небоскребов-близнецов 11 сентября? — Около года или близко к тому.

А сколько времени понадобится для внедрения традиции юридически допустимого поведения в политику и обыденную жизнь страны, для которой эта традиция совершенно чужда?

— Хорошо, если хватит жизни целого поколения ...

Пока легалистская традиция повсеместно не закрепились, все антитеррористические меры либеральных стран неизбежно будут нарушать их собственную либеральную традицию презумпции невиновности и, тем самым, ярко подчеркивать лицемерный характер требований либералов ко всем остальным. Настойчивые призывы к миру, исходящие от далеко превосходящих по своим военным возможностям стран, воспринимаются как однозначная демонстрация их фактической беспомощности.

На заре европейского либерализма Томас Гоббс, английский философ XVII в., в своей книге «Левиафан» сформулировал теорию «войны всех против всех», которая по его мнению лежала в самом основании истории, как исходное, «природное» состояние человечества.

ва: «Равное право каждого на обладание всеми вещами провоцирует непримиримый конфликт, особенно при конкуренции за ограниченные ресурсы (сюда входят и такие вещи, как земля и женщины). Побуждаемые страхом нападения соседей, люди неизменно старались их опередить и напасть первыми. Конфликт затем был сильно подогрет и умножен разницей в толковании религиозных догм, различием в моральных суждениях или банальным расхождением взглядов на то, что кому полагается, и кто чего заслуживает...» (Википедия)

Тогда неизбежно в результате успешной инициативы одного из самых агрессивных возникает деспотическое государство («Левиафан»), которое только и способно ограничить этот «природный» хаос, ввести его в определенные рамки и установить более или менее оправданную иерархию прав.

Весь следующий век многие философы вдоволь позабавились, критикуя Гоббса, который мало того, что не верил в природную добродетель человека, но к тому же еще придумал такую смешную идею, как равенство прав в начале истории...

Гоббс, может быть, и в самом деле думал, что в начале истории каждый сам был свободен решать, в чем он нуждается, чем он владеет и в чем состоит правильное поведение и достойный образ жизни. Но, поскольку он был не чужд математике, **скорее можно предположить, что он рассматривал такое идеализированное состояние всего лишь, как упрощенную модель**, имевшую целью объяснить разумную необходимость той самой абсолютной королевской (т. е. государственной) власти, от которой современный либерализм в западных странах с таким энтузиазмом нас защищает. При этом, он, в согласии с законами роста всех сложных организмов, рассматривал эволюцию такой системы во времени от полной неупорядоченности, хаоса личных стремлений, к государственному порядку, т. е. в сторону снижения энтропии.

Такое направление эволюции свойственно, на самом деле, только живым, развивающимся системам. В мертвых, неоргани-

ческих системах энтропия, напротив, всегда растет — сложное распадается на более простые элементы (о чем нам наглядно напоминает процесс гниения). Таким образом Гоббс оптимистически предположил, что история цивилизации — это антиэнтропийный процесс развития, который ведет человека от банального скотства к разумной координации и организации общества.

Такого природного положения, какое он полагал в начале истории цивилизации, действительно не было. Но такое положение стремительно надвигается по мере нашего приближения к ее концу. Равенство прав, людей и народов, превратилось в навязчивую идею в мире западной политики. Она захватывает массовое сознание, в котором это равенство прав никак не скоррелировано с соответственным равенством ответственности. И былая (черно-белая) математическая модель, которая была очевидным упрощением реальности, в упрощенном понимании широких масс грозит превратиться (и во многих странах уже превратилась) в чаемый идеал.

Королей больше нет, положить конец своеволию. При такой тенденции, когда «каждый свободен решать, в чем он нуждается, чем он владеет и в чем состоит правильное поведение и достойный образ жизни», нам еще только грозит осуществление пророческой антиутопии Гоббса: «войны всех против всех». При современных средствах это не обойдется поединками одиноких храбрых рыцарей или даже битвами лихих воинственных ватаг, а грозит гибелью всему человечеству. Это значит, что история, по крайней мере в той части нашей цивилизации, где эта угроза реальна, вопреки видимой глобализации, движется задом наперед (от сложного к простому) и представляет собой скорее процесс разложения, чем развития.

Действительно, происходивший на наших глазах распад всех империй, постепенное отделение Шотландии от Англии, близящийся распад Бельгии и Канады заставляют думать, что и бескровное разделение Чехословакии, кровавый распад Югославии, и даже, все еще не завершившийся, развал Советского Союза происходят в рамках той же общей исторической парадигмы.

Может быть, и отчуждение евреев, и выделение (отпад) Израиля из состава «иудео-христианской» цивилизации должно рассматриваться нами не как поразительная историческая флюктуация, связанная с пророческими идеями Герцля или с адскими фантазиями Гитлера, а как закономерный результат того же общего процесса распада этой цивилизации, ее социальной и культурной эволюции (хотя в данном случае уместнее назвать ее «инволюцией»), которая не приемлет какого-то чужеродного цивилизационного признака, по-видимому, заложенного в евреев еще на заре времен. Похоже, нечто вроде такого катастрофического предчувствия охватывало и библейского Ноя перед Всемирным потопом и, уж наверное, привиделось нашему предку Аврааму в Уре Халдейском перед его необъяснимым уходом в неизведанную страну.

Позвольте мне еще раз процитировать Шпенглера, который при всех своих недостатках глубоко переживал возможный конец истории своей западной, европейской цивилизации: «Пацифизм либеральных столетий должен быть преодолен, если мы хотим жить дальше. Является ли галдеж против войны ... серьезным отречением от истории за счет достоинства, чести и свободы? Потребность в покое, в застрахованности от всего, что нарушает рутину, означает сорт мимикрии, замирание человеческих насекомых перед опасностью, торжество бессодержательного существования, в скуке которого джазовая музыка и танцы негров играют похоронный марш великой культуре...»

Согласны ли мы следовать и дальше вместе со всем Западом по этой дороге до конца, или наш, отколовшийся от континента «великой культуры», островок начнет свой новый неведомый путь, узнают, может быть, только наши внуки.

В ИЗРАИЛЕ

Обосноваться на новом месте ученому-выходцу из СССР не легко. Профессия ученого (тем более экспериментатора) в западном мире включает совсем другой перечень сведений и умений. Прежде всего умение добыть и разумно потратить деньги, а также правильно себя представить, т. е. поговорить с нужными людьми, вовремя отвечать на письма, публиковать статьи, делать доклады и выступать на конференциях. Все это требует не только знания языков и известного светского лоска. Это требует способности неназойливо внушить окружающим некое неформальное уважение, не зависящее от неизбежных мелких промахов. Конечно, на этом первом этапе я совершил все возможные ошибки и потом много лет за это расплачивался. Одно дело, когда ты — суперзвезда, тускло мерцающая из-за железного занавеса. Другое дело, когда ты обыкновенный «оле хадаш», тыкающийся туда и сюда, не зная, кто есть кто, и что — почем.

Но мне повезло со студентами. Вместе с нами из России в 70-х приехали и многие способные молодые люди, в которых горела страсть к науке, еще не отравленная прагматическим духом. Все они теперь уже защитили свои диссертации и разъехались по разным университетам. В России было принято, чтобы лучшие ученики

оставались при своих профессорах, а на Западе — наоборот — лучшие уезжают. Возвратиться они могут только на конкурсной основе после нескольких успешных лет за границей. Теперь, проходя по коридору мимо открытых дверей профессорских кабинетов, я то и дело слышу их русскую речь, иногда уже с акцентом.

Еще больше разница в финансировании. В России приходилось отчитываться только в потраченном, назначенном свыше и заранее, плановом бюджете, что зачастую склоняло к обману, тем более, что, разумеется, никто никогда этих отчетов не читал. Я однажды по молодости начал объяснять директору: «тут план отклоняется от реальности, потому что...» Он меня перебил и сказал: «Я хочу, чтобы вы запомнили — Единственная существующая реальность — это и есть план...»

На Западе — наоборот — основной документ — заявка на исследование. Она пишется до выполнения работы и требует фантазии и способности заинтересовать и увлечь рецензента финансирующей организации возможной перспективой. Отнюдь не все заявки получают финансирование, и, не проявив достаточного творческого воображения, ученый может остаться на мели, совсем без средств.

Проявив избыток воображения, он рискует тем же.

Ученым по западному определению является только сам инициатор исследования. Исполнитель чужой инициативы определяется как помощник (инженер, техник или студент) и финансируется только из средств инициатора. Инициатор должен также тесно сотрудничать с учеными разных стран и участвовать в конференциях, чтобы всегда быть в курсе того, что в мире сейчас считается актуальным, а также быть знакомым с разными научными школами и методами.

Я не захотел идти по следам своих прежних работ с ожиженными газами и в Израиле стал работать с металлами и сплавами. Не прошло и года, как и тут предо мной выросла проблема кри-

тических состояний на границе изменения симметрий. Кристалл, к которому подмешивают чуждую примесь до последней возможности сохраняет присущую ему симметрию, пока не будет перейден некий предел (порог перколяции), так что, начиная с какой-то критической концентрации вся система разом перестраивается и принимает другую симметрию, отличную от исходной. Такой порог концентрации также является критической точкой и имеет много общих черт с жидкими смесями.

Критические состояния в жидкостях, сплавах и в людских массах имеют так много общего, что социологии будущего еще много лет предстоит этим заниматься. Конечно, в социологии имеющихся в неживых системах трех измерений будет недостаточно, но это исправимо. Один из моих студентов хорошо усвоил эту мысль и полностью переключился на социологию (правда, уже в Париже).

На второй год пребывания в стране мне пришла повестка в армию, и я побывал в «милуим» — резервной службе, которую в то время несли все мужчины до 54. В военкомате долго не могли решиться послать меня просто в рядовые солдаты, но я обнаружил такой уровень безграмотности в иврите, что все сомнения отпали. Впоследствии, разговарившись со своим офицером по-английски, я заслужил его комплимент: «Оказывается, ты не такой идиот, как я думал. Если тебя еще немного подучить, из тебя получился бы неплохой сержант.» Спасали мою репутацию только усердная чистка оружия и стрельбы, на которых я неплохо попадал в цель. В первый же месяц мне пришлось стрелять из боевого оружия больше, чем за все мои шесть месяцев обучения военному делу в России. В российской армии учат не воевать, а подчиняться.

Две вещи в армии Израиля оказались для меня новы по сравнению с Россией: отсутствие внимания к формальным признакам

дисциплины (никаких строевых занятий, минимум придинок к форме одежды) и явно более высокий умственный и образовательный уровень офицеров в сравнении с солдатами.

Меня поразил рассказ израильянина, соседа по палатке, который в моем возрасте оказался тоже всего лишь рядовым. Я выразил удивление по этому поводу.

Он спокойно ответил, что до пожилого возраста уклонялся от призыва по фальшивым медицинским показаниям. «А что же тебя заставило сейчас?» — «Да, понимаешь, дети подросли, перед ними стало неудобно.»

Но общий бардак и бесхозяйственность сближают все армии мира, как и всякие чрезмерно большие организации, состоящие из разнокалиберных людей, вынужденных к незапланированному сожительству.

Один из моих сослуживцев — частный детектив — выяснял у другого — наркомана — как прячут и передают наркотики. Другой — хасид — использовал каждую свободную минуту для чтения молитвенника, иногда забывая даже прочистить ружье после стрельбы.

Мысль, что так много людей во всем мире систематически вынуждены бить баклуши и изнывать в нежеланном окружении, в зародыше убивает всякий энтузиазм. Бравый солдат Швейк остается настоящим героем всякой армии, в том числе и израильской.

В Израиле мне впервые пришлось вплотную познакомиться с системой еврейских религиозных правил и народных обычаев, между которыми ультраортодоксы отказываются проводить различие. При ближайшем рассмотрении правила эти оказываются более рациональными, чем кажется на первый взгляд.

613 мицвот в иудаизме, например, имеют прямое истолкование в литературной теории «остранения» Виктора Шкловского. На-

меренно замедляющие усложнения всех повседневных действий имеют целью сосредоточить внимание человека на онтологическом (сакральном) содержании человеческой жизни и задержать внимание на каждом мимолетном движении.

Впрочем, и внутри этой системы обычный религиозный человек сплошь и рядом умудряется действовать автоматически, упуская тот самый элемент уникальности каждого переживаемого мига, ради которого вся система была создана. Однако, по крайней мере одна цель достигнута: сам человек (и его окружение) ежеминутно помнит, что он еврей.

«Не поминай имени Б-его всуе» — даже математика признает существование выделенных чисел (слов), требующих особого внимания: если А добавить к В, сумма, вообще говоря, должна составить $A+B$. Но, если А равняется бесконечности, то $A+B = A$, какое бы ни было В. Таким образом есть числа, СЛОВА, которые НЕ ВПИСЫВАЮТСЯ В ОБЫДЕННУЮ РЕЧЬ, и потому не должны быть произнесены без оговорок (всуе).

В природе таких особых вещей нет, но человек наделяет такими особыми свойствами (святость) разные места, времена и предметы. По-видимому это выражает (как и изобретение нуля) психологическую (аналогичная физиологической необходимости) аналогичную потребность в ориентировке — инстинкт — установление начала координат.

Христиане, например, считают время от Рождества Христова, а мусульмане от Хиджры, но евреи дерзают считать от Создания Мира. Это выглядит более фундаментальным, и, во всяком случае, более ранним началом, чем два предыдущие. И христиане, и мусульмане жизнерадостно утверждают, что события, послужившие для них началом времен, сравнимы с сотворением мира по своему космическому значению, и это несомненно субъективное ощущение, которое не может ни наблюдаться объективно, ни обсуждаться

ся рационально. Культурное сосуществование требует, если не формального признания, то де-факто учета всех этих различий.

Столь же иррационально и одновременно фундаментально утверждение о принадлежности Иерусалима (начало еврейского отсчета в пространстве) еврейскому народу (подобно тому, как у древних римлян «все дороги вели в Рим.»). Любые рациональные объяснения могут только ослабить магическую силу этого почти всеобщего убеждения.

Религиозные принципы, основанные на древней предшествовавшей традиции в сознании представителей каждой цивилизации, претендуют на абсолютность даже более высокую, чем законы природы... Условное, конечно, должно уступать абсолютному, как и договорное вынуждено уступить природному. Пытаясь устранить иррациональный элемент из своих убеждений мы ставим свою цивилизацию в заведомо проигрышную позицию. Поэтому наличие еврейского фундаментализма — единственное реальное основание существования Израиля в сознании народов. Все остальные — рациональные обоснования его — оспоримы и опровергаемы людьми, принадлежащими к иным культурам. Навязать другим народам свое представление о истории еврейского народа мы не можем. Но мы можем противопоставить им свою не менее последовательную систему абсолютов, основанную на более ранней традиции.

Какую информационную (и соответственно нервную) нагрузку может выдержать человек? Во всякой цивилизации наступает момент, когда средний ее представитель (т. е. решающее большинство, превышающее перколяционный порог) перестает справляться со всем, что необходимо для легитимного существования в обозначенных рамках. Тогда даже самый лояльный член общества начинает систематически нарушать общепринятые нормы, и общество разваливается. Мы в СССР были свидетелями ситуации, когда всякое реальное действие, на пользу или во вред системе, стало

невозможно без нарушения какого-нибудь закона или привычного правила — и Советская империя действительно рухнула на наших глазах — это заняло около 25 лет в очень малоподвижной, чрезмерно жестко скрепленной системе.

Не приближаемся ли мы к такому же пределу и в системе либеральных демократий? Либерализм, конечно, сильно смягчает все правила, и это действует как смазка в трущихся частях, но зато он опутывает человека такой густой сетью моральных обязательств, что можно понять (не простить, конечно, а только понять) всяких татуированных панков, желающих всем назло мочиться в лифте и носить кольцо в носу...

НЕЗАКРЫТЫЙ СЧЕТ

Германия. Что мы знаем о ней?.. Прежде всего сказки братьев Гримм. «Гензель и Гретель»... Когда меня познакомили с профессором Гензелем, я не удержался и спросил, где же его Гретель — он рассмеялся — тут Физика и Университет внезапно отступили, и обнаружилась неожиданная другая, подпочвенная культурная общность, заложенная в нас в раннем детстве...

В пять лет в Ленинграде я ходил в детскую группу с учительницей-немкой, и мы, гуляя вокруг патриотического памятника «Стерегающему», хором и парами говорили по-немецки. У девочки, в пару с которой учительница меня неизменно ставила, был властный характер, и в частых случаях нашего несогласия она хватала меня своими острыми ноготками за лицо, свирепо приговаривая (по-русски), что сейчас выцарапает мне глаза. Учительница удивлялась, почему я по нескольку раз в день подбегал к ней с просьбой проверить, на месте ли у меня глаза. Она неизменно отвечала: «Alles in Ordnung», и я отчасти успокаивался.

Сопоставляя все, что я знаю о Германии, с тем, что я вижу в ней, мне часто хочется спросить, как тогда, все ли у меня в порядке с глазами. Но уже нет поблизости надежной инстанции, которая бы меня успокоила.

После всего, что произошло в середине XX века — да и под общим влиянием русской культуры — хочется

и вправду представлять себе Германию мрачной и подавляющей («сумрачный германский гений»), чуждой добра и красоты, похожей на пугающие своей безвкусицей театральные декорации опер Вагнера. — «Он жил в Германии туманной»... Но, она — солнечная, полная красок и душевного здоровья. И, боюсь, скорее должна нравиться. Может быть даже, так было всегда...

Лет двадцать назад я был на приеме в германском посольстве по случаю подписания соглашения о научном сотрудничестве. Германский министр науки произносил горячую речь о своем глубочайшем уважении к евреям вообще и к израильским ученым в частности. Рядом со мной стоял, бежавший из Германии в молодые годы, израильтянин-йеки. Я поделился с ним своим впечатлением от речи министра: «Не правда ли, как мило? Не то, что в годы, когда вам пришлось оттуда бежать!» Он мрачно ответил: «Вы не понимаете главного в этой трагедии — они и тогда были так же милы!»

Ездить в Германию опасно. Вы рискуете стать циником и разувериться в существовании справедливости. Безнаказанные преступления вопиют к небу. Добродетель жертв не вознаграждается. Немцы, в изобилии населяющие эту страну, включая отсидевших в тюрьмах военных преступников, во многом (и хорошем, и плохом) похожи на всех других людей.

Впервые я приехал в Германию, в город Карлсруэ («Покой-утеха-Карла»), построенный герцогом Баден-Вюртембергским для своего удовольствия по собственному проекту, и этой заданностью, приспособленностью к личному капризу избалованного монарха, напоминающий петербургские парки, Петергоф или Царское село.

Моим научным партнером был очень знающий химик, Вольфганг, — мужиковатый дядька, в рабочие часы занятый наукой,

а в остальное время увлеченный своим домом, садом и рецептами разных сортов фруктового самогона (Obst). Хотя он сам свободно говорил по-английски, но сообщил мне, что еще мать его была настолько проста, что, впервые увидев после войны в соседнем огороде британского солдата, позвала его и сказала: «Смотри-ка, а ведь он почти совсем такой как мы!».

Своими деревенскими манерами он никак не гармонировал с прославленным либеральным университетом (где Генрих Герц открыл радиоволны), жил на отшибе за городом, приезжал на работу на велосипеде и в служебном кабинете держал большую бутылку коньяка. Квартира, которую он якобы «снял специально для меня» в центре города за очень внушительные деньги, вычтенные из моего содержания, впоследствии оказалась его собственной. При совместных посещениях ресторана гораздо чаще, чем позволяют приличия, он начинал шарить по карманам и вспоминать, что забыл деньги дома. Это даже придавало его облику оттенок своеобразного очарования лукавой искренности на фоне суперевропейского лоска его породистых коллег. Особенно извел меня своими изысканными манерами декан факультета — потомок одного из знаменитых ученых, составивших славу Университета.

Книг в доме Вольфганга почти не было, но он каждый день читал Библию, объяснив, что так его приучили родители. Однажды он спросил меня, в чем, собственно, состоит ключевой момент веры ортодоксальных евреев, который отличает их от христиан. Я ответил, что, если все евреи в один прекрасный день выполняют все требования, которые наложил на них Господь, грянет Конец дней и мир переменится. Вольфганг вздрогнул. Было заметно, что он слегка испугался, но все же быстро оправился и пошутил, что рассчитывает на мою Нину, которая в таком случае, конечно, найдет, что нарушить. Потом он всерьез спросил, не создает ли такая ответственность особую атмосферу психического давления, которая

может быть тяжела для самочувствия простого человека. Я согласился, что несомненно создает.

Вольфганг дал мне в помощь двух студентов и они, думая что я не понимаю их немецкого, не стеснялись потешаться, пересказывая друг другу, как наш профессор после нескольких часов в кабинете наедине с бутылкой не мог вдеть ногу в велосипедное стремя.

Тем не менее Вольфганг очень хорошо понимал научную конъюнктуру и в лаборатории был мастер на все руки. Мы с ним оказались однолетки. В 14 лет он встретил русскую армию в Берлине. Один русский солдат выхватил у него из рук велосипед и в ответ на протестующее восклицание Вольфганга прицелился в него из автомата. Теперь Вольфганг не может вспомнить, как ему удалось убежать, потому, что это произошло уже почти без участия его сознания...

Считая долгом гостеприимства свозить меня на природу, Вольфганг потащил меня на далекую рейнскую переправу.

При виде прадедовского деревянного парома, который перевозчики канатом и воротом тянули на другую сторону, он неожиданно с совершенно славянофильской слезой заговорил о исконной талантливости простого немецкого мужика, который («в отличие от зазнаек-американцев») сам додумался до такого гениального устройства. Я решил, что все равно не смогу донести до него самоуничтожительный юмор русской псевдо-народной песни: «Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, а наш русский мужик...» и не открыл ему, что такие же гениальные устройства украшают все русские реки от Украины до Алтая, куда англичанин-мудрец не добрался еще до сих пор.

Я легко сработался со студентами. В то время как один из них был немецкий флегматик и ни о чем кроме своей диссертации не способен был говорить, другой поражал меня своей необыкновен-

ной возбудимостью и болезненной склонностью к общественному протесту. Время от времени по разным поводам он выкрикивал: «Полицейские — это убийцы!», «У нас — немцев — бюрократизм в крови!» и, наконец, — «Стыдно быть немцем!». Я его заподозрил: уж не еврей ли он?

Действительно, наедине, во время ночных измерений открылась мне о нем еще более ужасная правда... Я принес из супермаркета кока-колу. Он выпил и сказал, что, если бы отец узнал, что он пьет кока-колу, он бы его проклял. — А кто ваш отец? — Его отец был выдающийся химик. При Гитлере выяснилось, что, будучи только наполовину евреем, он по закону подлежал не уничтожению, а всего лишь стерилизации... Благодаря поддержке научной общественности, суд все-таки дал ему временную отсрочку в исполнении приговора и разрешение пока работать на пользу германского рейха. Благодаря этой отсрочке (при этом половая связь с арийской женщиной все это время означала для него смертный приговор) он дотянул до американской оккупации. Встретив американские войска со слезами умиления, он немедленно женился и вскоре произвел на свет моего нервного друга. К спасителям-американцам он относился молитвенно, и в первый же субботний год помчался в Америку, родину свободы и светоч культуры.

Года оказалось достаточно, чтобы он их возненавидел. Американцы пили кока-колу, жевали жвачку и бросали обертки мимо урн. Они не читали Шопенгауэра и ходили на лекции в дранных джинсах. На улицах их городов валялись корки от апельсинов и мячная шелуха. Одурманенные наркотиками черные преступники бродили без привязи в непредусмотренных направлениях. Целые кварталы были населены одичавшими бродягами и завалены мусорными баррикадами. Он понял, что настоящая культура осталась в Германии, и прискорбный эпизод, жертвой которого стал он лично, был только случайным, нехарактерным отклонением от того истинно европейского, единственно цивилизованного обра-

за жизни, который теперь, конечно, окончательно восторжествует. Своего сына он воспитал без кока-колы и Мак-Дональдса. До 20 лет ему ни разу не довелось увидеть голливудский фильм. Он не слышал об Уолте Диснее и Микки Маусе. И жвачки он тоже, конечно, никогда не держал во рту...

Слушая этот бред, я думал не о несчастном, помешавшемся от полового воздержания педанте, а о том, какая страшная сила сидит в еврейских генах, если и жалкой четвертушки было достаточно, чтобы сделать парня таким типичным евреем, что даже в ультралиберальной атмосфере Университета, в неправдоподобно уютном, игрушечном Карлсруэ, среди сплошных «битте шон» и «данке шон» он вырастает непримиримым диссидентом... Спустя пару лет парень эмигрировал в Америку...

Однажды по дороге в Мюнхен мы с Ниной заночевали в деревне «Верхние крестьяне» (Oberbauern). Утром нас разбудила громовая маршевая музыка. Выглянув в окно, мы увидели примерно роту солдат в треуголках и в белых чулках с допотопными ружьями и знаменами, марширующую вдоль главной улицы. За солдатами везли пушку XV111 в., а следом маршировали все деревенские мальчишки. Мы выскочили вслед за отрядом. На центральной площади солдаты построились в каре. Увешанный орденами, дюжий командир с подъемом произнес речь. С пятого на десятое я понял его немецкий так, что сегодня исполняется то ли 200, то ли 300 лет с того славного дня, когда был сформирован их Баварский Егерский Полк Горных Стрелков, в котором с тех пор эти верхние крестьяне из поколения в поколение неизменно с честью служили. В заключение торжественной части они выстрелили из пушки, правда не в нас, но очень живо... Опять заиграла музыка, и крестьяне в треуголках подхватили крестьянок в чепчиках (они уже поджидали солдат на площади) и стали танцевать. Этот спектакль был не для туристов — мы были единственные посетители

в гостинице — так эти люди на самом деле живут в своей деревне (и так же верно служат, хотя уже и без треуголок и не в белых чулках). Потом мы видели еще множество таких мини-спектаклей — некоторые и для туристов — но все они были с энтузиазмом разыграны самими «верхними» или «нижними» крестьянами. Например, каждую годовщину Крестьянской войны все население деревни, где это началось 500 лет назад, старательно представляет ее на гигантском поле перед зрителями, собравшимися со всей страны: пушки палят, кони скачут, избы пылают, толпы крестьян с вилами штурмуют бастионы... Вся деревня (пять сотен человек) вовлечена в действие, и каждый знает свою роль за год вперед.

Трудно утверждать, что немцы вообще артистичны или обнаруживают тонкий вкус, но и самодеятельные артисты, и жующие зрители (праздник обязательно сопровождается сосисками и пивом) неизменно увлечены традиционным действием и расположены к сопереживанию.

Впрочем, и туристы в Германии — хотя и горожане, но в подавляющем большинстве свои же немцы, а не иностранные посетители — исполняют какой-то своеобразный ритуал, не лишенный артистизма. Немецкого туриста всегда можно отличить от иностранца, потому что у него для пешего путешествия припасен специальный реквизит: тяжелые ботинки, тирольская шляпа с пером, короткие штаны, носки гольф до колен... Проверьте: если носки у дамы зеленого цвета, угол платочка в кармане охотничьей куртки ее кавалера — того же колера. Или наоборот — шейный платок дамы — в цвет к его носкам. (Впрочем, спустя 20 лет, туристы сильно продвинулись к американской полустуденческой стилистике. Кеды и джинсы стали преобладать.) Но они по-прежнему со вкусом обходят пешком все тропинки своей родины, едят местные пироги (kuchen — скорее, пирожные) на всех деревенских праздниках, подолгу сидят и громко смеются под кабаньими мордами и оле-

ными рогами в придорожных ресторанах. Рестораны приютились в нарочито глухих, как бы заброшенных местах.

Узнав, что вы из Израиля, немцы демонстрируют несколько повышенную радость от нечаянной встречи и сообщают, что несколько лет назад тоже были в Израиле (обычно в Эйлате).

Толстый, веселый и насмешливый профессор Фридрих в Марбурге (в университете, где 90 лет назад Борис Пастернак учился философии у знаменитого Германа Коэна), сидя за рулем, жаловался, что даже через 40 лет после нацизма Германия все еще не свободная страна — приличия и правила опутывают всякого немца, как паутина. Свобода, как он это понимал, определяется не государственным устройством, а легкостью, с которой отдельный гражданин принимает для себя (либо отвергает) социальные условия. В ходе этого разговора он, то и дело, поворачивался ко мне лицом и вел машину так небрежно, что временами задевал белую разделительную полосу на шоссе. Его ученик, сидевший рядом с ним, не выдержал и вскрикнул пару раз: «Профессор, что Вы делаете!» — Фридрих засмеялся и сострил: «Ну, не будьте таким типичным немцем, Курт.» Но упрямый, опутанный правилами, Курт откровенно заявил, что предпочитает остаться в живых, даже считаясь немцем, чем разбиться в результате профессорских пируэтов.

Именно там, в Марбурге, из окна моего отеля мне привелось наблюдать демонстрацию неофашистов. Правильнее было бы назвать это демонстрацией антифашистов, потому что митинг кучки недорослей дал всем городским партиям повод поднять на бурное политическое волеизъявление все население города и далеких окрестностей. Моя комната помещалась на втором этаже и из окна, прямо подо мной, мне была видна лысина старого нациста, который сидел на председательском месте и, по-видимому, дирижировал. Вокруг него суетился тесный кружок (человек 30)

молодых людей зашитых в черную кожу, которые, очевидно, проносили речи. Во всяком случае было видно, что они открывают рты. Однако, расслышать их было невозможно из-за оглушающего рева многотысячной толпы: «Nazi-raus!» (Долой нацистов!). Толпа волновалась и напирала. Кружок нацистов защищала плотная цепь полицейских, стоявших плечом к плечу. Колонны демократических демонстрантов с плакатами проходили одна за другой, обтекая жалкую кучку сопляков со старым злодеем во главе. После прочтения лозунгов на плакатах мне стало ясно, что у социалистов (а у либералов, тем более) не было никакого шанса собрать эти ревущие толпы без любезной помощи своих идейных противников. Вот — то единственное, счастливо найденное еще Гитлером, что создает атмосферу политического возбуждения — присутствие врага!

Похоже, скептик Фридрих тоже это понимал и, несмотря на их бурный антифашистский энтузиазм, довольно низко оценивал уровень демократического сознания своих соотечественников. Похоже, что он просчитывал и виртуальную возможность обратного варианта, при котором кучка социалистов пугливо митинговала бы в центре, а вокруг маршировали бы поощряемые властями толпы с оглушающими криками: «Sozi raus!»...

Незабываемое впечатление на меня произвело черное марбургское пиво, которого нигде в мире больше нет. Оно волшебным образом дополнило сказочную атмосферу средневекового города, удачно избежавшего бомбардировок Второй мировой войны за отсутствием военной промышленности.

Первое время мой личный опыт относился только к южной и западной Германии — Баден-Вюртемберг, Бавария, Пфальц. Возможно, — думал я, — та темная Валгалла, из которой повылезла вся германская нечисть, это только северная и восточная Германия —

родина пруссачества. Конечно, ведь хрестоматийные немцы — это пруссаки...

Нет, — и эта гипотеза не подтвердилась. В Берлинском институте физики все стены были увешаны таблицами с портретами передовиков Прусской Академии наук, которые еще со времен Фридриха Великого опередили французов во всех направлениях. В их истории протестантская Пруссия оказалась чуть ли не родиной либерализма и прогресса, первым гарантом народного просвещения. К тому же эти таблицы пестрят портретами евреев. Пруссия одна из первых в Европе пожаловала им равноправие. Это случилось тоже по воле Фридриха 11, который был масоном.

В Музее истории франк-масонов в Байрейте в списке «русской логи» нахожу знакомые имена — Александра Сергеевича Пушкина и Льва Николаевича Толстого. Музей масонства, запрещенного нацистами («жидо-масоны» — это штамп нацистского режима, масонство при Гитлере преследовалось), из-за того, что масоны не признают вероисповедного и расового неравенства, стоит вплотную к дому Рихарда Вагнера и его зятя, А. С. Чемберлена, автора расовой теории, составившей основу нацистской идеологии. Гитлер любил сюда приезжать и отдыхать душой в их доме.

В Берлине моим многолетним немецким партнером оказался Ульрих, специалист по оптике. Его отец был морским офицером, и в нем тоже сохранилась какая-то военно-морская молодцеватость, хотя чеховская борода все же напоминала о его профессорском звании. Окончив университет, он провел несколько лет в Америке, в Беркли, рассаднике студенческой левизны в 60-ых, и очень забавным образом совмещал идейную непримиримость к акулам капитализма с преданностью лютеранской церкви.

В Германии теперь практически не осталось ученых, которые не прошли бы через американские университеты, не говорили бы с легкостью по-английски, не усвоили бы в какой-то степени аме-

риканский панибратский стиль и их свободные манеры. Но он сочетал это с европейским шармом, любовью к обеденному ритуалу с интеллигентным разговором и тонким пониманием сортов рейнских вин. Когда я подивился богатству ассортимента и качеству немецких вин, о которых никогда прежде не слышал, он разъяснил, что «у нас в Германии принято лучшее оставлять в стране для себя, а не расточать на экспорт». Вспомнив марбургское пиво, я вынужден был с ним согласиться.

В отличие от деревенского дома Вольфганга, вдоль всех стен здесь тянулись книжные полки с очень неплохим набором книг. Они оба с женой были активными членами лютеранской церковной общины, и много лет всерьез увлекались своей помощью черным священникам Южной Африки в их борьбе против апартеида.

Несколько раз на протяжении пятнадцати лет Ульрих начинал со мной неуверенный разговор о страданиях палестинцев, но каждый раз бывал заново испуган моей, непривычной в сегодняшней Европе, мыслью, что страдания их происходят совсем не от злокозненного Израиля, а, в основном, от Арабской лиги, Г. А. Насера, короля Хусейна и, наконец, от самого Арафата, который не дает им жить спокойно.

Даже в Германии эта мысль остается не вполне внятной большинству. Когда жена Вольфганга в Карлсруэ выспрашивала меня о жизни в СССР, у нее после нескольких моих ответов вырвалось невольное восклицание: «Но как же люди это терпят?!» Тут любитель фруктового самогона оказался на высоте. Он засмеялся: «А какой у них выбор? Ты вспомни, как наши родители терпели Гитлера!» Такой реализм — действительно большая редкость и должен быть приписан крестьянской близости моего Вольфганга к земле. Обыватель редко способен живо представить себе ситуацию в чужой стране и полагается на газеты. В результате преувеличенного внимания прессы к Израилю у многих читателей газет в Европе сложилось ложное представление,

будто они хорошо понимают «кто есть кто». Насколько это впечатление ложно, видно хотя бы из того факта, что всего несколько лет назад даже политический советник израильского премьер-министра откровенно признавался, что совершенно не понимает Арафата (тем самым невольно признавая свою некомпетентность!). Может ли его понять средний немец, читающий газету после обеда с пятого на десятое? Впрочем, я встречал и таких, у которых простой здравый смысл перевешивал свежеусвоенный германский пацифизм, и они интимно-пониженным тоном советовали мне «прикончить всех этих распоясавшихся бандитов».

После очередного упоминания об «оккупированных территориях» и «страданиях палестинских беженцев» я не выдержал и порекомендовал Ульриху переключиться на страдания миллионов немецких беженцев из Польши, Чехии, Трансильвании, а особенно, из Восточной Пруссии. Подумать только, что все эти территории были оккупированы без всякого оправдания. И, кстати, как там обстояло дело с правами человека?

— В ответ он смутился и несколько неуверенно протянул: «Но мы же проиграли войну! Не правда ли?»... — А как, по-вашему, арабы? — спросил я. — Этого в их школе не проходили...

Как-то в Америке нам пришлось разговориться с хозяйкой придорожного мотельчика. Она оказалась судетской немкой и рассказала, как им с братом (тогда, еще детям) пришлось бежать из Чехии. От смерти в руках разъяренных чехов их спасла только счастливая мысль деда представляться евреями.

Российский немец Василий, снимавший угол у нашей хозяйки в Пфальце, бежал из Казахстана, потому что новое казахское правительство навязало их немецкому колхозу казахов-переселенцев из Китая (казахи тоже ввели у себя «право на возвращение», и из коммунистического Китая хлынул поток...). Отощавшие репатрианты стали жить за счет процветавшего колхоза, пожирая се-

менной фонд, порываясь резать скот, издеваясь над запасливыми немцами... Мысль вложить свою лепту в их общее благосостояние кочевникам и в голову не приходила. Немцы кинулись бежать. Василий, поселившись в Западной Германии, подружился с дорожными рабочими, строившими шоссе, и в один из уикэндов они взяли его с собой на экскурсию в Дахау. После того, как он увидел лагерь смерти в Дахау, он забыл все свои претензии к казахам и русским. Он объяснил, что расхотел быть немцем и постарается теперь отправить детей в Америку... Повезет ли им в Америке встретить другую породу человека?

Один из моих тель-авивских студентов после защиты диплома поступил к Ульриху в аспирантуру. Это общепринято в ученом сообществе. Я не выбирал для него самого нестандартного из моих студентов, но так за нас решила судьба.

Мой Юлик (кроме русского) говорил только на пиджин-инглиш, приходил на свидания с опозданием на часы (если не дни), невымытый и заспанный, и работал, только когда хотел (в основном, по ночам). Остальное время он придирался к учебникам и всяким общепринятым предрассудкам, опровергал сложившиеся авторитеты (особенно тупых догматиков, населявших германские университеты) и заедался на семинарах. Его необязательность и неаккуратность приводила в ужас не только педантичных немцев, но даже и моих ивритоязычных студентов. Его способность спорить, о чем угодно, наводила на мысль, что содержание спора ему безразлично. При этом он был очень умен, часто предлагал оригинальные технические решения и в научной дискуссии совершенно не стеснялся в выражениях, так что только явное убожество его английского отчасти смягчало оскорбительный смысл его замечаний.

Он проработал в Берлине семь или восемь лет, успел жениться на немецкой женщине и развестись с нею, защитил диссертацию и отбыл в Америку, так и не выучив ни одного немецкого слова.

Ульрих героически перетерпел все, время от времени со всепонимающей улыбкой тихо жалуясь мне. Я думаю, он воспринимал Юлика (а, может быть, и меня) как божье наказание, посланное ему за грехи отцов. Но, вместе с тем, кажется, отчасти любовался своей христианской кротостью.

Деревне, где мы проводим лето, 700-лет. В XVII в. она была пожалована герцогскому лесничему и охотничьему (Jaegermeister), кавалеру фон Хакке, положившему начало расцвету местного благосостояния. Он основал здесь кузню и водопровод, которые подробно описаны местными краеведами в проспекте их крошечного музея.

Выходя в лес по грибы, мы проходим по переулку, который называется «К еврейской горке» (Am Juedenhuebel). Горка заросла густым лесом. Что в ней еврейского? Кроме грибов?..

Краеведы, молодой заведующий музеем (по фамилии Маркс) и пожилой энтузиаст, бывший завуч школы, досконально изучив историю этих последних 700 лет, на вопрос, почему горка так странно называется, ответить не смогли. Водопровод, правда, почему-то начинался именно оттуда. Может быть, там жили евреи?

— Не знают. Может быть, не хотят знать?

Весь окружающий пейзаж перенасыщен еврейскими воспоминаниями. Евреи прожили здесь столько столетий, что могли бы называть эти места исторической родиной. Названия окружающих городов — Кандель, Фел, Гинзбург, Ландау, Эттингер — напоминают список учеников в еврейской школе. Города Вормс и Шпейер вписаны в историю евреев с большим драматизмом, чем в историю Германии.

В Кайзерслаутерне, бывшей резиденции Фридриха Барбароссы, есть Синагогальная площадь. Это красивый, зеленый сквер, в уголке которого скромно стоит камень, на котором можно про-

читать, что до 1938 г. здесь красовалась синагога, варварски разрушенная национал-социалистами во время погрома. (С тех пор в этом сквере появился более впечатляющий памятник в виде арки у входа в сквер.) В 50 км. к западу расположено курортное местечко Дан (тоже странное имя для немецкого города), где сохранилось старое еврейское кладбище (с XVII по XIX в.). После нескольких пробных осквернений скинхедами, по инициативе учителя гимназии за кладбищем стали ухаживать местные школьники. Живых евреев не видно, если не считать художницы — экстравагантной американской еврейки — который год безуспешно пытающейся организовать здесь школу рисования.

Зачем местным жителям школа рисования, когда и так трогательными картинками украшены у них все открытки, все календари и вся туалетная бумага? Все магазины, все витрины, все балконы и крылечки, все палисадники уставлены керамическими уточками, петушками, олененками, ежиками, гномиками, призванными массовым предложением перекрыть массовый спрос на красоту. Все наружные двери в деревне увешаны соломенными веночками, символизирующими близость к природе и простоту нравов. Все рестораны увешаны косами, вилами, хомутами и уздечками, намекающими на то же самое. Раз в год проходит конкурс среди домохозяек района на самое красивое украшение дома цветами. Нужно сказать, что в этом (и еще в пирогах) они проявляют истинное художественное чутье.

Наша домохозяйка, рослая, решительная 65-летняя женщина, целые дни наводящая в доме немислимую чистоту и ухитряющаяся с полуслова схватывать наш полунемецкий язык, пригласила съездить с ней в ее родную деревню. Дед ее был крестьянином и владел земельным участком километров на сто к востоку, а отец переселился в город и стал полицейским. Недавно ее брат из сентиментальных побуждений откупил небольшой кусок дедовской

земли с пристройкой, сохранившейся от их дома. Они договорились там встретиться, но у нее болела нога, и она пригласила нас, чтобы я вел машину. По дороге она рассказывала про их счастливую детскую жизнь у бабушки в деревне, пока американцы вдруг с самолетов не начали обстреливать их по дороге в школу («Вот, ведь — звери!»), а потом — уже во время оккупации — ни за что, ни про что арестовали ее отца. «Отец был очень хороший человек. Это знал весь город. Он был очень честный человек. Он даже не носил форму. Это называлось Geheimpolizei.» (Тайная полиция. — Т. е., Гестапо?!).

— И во все время войны он оставался в городе?

— «Нет, в 1942 его командировали в Словакию, но потом он вернулся».

Надо полагать, честный человек честно выполнил свое задание в Словакии и не рассказывал подробности детям.

— «Когда американцы пришли, они арестовали и мать». — А за что мать? — «У нее в доме прятались от плена наши солдаты, и она их кормила... Анька донесла. Тут у соседа в доме работала русская, и она донесла. А потом у него жена умерла, и он на Аньке женился. Мать-то скоро выпустили, а отцу десять лет дали. Он после тюрьмы вскоре умер.»

Невинные жертвы денацификации...

(Время от времени Нина возникала с риторическим вопросом: «А кто войну начал?», но я сомневаюсь, что смысл этого вопроса был понят.

— Во-первых, войну никто не начинал — «она разразилась». Во-вторых, в самом деле, ведь не домохозяйка же наша ее начала и даже не ее отец.

— А что за русская? «Да, из России прислали на работу по разнарядке. Семнадцать лет ей было.» — А где она теперь? — «Да здесь же. Вон тот дом с краю. Он на ней женился и она четверых сыновей ему

родила. А он умер недавно. Хотите с ней по-русски поговорить? Вон туда заезжайте.»

Угнанные в Германию русские люди. Подневольный, рабский труд...

В большом, грязном крестьянском дворе, куда мы заехали, был видимо, послеобеденный перерыв. Четверо дюжих, бородатых немцев молча, сосредоточенно курили трубки. На пороге дома сидела древняя старуха. Они с нашей хозяйкой сердечно расцеловались...

Это и была Анька. Четыре вдумчивых участника перекура были ее сыновья. В ответ на русскую речь она стала бормотать что-то неразборчивое. После большого усилия, мы уловили, что она говорит по-украински (по-галицки), с трудом припоминая слова... Сыновья скептически безучастно наблюдали эту сцену, не выходя из своего, по-видимому, привычного, состояния блаженного полусна. Двор был совершенно необычно для Германии загроможден и захламлен. Он напоминал знакомые нам с юности деревенские картины. Может быть, именно в этом совершенном отсутствии побуждения навести вокруг себя немецкий уют и порядок невольно сказались в сыновьях плененная материнская кровь?

Через дорогу открывался прелестный вид на зеленую лужайку с редкими деревьями, по которой бродили коровы и лошади. Я впервые видел, что коровы и лошади пасутся вместе и стал приглядываться внимательнее. Вскоре обнаружился еще и осел. В ответ на мой вопрос, хозяйка произнесла загадочную фразу: «А.., это дом отдыха.»

— И эти животные для развлечения отдыхающих? — предположил я.

— «Нет, — сказала она — животные и есть отдыхающие.» — То есть, им дают перерыв в работе? — «Да нет, здесь живут живот-

ные, которые уже не годятся для работы, и они могут здесь отдохнуть.» — Кто же содержит это учреждение? — «Один человек купил участок и разбил здесь парк для животных, которые уже никому не нужны.» — Для чего?

— «Ну, чтобы они отдыхали.»

Овцы там обнаружались тоже. Для комплекта не хватало только волков, чтобы возлежать в райском согласии...

Брат ее оборудовал пристройку под летнее жилье, до предела начиненное радио- и видео-оборудованием и дал нам послушать BBC про израильско-палестинский конфликт, не углубляясь в обсуждение.

Пока диктор рассказывал про возмутительное поведение израильтян на оккупированной территории, они с сестрой оглядывались по сторонам, вспоминая свои детские проделки, где что росло, куда что делось...

На участке росла только густая трава, кусты, и бегали белоголовые внуки. Сын его женился на чешке, и они были в нее.

В первый раз в Берлине я счел своим долгом посетить еврейскую общину. После молитвы в синагоге в субботу накрывают стол для всех желающих. Вполне качественная выпивка и закуска. Почти все желающие, оказалось, говорят по-русски. И несколько преувеличенно подчеркивают свое еврейство. Это — свежеприбывшие. Спустя пару лет, когда все формы поддержки уже исчерпаны, большинство из них теряет интерес к еврейству и совместной выпивке и наполняется едким раздражением к общине. По-видимому, это тот срок, по истечении которого от них начинают требовать ответного вклада. Меня, впрочем, поразило неистощимое гостеприимство и стабильное благополучие общины, состоящей из таких ненадежных членов, и я спросил одного из руководителей, откуда приходят их средства. Он ответил, ни на минуту не запнувшись:

«От эсэсовцев.» — Как? — я был несколько шокирован. — «Очень просто, многие бывшие эсэсовцы, жертвуют теперь свои деньги еврейской общине ... Ведь им было тогда в среднем по 20 лет. Что они понимали?»

В светском разговоре с другим немецким коллегой-профессором выяснилось, что он не одобрял назначение главой Берлинской еврейской общины известного там общественного деятеля, Гейнца Галинского. Мне он тоже не нравился, но все же я счел необходимым возразить: Он — человек, пострадавший от нацизма, бывший узник Освенцима. «Вот, именно поэтому, — ответил коллега — я против его назначения... Мою родную тетку изнасиловали пятнадцать русских солдат. Представляете, 15 монголов! (Так он представлял себе русских солдат.) Она потом месяц лежала в госпитале, ее зашивали и все такое... Так вот, если бы меня спросили, кого теперь назначить для налаживания добрососедских отношений с русскими, должен ли я был назвать свою тетку наилучшим кандидатом?»

Несколько лет назад Галинский умер и председателем Берлинской общины стал Александр Бреннер, знакомый мне еще по временам, когда он был культурным аташе германского посольства в Израиле. Я позвонил ему, и он пригласил меня на ланч. За годы, прошедшие с тех пор, как я там не был, община переселилась в роскошно отремонтированное здание старой синагоги. Но теперь меня поразила фронтальная атмосфера, царившая вокруг. Броневики и солдаты в касках с ружьями наизготовку, перекрывшие улицу, создавали впечатление, будто мы не в центре Европы, а в Хевроне в разгар интифады. После обыска и просвечивания я все же был допущен к председателю.

Мы посидели пару минут в его кабинете, вспоминая прошлое, и вышли в коридор. За нами увязались какие-то два подозрительных типа. Я спросил Бреннера, что им от него надо. Он сказал:

«Не обращайтесь внимания. Это охрана.» На улице один шел перед нами, а другой сзади. Передний зашел в кафе и, оглядев зал, кивком предложил нам войти. Все время, пока мы ели, они, не садясь, маячили невдалеке. Бреннер объяснил, что приходится это терпеть, потому что отношение к еврейской общине в глазах международных организаций превратилось в индикатор уровня либерализма в Германии, и правительство панически боится всякого антисемитского выпада, который может всерьез подорвать их кредит. Конечно, это всем им уже жутко надоело, но такова сила инерции последних 50-ти лет, и с этим ничего не поделаешь...

Баден-Баден, как и вообще эта часть страны, где германская прямолинейность разбавлена следами средиземноморских влияний, через все века несет в себе некую неправдоподобную весть, особенно внятную изверившемуся российскому выходцу.

В этом городе вилл, обжитом со времен римских императоров, под столетними деревьями, под купами цветов, свисающих с балконов, у прозрачных ручьев украшенных узорными мостками начинает казаться, что жизнь человека осмысленна или, по крайней мере, может быть сделана осмысленной путем неотступного организованного усилия большой массы народа, направленного на ее улучшение и украшение.

Нарядные толпы дружелюбно чирикающие на всех языках бродят по живописным улицам, — все вокруг добры и предупредительны. Безупречно отглаженные господа и изысканно причесанные дамы сидят у мраморных столиков в элегантных кондитерских, теннисисты в белых шортах точными движениями отбивают мячи на разлинованных площадках, разноцветные купальные шапочки весело пестрят под фонтанами в открытом бассейне в Термах Каракаллы... «Анна унд Марта баден»... Волны симфонической музыки набегают со стороны курхауза, где расположена открытая эстрада. Человек по природе благонамерен и рожден для проду-

манного и умеренного счастья,.. как хорошо построенный аэроплан для полета.

Эти-то парковые аллеи Баден-Бадена и стали русским фантомом — чертежом «хрустального дворца всеобщего счастья», выстроенного трудами классических русских писателей в сознании (подсознании) доперестроечного российского гражданина. Русский выходец уверенно узнает здесь корень и основание своего идеализма, возвращенного святой русской литературой, которой крепостное право давало средства жить и творить в таком доброжелательном окружении. В парке, недалеко от казино, где Ф. Достоевский просаживал приданное жены, стоит памятник И. Тургеневу, который здесь создавал свои романы, полные чарующих описаний русской природы. И. Гончаров писал здесь свой «Обрыв»... Недалеко от отеля, где он жил, расположена и православная церковь, которую меня особенно настойчиво приглашал посетить мой молодой германский коллега, не будучи в состоянии отделаться от впечатления, что все русские — православные. Убежденный послевоенной немецкой пропагандой, что евреи такие же люди, как все, он деликатно, но настойчиво игнорировал мои ссылки на мое еврейское происхождение.

То невообразимое и непредставимое, что произошло в Германии в тридцатые годы, здесь хочется посчитать случайным, нехарактерным. Баден-Баден, как будто, претендует остаться в стороне от этого небольшого их национального *faux-pas*, о котором тут, под сенью платанов, видевших и слышавших так много прекрасного, и поминать-то неловко, чуть ли не мелко, недостойно этого места — обиталища муз — и нашего времени — уверенного господства либерализма — прямо вослед тайному советнику Вольфгангу Гете. Что там случилось, в краткий период общего беспамятства — не одни ведь немцы виноваты, не правда ли? — суета сует и неурядицы...

Вулканический взрыв, который потряс Европу в середине прошлого века был только предзнаменованием, обнажившим клочущую лаву под коркой цивилизации. Произошло ли это от развития производительных сил, как учили нас в школе, или от упадка веры, как предвидел Ф. М. Достоевский, но его «подпольный человек» вырвался на поверхность жизни и захотел переделать мир по своему образу и пожеланию.

Образ этот в России был один, а в Германии оказался другим, но в обоих случаях «законы природы» были радикально похерены. Какое избирателю дело, «что так невозможно устроить». Какое ему дело, вообще, как устроен мир?

«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?.. Согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но... и дважды два пять — премилая иногда вещица... Рассудок есть вещь хорошая, но... удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями...»

(Ф. М. Достоевский «Человек из подполья»).

Собственно, урок XX века свелся к тому, что никаких «законов природы» в человеческом обществе вообще не существует, и один человек может повернуть весь ход истории по своему капризу (в соответствии «со всеми почесываниями»), было бы только у него достаточно средств. — Кажется, к началу XXI-го средства, как раз, накопились...

Каждое воскресенье человека в Германии будит колокольный звон.

Трудно на улице или в университете отличить верующего от неверующего, но легко увидеть, как много людей ходит петь в церковный хор, жертвует для бедных и ест пироги на церковных праз-

дниках. В деревне это 90%, но и в городе колокола звонят не зря. Трудно понять со стороны, в какой степени людей влечет в церковь вера, в какой привычка, а в какой — хорошая музыка. Важно заметить, что очень многие туда ходят. Мой мужиковатый коллега Вольфганг регулярно читал Библию — хотя при этом никаких следов религиозности не обнаруживал. Интеллигентный коллега Ульрих не только читал много книг, но и произносил горячие речи на собраниях своей лютеранской общины. Инженеры Отто и Иоахим регулярно пели в церковном хоре.

В «нашей» деревне католическая церковь и лютеранская стоят почти рядом. Хотя у католиков кофе и пироги выглядят более изысканно, у лютеран зато более непринужденная атмосфера. Молодой, веселый пастор одет в вельветовую куртку и мятые штаны и заодно учит местных детей в школе музыке и физкультуре.

На летние каникулы деревня принимает у себя для оздоровления группу белорусских детей от 8 до 15 из окрестностей Чернобыля, терпеливо снося, по-видимому, неизбежно связанный с этим беспорядок, включающий мелкое воровство и матерную ругань, которую, впрочем, немцы не различают. На краю деревни стоят большие крашенные ящики для обуви и одежды, которые церковные благотворители собирают для отсталых стран.

В Баварии утром встретился нам на лесной дороге взвод солдат. 30 парней, голых до пояса, тяжело дыша, гуськом бежали по дорожке, подгоняемые командиром. Первый солдат, увидев меня с Ниной, привычно произнес приветствие «Gruess Gott!», что, между прочим, значит «Благослови Бог!». Следующий за ним, продолжая бег, выдохнул то же самое и так повторилось 30 раз. Каждый из 30 современных немецких юношей, занятых своим нелегким делом, воспринял, однако, необходимость приветствовать встречного лично (а может и благословение для некоторых из них не пустой звук?), будто никакой дисциплинарной связи между ними

не было и учтливое поведение остается для каждого из них лично категорическим императивом. Если бы такое же индивидуальное сознание обнаружили в свои 20 лет хотя бы только те эсэсовцы, которым теперь пришло в голову жертвовать деньги еврейской общине, возможно, мы теперь другими глазами смотрели бы на германскую историю.

Но может быть они всего лишь опутаны своими немецкими правилами и их воспитанная с детства вежливость ничего не значит?

ЭДВАРД ТЕЛЛЕР И МИРСКАЯ СЛАВА

Мое знакомство с Эдвардом Теллером началось с его шокирующего вопроса «остался ли Ландау таким же дураком, как и в 30-е годы, когда они вместе участвовали в Семинаре Нильса Бора». Он имел в виду тогдашнюю наивную веру юного Льва Давидовича в советскую власть.

Поскольку я был знаком с ним гораздо позже этого периода, мне было легко заверить Теллера, что по моим наблюдениям Ландау в последние годы дураком совсем не был. В первые годы «оттепели» Ландау стали приглашать с популярными лекциями, и он высказывался настолько неортодоксально, что часто даже пугал советскую публику. Я помню, как после одной из таких лекций случайно подслушал разговор двух преданных партийцев из публики. Один из них страшно возмущался кощунственными речами Ландау, а второй уговаривал его, что «от Ландау государству столько пользы, что партия может позволить ему говорить, что он хочет.»

Я в свою очередь спросил Теллера, откуда у него в его молодые годы взялось столько проницательности, чтобы уже в двадцатые, в атмосфере левого энтузиазма в Западной Европе, ясно увидеть, куда идет дело?

Впрочем, и в 40-х, во время войны с Германией, Теллер был достаточно проникновен, чтобы горячо поддержать проект атомной бомбы. А в 50-х, и тем более в 70-х, он не испугался даже прозвучать поджигателем войны и махровым мракобесом, настаивая, что коммунизм — это всего лишь разновидность фашизма, и все, кому дорога свобода, должны строить защиту от него.

Как ни странно, в научном сообществе он был почти одинок. Его пессимистическая позиция не вызывала сочувствия прекраснородушных интеллигентов, а его чересчур прямая, эксцентричная манера (кстати, очень похожая на манеру Ландау) отпугивала людей, привыкших к принятым на Западе обтекаемым формам выражения. Те самые западные ученые, которые не знали как ярче выразить свое восхищение мужественной позицией профессора Сахарова, с трудом сохраняли простую вежливость в отношении профессора Теллера, сделавшего (и, по самому существу, думавшего) то же самое.

Теллер смолоду был уверен, что идея планируемого общества, которая восторжествовала в России, вообще ничем иным, кроме безграничной тирании не может обернуться, и потому советскому руководству заведомо нельзя доверять, что бы оно ни провозглашало. Собственно, это следует из того, что определять, в чем состоит планируемая общая польза, все равно должны будут люди, а поверить в объективность людей опыт истории не позволяет.

Мы разговорились, и я опять спросил Теллера, почему все-таки он смолоду, когда людям столь естественно питать иллюзии, был уже скептически настроен по отношению к человеческой природе, и ее склонности к добру. Он ответил, что в 1919 году, во время Советской революции в Венгрии, попутчики выбросили его на полном ходу из поезда, заподозрив в нем еврея. Они оказались правы. Он выжил. И, хотя он с тех пор хромает (ему тогда было 17), он благодарен судьбе за этот жестокий урок практического человековедения.

Конечно, это не объяснение. Почему одни люди (большинство) поддаются иллюзиям и коллективным психозам, несмотря даже на выдающийся интеллект, а другие — не поддаются, не знает никто. И никто не может защитить этих редких провидцев от общественного осуждения. Никто не вспомнит о них и после того, как это массовое очарование иллюзией испарится...

Теллер принял участие в работе над атомной, а потом и водородной бомбой, считая, что от нацизма, равно как и от коммунизма, следует ожидать смертельной опасности демократическому образу жизни, который ставит права отдельной личности на первое место.

Я не думаю, что он исходил из какой бы то ни было социальной теории. Просто его представления о человеческой природе и обществе, не будучи заслонены схематическими моделями, оказались гораздо более реалистическими, чем у его романтически настроенных сверстников и коллег, падких на теории и глобальные проекты.

Но как физики, они оба, и Сахаров и Теллер, работали над одной из самых важных для будущего человечества проблем: создание источника энергии, не зависящего от органических запасов Земли. Политики и журналисты всего мира видят здесь одну только бомбу, которая заслоняет им весь горизонт, но если человечеству суждена долгая жизнь, эта проблема вскоре станет проблемой номер один.

В ответ на мои извинения по поводу бедности моего английского, Теллер, в свою очередь, пожаловался, что и он тоже без напряжения может поболтать только по-венгерски и — вот уже тридцать лет — вынужден смириться с неадекватностью своих речевых возможностей... Но он рад, что мы оба в силах понять друг друга и на нашем ломаном английском, так что, если я буду в США, он с удовольствием опять со мной встретится.

Спустя полгода мы с женой были в Лос-Анжелесе. Так как местная еврейская община приложила большие усилия для нашего освобождения из СССР, ее руководство ликовало, видя нас у себя живыми и невредимыми, и устроило множество официальных встреч, которые совсем не оставили нам личного времени. Один из приемов в нашу честь носил более частный характер, и я спросил, могу ли я позвать на прием своего коллегу-физика. Разумеется, отказа не было, и я позвонил Теллеру. Он откликнулся с энтузиазмом.

Однако мои хозяева, увидев его имя, как ни странно, ответного энтузиазма не проявили. И я подумал, что все же демократическое общество слишком уж буквально понимает идею равенства, если участие такого выдающегося человека в званом вечере их не радует.

Тут, в Лос-Анжелесе, все для меня было неожиданным, — и умеренное торжество вокруг моей персоны, и явное пренебрежение к присутствию всемирно признанного великого ученого.

Гости — адвокаты, бизнесмены, зубные врачи и политики громко радовались очередной победе «мирового общественного мнения», которое вывело меня на свободу, а в ближайшем будущем приведет нас всех и к «разрядке международной напряженности», близкой дружбе с Советским Союзом и мирной, но убедительной, победе мира и демократии во всем мире.

Тут диссидентская натура Теллера не выдержала этого общего торжества принятия желаемого за действительное, и он громко потребовал от меня сказать несколько правдивых слов о реальном положении в Советском Союзе и возможном будущем.

Мне, конечно, и в голову не пришло, что это может огорчить наивных (или выглядевших такими) американцев, и я откровенно рассказал им, что советская политика в самой своей основе включает введение в заблуждение западного мира и недопущение эффективного общественного контроля на всей своей территории,

в то время как непосильные первоочередные расходы на вооружение оставляют простого советского человека лишенным основных жизненных благ. Россия одна из самых богатых природными ресурсами стран, но все ее богатства оказываются бесполезными для ее граждан. Производство оружия и конфронтация с Западом остается в СССР суперприоритетной задачей, обрекающей весь его народ на перманентную нищету. И это положение не может коренным образом измениться под влиянием демонстрации американского дружелюбия, потому что советское руководство как раз в дружелюбии не заинтересовано. Чтобы сохранить народное единство и поддержку, власти регулярно создают у своего населения впечатление внешней угрозы. Искусственная информационная замкнутость России ни в коем случае не позволит ее гражданам узнать фактическое положение дел.

Мне уже приходилось много раз выступать в Америке. Еврейская аудитория с напряженным вниманием относилась к положению евреев в СССР и восторженно воспринимала мои рассказы о нашей героической борьбе за свободу. Мои публичные выступления неизменно пользовались успехом. Но это мое выступление было первым, которое не снискало аплодисментов. Собравшиеся на этот вечер «акулы капитализма» решительно симпатизировали «социальной справедливости» и бесплатному зуболечению (среди гостей было много сказочно богатых зубных врачей), а трудности евреев в СССР воспринимали как досадные пятна, которые, как известно, бывают и на солнце...

Теллер был, похоже, единственным, кому моя речь понравилась. Остальные, наверное, приписали мои, не совсем для них привычные, заявления несовершенству моего английского, и после недолгого замешательства продолжили непринужденно веселиться и декларировать свои мирные намерения.

Поздно вечером, выдающийся адвокат, который отвозил нас в нашу гостиницу на своем роскошном кадиллаке, спросил меня,

имея в виду Теллера: «Вы давно знакомы с этим типом?». Я ответил, что со студенческих лет, хотя, к сожалению, только по литературе. Ведь он один из классиков в моей профессии. Для меня было большой честью познакомиться лично и найти с ним общие интересы...

«Вот, и напрасно, — отрезвил меня адвокат, — вы, наверное, не знаете, что это очень опасный человек, поджигатель войны. Он говорит, что в Советском Союзе нет никакой демократии, и что его правительство ведет постоянную скрытую войну против нас на всех континентах.» Я ответил, что советское руководство, конечно, не делилось со мной своими скрытыми планами, но именно такое впечатление создается у всякого советского гражданина, который следит за событиями внутри СССР.

Адвокат, как всякий гражданин демократического общества, привык подозревать в лицемерии только свое правительство («развращенность которого ему хорошо известна»), а всякое заявление врагов («о которых все же, не зная в точности всех фактов, нельзя судить сплеча»), оценивать, как, хотя бы отчасти, справедливое. Не убедив друг друга ни в чем, мы расстались друзьями.

В Америке, как и всюду, люди просто не хотят знать правду.

Михаил Александрович Леонтович как-то рассказывал мне, что однажды ему удалось настоящее политическое пророчество. В 1950-м он узнал, что А. Д. Сахаров решил теоретическую задачу синтеза легких элементов, и испытание водородной бомбы прошло успешно. «Сейчас начнется война!» — в ужасе воскликнул он (к счастью, в достаточно узком кругу).

Через месяц действительно началась война в Корее...

Впрочем, тогда американцы перестали тормозить проект Теллера, в 1951 испытание американской водородной бомбы тоже прошло успешно, равновесие было восстановлено, и война тут же кончилась на тех же рубежах, что и началась.

«Разрядка» 70-х тоже продолжалась недолго и вскоре сменилась новым витком «холодной войны», но репутация Теллера уже не улучшилась. Он так и остался в глазах широких кругов американской интеллигенции «поджигателем войны» и закоренелым «сторонником гонки вооружений».

Мне стало ясно, что на Западе иногда требуется гораздо больше мужества, чтобы поддержать правительственную политику, чем для того, чтобы против нее бороться.

МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«...человеческая реальность состоит не из времени и пространства, а из неизвестно чьих шепотов, бормотаний, выкриков и голосов.»

Виктор Пелевин «Зал поющих кариадид»

Волею судеб Израиль оказался связан с Западной (можно назвать ее и Европейской) цивилизацией бесчисленными нитями технических, экономических и моральных обязательств. А также парадоксальной сентиментальной преданностью большинства населения. Поэтому благополучие и безопасность этой цивилизации в слишком большой мере определяет и наше благополучие.

Способность этой цивилизации защититься от вторжения врагов или чуждых варварских норм поведения определяется не военными силами. Материальные силы свободного мира (с небольшой натяжкой можно эту цивилизацию называть и так) почти безграничны. Однако готовность западного человека следовать собственным принципам сегодня повсеместно сильно подорвана. Он и сам по временам не прочь повесить серьгу в нос, разрисовать татуировкой свое тело и заткнуть рот оппоненту. Во всех

европейских странах растет процент неонацистов, антиглобалистов, сатанистов и всяческих отщепенцев. ...Идея протеста ради самого протеста широко укоренена в интеллектуальных и художественных кругах.

В таких условиях избиратель (благо в этих демократических странах кое-что еще зависит от избирателя) хочет от своего политического руководства какого-то прояснения, как говорят журналисты, «политического горизонта».

Однако в делах и речах современных политиков часто поражают логические несуразности, непоследовательность, отсутствие исторической перспективы — недостаток всего того, что, казалось бы, должно составлять основу профессиональных качеств общественного деятеля. Это часто дает рядовым гражданам основания пренебрежительно судить о политическом руководстве и ощущать свое интеллектуальное превосходство. Возможно, оправданное...

Однажды на отдыхе мы с девятилетним внуком шли вдоль деревенской улицы в немецкой деревне, и он меня спросил: «Почему все в Израиле так сильно ругают правительство?». Мы в это время подошли к местному кафе, и я задержался с ответом, заходя напиться. У стойки с пивом толпились местные жители и громко орали. Все перекрывал мощный согласный рев: «Unsere Regierung — Scheisse!» («Наше правительство — говно!»). «Вот видишь», — сказал я внуку: «Мы не одиноки.»...

Издеваться над своим правительством даже вошло в джентльменский набор всякого западного интеллигента. Джорджа Буша американские интеллектуалы единогласно считали дураком. И Рейгана, кстати, тоже...

Однако, что такое интеллект и каким образом его можно применить к реальности общественной жизни?

Повидимому, интеллект — это способность анализировать сложную реальность, выделять существенные тенденции в хаоти-

ческом потоке событий, распутывать клубки противоречий, различать главные и второстепенные скрытые мотивы и предвидеть будущие последствия поведения людей и организаций. Одним словом, схематизировать. То есть, упрощать. Несомненно, что это хорошо для понимания действительности. Многие интеллектуалы хорошо ее понимают...

Хорошо ли это для эффективного воздействия на нее? Непременно ли для такого воздействия необходимо детальное понимание?

В этом, как раз, можно сомневаться.

Когда, выехав из России, я впервые посетил США, со мной захотели встретиться люди из РЭНД Корпорэйшн (исследовательская фирма, которая составляет аналитические обзоры для правительства).

Может быть, они рассчитывали узнать от меня какие-нибудь важные советские секреты?

Я пошел на встречу, уверенный, как и все российские диссиденты, до и после меня, что, наконец, открою глаза этим жалким, беспомощным либералам, которые спят на краю пропасти, куда вот-вот готов провалиться весь их демократический мир...

Обе стороны были разочарованы встречей. Оказалось, что мне нечего сообщить об СССР, чего бы лихие ребята из РЭНД не знали. Обо всех аспектах советской жизни они были осведомлены гораздо лучше меня.

Я был поражен их осведомленностью и в свою очередь спросил: «Почему же ваш президент ведет себя и высказывается так, будто он ничего об СССР не знает и не понимает?» Вместо ответа эксперт, беседовавший со мной, приоткрыл дверь в соседнюю комнату и крикнул: «Бен, поди-ка сюда! Здесь у нас сидит парень, который верит, что наш Президент, принимая решения и произнося свои речи, считается с нашими отчетами...»

А с чем же считается президент?!

Экспертные оценки фактического состояния дел — вроде тех, что дает РЭНД-Корпорейшн — лишь один из факторов, и часто не главный, влияющих на принятие ответственного решения.

Политическая реальность является только наполовину материальной, а более чем наполовину виртуальной, воображаемой и изображаемой (см. Л. Штильман, «22», № 152).

Соподчинение элементов этой действительности не поддается строгому мышлению, прежде всего потому, что в первую очередь приходится учитывать, как раз, полностью нестрогое мышление многомиллионных соучаствующих масс. Это мышление только в исключительно редких случаях определяется волей политических деятелей. Скорее политические деятели сами являются заложниками (а наиболее успешные — даже медиумами) спонтанно сложившихся массовых стереотипов.

Всякий предмет, приковывающий общественное внимание, всякое явление и всякое государственное устройство имеют три разных модуса существования: 1) Что есть на самом деле; 2) Что люди об этом думают; 3) Что профессиональные оценщики — реклама, масс-медиа или журналисты, критики или эксперты — захотят нам представить. Три эти стороны одного образа редко находятся в гармоническом согласии, и относительный вес его компонент в разных группах людей совершенно разный.

При современном уровне глобализации мы стоим перед почти непроницаемо вязкой общественно-политической реальностью, в отношении которой любое воздействие может оказаться катастрофическим по своим последствиям. Одновременно, эта топкая трясина бесконечно податлива. Случайный локальный скандал или колебание биржи может изменить весь пасьянс. Политическая реальность в отличие от материальной состоит из совершенно не-

сопоставимых, разнородных элементов, среди которых не только трудно угадать относительную важность каждого, но и невозможно удержать один и тот же расклад на протяжении заметного промежутка времени.

Согласно одному из сюрреалистических рассказов Борхеса при дворе китайского императора *«все животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) нарисованных кистью, д) сказочных и е) прочих»...*

Подобно этому и политическая действительность состоит из: *нераспознаваемых государственных интересов, неотличимых от личных интересов их представителей, случайно закрепившихся словесных штампов, военных возможностей, устоявшихся привычек обывателей, исторических народных обид, доходов коммерческих и масс-медийных компаний, решений судов, повсеместных сознательных и произвольных дезинформаций, амбиций должностных лиц и журналистов, случайных недоразумений, зарплаты поденщиков и профессоров, качеств программистов и еще многих, многих прочих реальных и воображаемых элементов...*

Я еще ведь, кажется, не упомянул бесчисленные подкупы, забастовки, посулы и угрозы, колебания биржи, шпионские и воровские аферы, причуды знаменитостей... Судьбы целых народов зависят от капризов голливудских звезд и остроумия телекомментаторов. Какой бы отдельный аспект реальности мы ни выделили, окажется, что в единственном числе он не является решающим, и многие из них вступают в противоречие (или усиливающее взаимодействие) друг с другом...

60 лет назад при возникновении Израиля мир, казалось, был проще. Нефть была дешевле. Газеты и телевидение были не так влиятельны. Западные обыватели, обнищавшие и напуганные недавней мировой войной, были меньше уверены в себе. Поп-звезды

не всегда имели политические предпочтения. Население Израиля было в десять раз меньше и гораздо более однородно. Успехи израильских, да и других демократических, политиков того особого времени ни в какой мере не могут служить примером для сегодняшнего лидера.

Демократия, как сообщество свободных и ответственных индивидов, какой она мыслилась в Американской Декларации Независимости, не существовала, конечно, и в момент ее провозглашения. Но стремление к ней в значительных группах населения европейских стран присутствовало.

Однако за прошедшие 200 лет благосостояние свободных стран сильно выросло. Слишком большая часть их населения, будучи освобождена от давящей ежедневной заботы о хлебе и безопасности, может себе позволить не ограниченное ни страхом, ни нуждой, не мотивированное ни классовым, ни расовым стимулом участие в общественных (а равно и антиобщественных) движениях.

Если в прошлом можно было приблизительно согласиться, что «любовь и голод правят миром», в государствах «всеобщего благосостояния», особенно после успешной сексуальной революции, ничто уже больше миром не правит. **Свободный мир стал неуправляем.** Политическая жизнь стала не столько полем столкновения интересов социальных слоев, сколько полем столкновения амбиций профессиональных политиков. Моментальный успех стал единственным критерием для честолюбивого лидера. И склонность к выгодному тактическому компромиссу в ущерб отдаленному стратегическому будущему вошла в регулярную практику этой цивилизации.

Серьезное отношение ООН к требованиям палестинских организаций, которое в 1947 г. диктовалось условиями назревающей Холодной войны и открывало СССР редкий шанс протянуть руку на Ближний Восток, уже и тогда означало многообещающую уступку требованиям террористов изменить в их пользу европей-

ские критерии. Однако для великих держав жалкие интересы жалких народов на Ближнем Востоке отступали тогда на задний план перед ситуацией в Европе, из за которой ежеминутно разгорались локальные конфликты, грозившие перерасти в полномасштабную войну. Существовавшие тогда бесчисленные организации беженцев из Судетов, Силезии и Польши в просоветских масс-медиа раздраженно называли «реваншистскими», в отличие от не столь актуальных беженцев из арабской части Палестины.

Как-то в Америке нам с женой пришлось разговориться с хозяйкой придорожного мотельчика. Она оказалась судетской немкой и рассказала, как им с братом (тогда, еще детям — в 1945-м году) пришлось бежать из Чехии. От неминуемой смерти в руках разъяренных чехов их спасла только счастливая мысль деда представляться евреями. (А мы и не знали, что родиться евреем может быть ценным преимуществом!) Вместо того, чтобы, подобно палестинцам, протестовать и всю жизнь мстить чехам, они перебрались в Америку и после долгих мытарств открыли свой маленький бизнес...

Представим себе теперь, что миллионы этих «реваншистов», насильно выселенных из своих домов и переживших кровавые погромы и бескровные изнасилования, отказались от вживания в чуждый им, образцовый порядок западных земель Германии, пренебрегли судьбой детей и внуков и решили потратить жизнь на массовые протесты и террор (а при обострении Холодной войны у ЦРУ, возможно, нашлось бы для них и финансирование!). Разгневанные немцы-пруссаки из Померании и Кенигсберга взрывались бы в Берлинском и Пражском метро и захватывали советских, польских и чешских заложников на международных авиалиниях. Требовал бы тогда ООН вернуть **«обездоленному прусскому народу»** оккупированную Восточную Пруссию?...

В отличие от «мягкосердечных», ненастойчивых немцев, реваншисты в арабском мире и через 60 лет (т. е., по-видимому, уже их внуки и правнуки) все еще надеются на какого-то Хоттабыча, который произведет для них чудо, до сих пор считавшееся недоступным даже Богу — стереть прошлое и вернуться к границам какого-нибудь прошедшего года...

Впрочем, это только у нас с тех пор прошло 60 лет.

В мусульманском мире время не течет.

Все преобразования в пользу прогресса в прошлом происходили в результате деспотической, едва ли не преступной, активности элитарных групп и отдельных деспотов, выбрасывавших массы людей из их традиционных ячеек и превращавших их в резервную рабочую (или военную) силу, которую можно сосредоточить для использования в новом направлении. Огораживания в Англии, войны с индейцами в Северной и Латинской Америке, вывоз рабов-негров из Африки, преобразования Петра I и И. Сталина в России имеют один и тот же смысл — мобилизации и переориентации больших масс населения на иной (потенциально, более динамичный) образ жизни (или смерти).

Все эти действия, спустя столетия справедливо трактуемые как злодеяния, были возможны лишь в той мере, в какой (и только до того времени, пока) большая часть вынуждаемых к переменам людей, не имела собственного голоса.

Атмосфера последних 100 лет, зависящая от общественного мнения, препятствует всякому реальному изменению, ибо всякое рациональное, инициированное сверху изменение общественных условий возможно лишь насильственно. Оно неизбежно ущемляет интересы какой-то части населения, успевшей приспособиться именно к этим условиям.

А всякое насильственное изменение (например, переселение), не согласованное с его жертвами, есть — по современному определению — преступление властей.

Михаил Горбачев, который на Западе оценивается как прогрессивный герой, давший свободу своему народу, воспринимается самим этим народом чуть ли не как преступник, нарушивший их цветущее существование на полдороге к полному торжеству справедливости и в мировом масштабе. Только умелое манипулирование и изощренная демагогия спасли Ельцина от победы коммунистов на выборах...

— И это после всех разоблачений преступлений прежних режимов!

Любые изменения болезненны для какой-нибудь части населения. Особенно болезненны они всегда для той части, которая не склонна (или чаще неспособна) к ним приспособиться. Это прежде всего касается бедных, необразованных и догматично настроенных. Такая коалиция почти всегда побеждает в обществе, где у каждого только один голос. Поэтому в демократических обществах так велика (я бы сказал, решающая) роль политической демагогии, лоббирования и разных форм коррупции. Именно эти отклонения от демократического идеала и обеспечивают обществам некоторую подвижность. Вопросом номер один для каждой демократической страны становится вопрос о направлении результирующего вектора изменений.

Логически безупречные концепции знающих интеллектуалов хороши, как идеологический материал для сплочения кружка сторонников, возможно, группы лоббистов, может быть, даже для основания новой партии. Но вряд ли они могут послужить основой для принятия конкретных сиюминутных политических решений лидеров. Их конкретные решения почти всегда непоследователь-

ны и недальновидны, хотя эффект этих решений часто оказывается долгоживущим. Только из таких — непоследовательных, но со временем ставших привычными — случайных решений и составляется тот кусочно-разрывный процесс, из которого мы в своей наивности хотим вылепить непрерывную Историю.

Демократически избранный политик должен не только осуществлять свое головокружительно парадоксальное движение в такой действительности, но еще и как-то объяснять и обосновывать свои решения одновременно своему и окружающим народам.

Вот почему демократический лидер часто запинается и временами допускает логические зияния в обосновании своих решений. Вот почему он часто подозревается (и то и дело уличается) в лицемерии. Его реакция на видимые всем события одновременно является также и его непризнанным отзывом на те неуловимые дуновения в настроении масс людей, нюансы в тоне дипломатов, колебания в самолюбии влиятельных лоббистов, расхождения в экспертных оценках генералов и аналитиков, которые в своей совокупности вняты только опытным манипуляторам. Успешные лидеры обладают интуицией игрока, которая подсказывает им момент для удачного хода, когда интеллект молчит (и, может быть, даже мешает?).

Тридцать лет назад весь мир и заметная часть нашего населения был в бешенстве, когда Израиль разбомбил атомный реактор в Ираке, на котором работали французские техники. Теперь мир должен был бы поблагодарить за это Менахема Бегина, а европейские техники вряд ли еще раз захотят пытаться судьбу, хотя в тот раз, благодаря деликатности наших спецслужб, французские техники не были задеты. Все же Иран теперь обречен нанимать только более беспечных российских техников.

Тот же Менахем Бегин, вопреки своей идеологии, сопротивлению старых соратников и обоснованным сомнениям, принял решение о мире с Египтом, который, худо-бедно, держался более 30 лет. Бегин принял оба эти решения потому, что он привык полагаться на свою интуицию больше, чем на экспертные оценки... Это очень неприятная человеческая черта. Но без такой самоуверенности ни один глава правительства не смог бы работать.

Наибольшей самоуверенностью, наряду с магнетической силой внушения, обладают, как раз, некоторые тяжелые психопаты, и это не секрет, что вся история XX века прошла под знаком титанической борьбы двух великих параноиков за господство над миром. Оба они, и Сталин, и Гитлер неоднократно принимали решения, радикализм которых поражал современников, заставляя одних признавать их гениальными, других — безумными. Их деятельность во многих деталях до сих пор порождает ужас в свободном мире и, пожалуй, ученическое, неумелое подражание и обоснованную зависть в несвободном мире деспотов и экстремистов.

Невообразимая сложность современной реальности поощряет обывателя к вере в вождей. Все более слепая вера в вождей, в сочетании со столь же слепой верой в универсальные демократические процедуры формирует в «свободных» обществах необоснованную надежду на чудесные решения неразрешимых проблем. Эта вера у избалованного легкой жизнью обывателя, привыкшего вручать свои проблемы политической элите, то и дело берет верх над всякими рациональными соображениями и здравым смыслом.

После целого столетия веры в «науку», Историю, эволюцию, объективные условия, производительные силы, «классовые» и «расовые» интересы; после Льва Толстого с его «народным разумом»

и Карла Маркса с его «производственными отношениями»; после возникновения и развития научной социологии и признанных успехов антропологии, мы опять, как старуха к разбитому корыту, возвращаемся к произволу предводителей, эпидемическим народным психозам в духе Крестовых походов и «Священных войн» и отчаянным планам заговорщиков...

Наступает всеобщее господство волюнтаризма. Мир уже больше не «объективная реальность, данная нам в ощущениях», а скорее опять «воля и представление», как было до исторического материализма, во времена королей-завоевателей, волшебников и героев. Не пора ли уже поверить и в чудеса?

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТА НОЧЬ ОТ ДРУГИХ НОЧЕЙ

На Пасху следует вспоминать о выходе из египетского рабства и пересказывать историю Исхода, представляя дело так, будто это произошло с нами и в наше время. В этом смысле мы — русские евреи — самые аутентичные евреи на свете, ибо нам не приходится особенно напрягать воображение — так оно и было в нашем случае.

Одних такие воспоминания вдохновляют, других вгоняют в уныние. В обоих случаях — это повод для серьезных размышлений. Так ли уж горько было наше рабство? Какая была сладость в освобождении?

От обдуманного ответа на этот вопрос зависит многое и в нашем сегодняшнем настроении.

Еврейская традиция исходит из безусловного предпочтения свободы, как единственно достойного человека состояния. В этом, однако, нет ничего специфического. Эта традиция сложилась за тысячу лет до крушения рабства как общественного института, и справедливо почитала его самым низким социальным положением в обществе. Естественно, что в рабовладельческом обществе свобода ценилась выше рабства.

В наше время, спустя тысячи лет после полного крушения соответствующей социальной системы, под рабством люди обычно понимают что-то иное, что уже сильно зависит от их мировоззрения.

Наша связанность общественными условностями или экономическая зависимость от существующих институций могут нами восприниматься как порабощенность или как форма добровольного служения в зависимости от того, как мы воспринимаем свое общество и соответствующие институции. Только в случаях крайнего ожесточения и разочарования мы называем свое актуальное состояние рабством. Т. е., в наше время только сознание униженности и безысходности своего положения может вызвать у нас ощущение, что мы живем в рабстве. Ясно, что такое относительное понимание рабства вызывает разногласия у разных групп и зависит от времени и настроения.

Например, Коммунистическая партия много лет утверждала, что она спасает нас от «капиталистического рабства», т. е. как раз того состояния, которое многими теперь, по-видимому, считается наиболее желательным, или по крайней мере нормальным, для жителей Восточной Европы и России. Для многих это не был простой обман. Это была фундаментально иная точка зрения на человеческую жизнь и ее требования. Определения понятий «рабства» и «свободы» в наши дни требуют уточнения.

Сравнительно недавно либералы всего мира боролись за освобождение Африки и Азии от «колониального рабства». Теперь, когда это освобождение становится для многих жителей Африканских и Азиатских стран неотличимо похожим на голодную (а иногда и насильственную) смерть, бывшее «рабство» вспоминается ими с ностальгическим чувством. Но и это не было обманом. Просто, очевидное в прошлом (для некоторой части Европы) понятие национальной независимости при своем обобщении на остальной мир требует многих уточнений.

Сионизм героического периода спас от гибели или от коммунистического и нацистского рабства сотни тысяч людей из России и Европы, которые этого хотели. И это, пожалуй, совсем не было обманом...

Наконец, лидеры сегодняшних сионистских партий обещают евреям диаспоры вывести их из проблематического рабства, в котором они якобы все еще находятся, к столь же проблематической свободе, которая едва брезжит им сквозь густой туман обоюдной политической демагогии. Посланцы Сохнута убеждают богатых и влиятельных американских евреев, что они находятся в унижительном рабстве, а те, в ходе этой культурной игры, временами соглашаются признать моральное первенство за этими освободителями, получающими от них свою зарплату. Однако, возможно, что это тоже — не обман. Ибо понятия рабства и свободы должны теперь быть по-новому определены и не исключено, что древняя традиция окажется мудрее современных политологических спекуляций.

Сионистская идеология, как и всякая иная, начинает работать только, когда ее лозунги представляются решением конкретной задачи. Люди могут ощутить, что они находятся в рабстве только, если у них почему либо появятся основания сознавать свое положение как унижительное и безнадежное.

Для нашего поколения, покинувшего Россию еще в доперестроечные времена, ситуация складывалась на удивление близко к классическому образцу. Мы несомненно вышли из рабства и высоко ценили это.

Мое утверждение происходит из непосредственного переживания, но, будучи осмыслено рационально, опирается также на два неопровержимых факта. Первый — безусловно несвободный, рабовладельческий характер бывшего советского государства, относившегося ко всем своим гражданам, как к государственной собственности. Так же, между прочим, обстояло дело и в библейском

Египте. Евреи не были рабами отдельных египтян, но принадлежали государству в целом, т. е. «фараону», и потому имели и кое-какой комфорт, и жизненные блага, которые стоило ценить. Они очень скоро вспомнили об этом в пустыне. Второй факт — специфическое юдофобство советских властей, создавших в СССР обстановку бесперспективности для еврейской молодежи. Этот мотив тоже присутствует в Библии: «Давайте ухитримся против них...».

Взрыв сионистского движения, выбросивший первую волну алии, соответствовал обоим этим «Исход»-ным пунктам.

В восприятии современников исход наш, как и в Библии, сопровождался необъяснимо загадочными явлениями. Режим сотрясался от внутреннего напряжения, сделавшего его чувствительным к давлению извне. На страну обрушились все, возможные в том климате, египетские казни. В холодном, дождливом Подмоскowie стояла фантастическая жара. Горели болота и свет померк в самом центре Москвы. Хлеб не родился и повальное пьянство губило первенцев. Но государственная деспотия царила по-прежнему прочно и отъезд евреев был целиком в руке фараона, которая, казалось, сжималась и разжималась по своему собственному произволу.

Теперь я думаю, что то были знаки будущего развала, но тогда... Мы можем сейчас, задним числом, по разному оценивать участие тех или иных факторов в нашей судьбе: маневры КГБ, хитрости политиков, подвиги активистов, но главным было и останется — вдохновение, которое сошло на многих из нас и оставило неизгладимое воспоминание. Именно это чувство превратило исход из бегства в победу, память о которой не умирает. Похоже, что подобное же чувство сформировало и религиозную традицию, как она представлена в Танахе и Пасхальной агаде.

Из научной истории Исхода мы знаем по-отдельности два факта, оставшиеся за рамками традиционного толкования библейских событий.

Во-первых, примерно, в то же время произошел грандиозный развал Египетской империи, занявший больше столетия астрономического времени, так что теперь непросто определить, начался ли Исход за двадцать лет до или через двадцать лет после какого-то переломного пункта в истории Египта.

Примем как предположение, что Исход случился за двадцать лет до крушения, как и в нашем случае.

Тогда понятен высокий энтузиазм, которым проникнута Пасхальная агада. Она передает чувства людей, ставших свидетелями прямого вмешательства Высших Сил в их судьбу и выведших их из беспросветного рабства в сияющий мир свободы. Судьба дала им увидеть торжество веры над очевидностью, победу слабых, неопытных людей над сокрушительной силой государственной машины Фараона. И навеки внушила недоверие к видимому великолепию.

Во-вторых, вторжение еврейских племен в Ханаан происходило, по-видимому, тоже не одновременно, а волнами и заняло значительное время. Под каким давлением бежали в Ханаан следующие волны вторженцев мы не знаем, и никаких свидетельств об этом не сохранилось.

Скорее всего они бежали из Египта уже посреди жуткого всеобщего развала, по сравнению с которым времена египетских казней казались им временем процветания, и выход из которого даже не брезжил впереди. Не было больше пресловутых «мясных горшков», но не стало и былого рабства. Свобода обесценилась и оголодала. Бежать из Египта больше не составляло проблемы, но (вероятно, именно поэтому) теперь беглецы не ощущали освобождение как победу и уже не видели по дороге никаких чудес. Мир свободы обернулся для них безводной пустыней и только плодообильный Ханаан маячил впереди, как желанная добыча. Опыт этой второй волны оставил нам воспоминания не о чудесах Исхода, а о страданиях Пустыни и жестокости борьбы. Здесь не было оснований для

праздника. Большая часть этого горького опыта не вошла в пасхальную агаду.

Атмосфера энтузиазма, которой сопровождалось бегство-исход первой группы была результатом чудесного спасения, несоизмеримой мощи противника и смертельного риска беглецов. Следующие волны выходцев из разоренного и обессиленного Египта не встречали ярости египетских властей и не вдохновлялись абстрактной свободой исповедовать своего невидимого Бога. Библия нелицеприятно свидетельствует, что теперь Баал-Пэор и боги изобилия, даровая еда и женщины, моавитские и мидиамские, влекли к себе весьма многих, а разбойный разгул врагов-амалекитян, что в Египте, что в пустыне, отучил людей от былой робости, присутствующей когда-то их отцам и дедам.

Возможно, сведения о сорока годах, прошедших от Исхода первых отщепенцев из Египта до Вторжения в Ханаан воинственной орды бывших египтян еврейского происхождения, очень точно соответствует исторически реальным срокам, когда основная масса голодных и отрезвевших беглецов, уже лишенных богоискательских иллюзий первой волны, вплотную подошла к границам обещанной посланцами первой группы страны молока и меда, подлежащей немедленному разделу. Как иначе можно было бы объяснить такую длительную отсрочку?

Конечно, в определенном смысле и недавние репатрианты из России вышли из рабства. Они, как и мы, от рождения были включены в общество, предназначенное близкой гибели и способное выместить свою бессильную ярость на каком-нибудь беззащитном меньшинстве. Они с молоком матери восали все предрас судки своего окружения, которые и повели к крушению Империи. Российское будущее не зависело от них, но их жизни целиком этим будущим определялись. Русские евреи, так или иначе, участвовавшие в истории в недавнее время, вынуждены были и привыкли действовать не как евреи, а как «всечеловеки» (однако, слишком

часто под русскими псевдонимами). Все, что они приобретали, принадлежало не им. Они привыкли служить и служили. Они отучились планировать и согласовывать свои действия, и самая их общность превратилась в феномен, существующий только в сознании окружающих их народов.

Напротив, будущее Израиля очень сильно зависит от них. Просто от их присутствия и от их творческой активности в стране. Потому что это государство планирует и направляет свои усилия, только исходя из того, что у него есть, и участие шестизначного числа русских выходцев меняет любую калькуляцию. Их будущее в этой стране определяется их собственной активностью. Они рискуют, конечно, но они и выигрывают. Если им и приходится служить, эта служба не может однажды обратиться против них. Все, что они приобретут, останется им и их детям. Все, что они здесь построят, обживать будут их потомки. Все, что они здесь разрушат, само не восстановится.

Такое различие, собственно, и можно было бы считать различием между рабством и свободой, если бы современный цинизм не подсказывал новому репатрианту коварного вопроса: а мне что с этого?

Действительно, освобождение не всегда обещает облегчение жизни. Человек, которого, например, освободили от должности или которого оставила жена, редко радуется своей свободе, хотя и среди таких находятся способные индивиды, умеющие обратить освобождение себе на пользу. Свобода в сочетании с нищетой по-настоящему может радовать только очень молодых (духом). Израиль, в целом, и после пятидесяти пяти лет свободного существования блуждает в бесплодной пустыне внутренних политических неурядиц, в неудовлетворенной жажде всемирного признания, под вечным риском смертоносной встречи с Амалеком.

В нормальных условиях свобода предполагает риск. Новый репатриант чаще мысленно выбирает не между рабством и сво-

бодой, а между риском в игре знакомой (по России) и риском в неведомой игре, где ему неясно даже, игрок ли он сам или только ставка в игре других. Привычка к рабству часто толкает его занять именно эту пассивную позицию объекта чужого манипулирования. При таком стиле игры не приходится ожидать стоящего выигрыша. Однако, все большая часть из них совершает реальные усилия для овладения новыми правилами и учится на своем новом опыте.

Большинство, конечно, ищет возможности преуспеть, используя свой прошлый российский опыт существования в мировой Империи. Есть шанс, что эти массовые усилия кое в чем изменят будущую израильскую ментальность.

Ни религиозная пропаганда, ни политическая демагогия не могут заменить человеку простой личный интерес. Если этот интерес у него подавлен культурным шоком и не включает любопытства, желания попробовать себя на новом поприще, в новых условиях, научиться новым правилам игры, не стоит человека убеждать. Исследовательский инстинкт и от природы дается не всем, а риск нового поприща особенно отпугивает пожилых и усталых...

Впрочем, тот, кто не увидал чудес при выходе из Египта, может не увидеть и разницы между рабством и свободой. Винить тут некого и не в чем. Фараона уже нет. И Советской империи нет. Так что, быть может, кое для кого и выбора между рабством и свободой тоже уже нет. Тогда на традиционный пасхальный вопрос: «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» — они, в соответствии с традицией для нечестивого сына, с чистой совестью могут ответить — «для меня — ничем!». Агада в этом случае рекомендует сдерживать свои чувства и не гневаться. Может быть этот вопрос только для того и задается, чтобы отличать тех, для кого уже нет различий.

В отличиях-то все и дело. Как сказано: «Благословен Ты, Господи, разделивший между святым и будничным...».

Для тех, кто всей душой прочувствовал Исход, «эта ночь отличается от всех ночей», как рабство от свободы, и слова агады «Сегодня в плену, а в будущем году — в Иерусалиме, сегодня — рабы, а завтра — свободные» трогают своим точным соответствием незабываемому и невероятному событию, которое нам повезло однажды пережить. Как бы ни сложилась наша жизнь после этого, она навсегда останется в тени (или, лучше сказать, в свете) этого экзистенциального опыта.

«Всякий, умножающий рассказ об Исходе, достоин похвалы.»

ПОЛИТИКА И АКАДЕМИЯ В ИЗРАИЛЕ И НА ЗАПАДЕ

Жизнь в России приучает к такому уровню политического цинизма, что нормальные западные люди, читающие газеты не между строк, а по буквальному смыслу, кажутся российскому выходцу наивными младенцами. Вопреки широкой известности Фрейда, Фромма и других проницательных исследователей человеческого подсознания, «либидо», «воли к власти» и т. п., израильский гражданин десятилетиями без юмора выслушивал речи вождей Рабочей партии о Новом Ближнем Востоке, интернациональной солидарности и скором мире с арабами.

В первые дни своей израильской жизни я думал, что эти речи направлены на дезинформацию противника или, в крайнем случае, «на Европу». Но со временем убедился, что эта дезинформация воспринимается всерьез не только теми, для кого она как бы предназначена, но даже и теми (может быть, все же не всеми), кто ее изготавливает.

Это — парадокс открытого общества. Одна и та же пропаганда звучит и друзьям и врагам. Если наш премьер хочет задобрить Саддама Хусейна, он рискует создать беспечное настроение у своих граждан. Если он хочет

напугать Ахмадинежада, он рискует ввергнуть в панику своего избирателя.

Чем дольше я жил в Израиле, тем чаще сталкивался с этим парадоксом в сочетании с удивительной смесью цинизма и слепоты политического руководства.

В отличие от большинства российских выходцев я не был предрасположен враждебно к израильскому «социализму». Что бы о нем ни говорить, это несомненно был социализм с человеческим лицом. В правящей элите было еще немало искренних идеалистов, и они были достаточно открыты для общения, что создавало в стране особую, теплую, почти семейную атмосферу, теперь полностью оставленную. Я очень сдружился с Нехемией Леваномом, который проявлял широкий и проницательный взгляд на действительность, далекий от мелочных склок и коррупционных скандалов, уже раздиравших его Рабочую партию к 1977 г.

Один за другим вожди этой правящей партии, привыкшие к неформальным доверительным отношениям в своей среде, попадались на разных незаконных махинациях, к которым они привыкли (и которые привыкли друг другу прощать) за десятилетия бесконтрольного господства. Их бескорыстные ошибки все чаще сочетались с (а то и подменялись) прямым мошенничеством. Нарушения морали как бы «для пользы дела» дополнились, а затем и сменились, целенаправленным казнокрадством в свой карман.

За две недели до очередных парламентских выборов, я пришел к Нехемии в офис и сказал, что поскольку судьба сионистского движения в России и русская алия есть обще-национальное дело, он бы, как ответственный лидер, должен подготовить свой «отряд» к возможной смене правительства, чтобы начальная неразбериха и новое, некомпетентное руководство не разрушило невольно его неформальную паутину влияний в Европе и Америке, которую он с таким тщанием и талантом плел много лет. Он засмеялся: «Саша, хотя вы уже два года в стране, вы все еще ничего в ней не понимае-

те. Наша партия 30 лет правит этой страной и еще 30 лет будет править. Вся эта предвыборная шумиха ничего не значит. Пошумят и разойдутся. Народ опять проголосует за нас, как и в прошлом, потому что они знают, на кого можно положиться.»

Они положились... Провал Рабочей партии в 1977-м был катастрофический. Пришедший к власти Менахем Бегин оказался, однако, гораздо хладнокровней и предусмотрительнее, чем я опасался, слушая его страстные, напыщенные речи, с чрезмерным пафосом разоблачавшие правящие круги. Он специально призвал к себе Нехемию и попросил остаться на его важном для государства посту, несмотря на смену правительства. Он не давал пафосу, заживавшему избирателей, слишком далеко увлечь себя самого.

Большинство моих коллег по профессии (не только в Израиле, но и в Америке, особенно евреи), неожиданно для меня, как и Нехемия, совершенно не улавливали признаков такой предвидимой, такой очевидной идеологической перемены и продолжали отдавать свои симпатии социалистам. Их обывательский конформизм в сочетании с детской наивностью совершенно заглушал профессионально развитую их аналитическую способность в приложении к политическим делам. Их пронциательность мгновенно испарялась в окружении коллег и знакомых.

Ученые, писатели, артисты по крайней мере были связаны либерализмом как общим знаменем и имели в своем недавнем прошлом опыт увлечения коммунизмом, солидарности с СССР, «борьбой за мир», борьбой против «маккартизма» и т. п. Изменить системе символов своей юности означало для них разрушить собственный образ беззаветного, бескорыстного гуманиста. Не могли же они признать, что «охота за ведьмами», от которой некоторые из них действительно пострадали, имела более, чем реальные основания. Но мои профессора бездумно следовали за ними, как будто для политики они сознательно отключали свой интеллект.

Было одно замечательное исключение — покойный проф. Юваль Нееман, гениальный физик и будущий израильский министр науки. Этот человек, истинный интеллектуал и нон-конформист, родившийся наследником многих поколений в Израиле, во всем превосходил своих современников и сограждан, и я счастлив, что успел познакомиться с ним достаточно близко.

В начале 80-х, когда он был увлечен созданием крайне правой партии Тхия («Возрождение»), я откровенно спросил его: «Что тебя (в Израиле все на ты) связывает с этими крайними, нетерпимыми людьми? Ведь ты же совершенный либерал». Он тогда мне ответил: «Конечно, я либерал, но во всех демократических странах нормальный политический спектр состоит из массивного центра, а также правого и левого крыла. Левое крыло стремится к изменениям, а правое старается сохранить то, что есть. Евреи, съехавшиеся в Израиль, почти все происходят из левого крыла своих стран и не могут себе представить никакой иной позиции. У нас нет нормального политического спектра. Весь спектр страшно смещен влево. Наши граждане не привыкли думать о вопросах существования. Для этого в странах Диаспоры всегда хватало консервативных партий коренного населения, к которым евреи привыкли относиться с пренебрежением».

Несомненно, что в России и мы фактически принадлежали к левому, т. е. либеральному крылу, хотя введенная узурпатором Сталиным лживая терминология называла его правым (контрреволюционным), вопреки его содержанию и здравому смыслу.

Отчасти эта перевернутая советская терминология, цель которой была скрыть следы сталинского государственного переворота в СССР, прижилась и в Израиле, сохранявшем много рудиментов российских пропагандистских стереотипов. Одним из этих стереотипов было и отношение к Нееману коллег по университету. За ним, как и за проф. Теллером в Америке, закрепилась, идущая от массивной советской пропаганды, репутация реакционера, «антисоветчика», «антикоммуниста» и «поджигателя войны».

Я часто сталкивался со злопыхательством по его адресу в Израиле, но в университете оно неизменно сдерживалось его высоким научным авторитетом и обаянием его личности. Ученому в точных науках легче сохранить независимость от мнений толпы, чем гуманитария или артисту.

Мне захотелось продолжить свое исследование этого феномена, и я продолжал расспрашивать Юваля: «Но ведь тебя вовсе нельзя назвать и консерватором. Ты типичный интеллигент, для которого свобода — главная ценность». — «Это правда, — ответил он — но в нашей стране именно свобода больше всего нуждается в защите. Без господства закона, не может быть свободы. Евреям из России или США никогда не приходилось задумываться, как сохранить законный порядок, а только о том, как его переделать или обойти. Однако, вне упорядоченных, демократических правил не может быть и свободы. Плюрализм Западного общества возможен лишь потому, что он хорошо уравновешен их устойчивым, консервативным бытом. У нас нет ничего подобного. Сколько ни толкай нашу политику вправо, мы все еще будем далеко влево от нормы. Младшее поколение израильтян уже привыкло, что у нас есть свое государство, и им невдомек насколько хрупко его существование. А я еще помню время, когда государства не было, и существование наше висело на волоске. Я знаю, насколько оно непрочное и как сильно зависит от всякой случайности.» Он был гармоничный человек, умевший иронически отнестись к любой догматике, в том числе и к своей собственной, якобы крайне правой.

Его осведомленность во всех областях духовной жизни поражала. О чем бы мы с ним ни заговорили (от античной математики до индийской философии), он обнаруживал глубокое, нерядовое знание и понимание предмета. После моей лекции о природе жидкого состояния в нашем Университете, в которой я поведал слушателям, что само существование жидкостей (и, следовательно, возникновение жизни) обязано только случайному числен-

ному соотношению между размерами атомов и дальностью сил взаимодействия между ними, он сразу заметил, что это глубоко соответствует «антропному принципу» — **т. е. все мировые константы имеют числовые значения в точности соответствующие необходимым условиям существования человека на Земле.**

В молодости во время Войны Израиля за независимость Юваль служил в разведке и, будучи еще свежим выпускником Техниона, впервые применил там компьютер. Это применение оказалось настолько успешным, что вывело его разведку на передовое место в мире, и правительство предложило ему выбрать себе награду. Он выбрал — длительную командировку в Англию для обучения физике элементарных частиц. В Лондоне он сдружился с пакистанским физиком Абдус Саламом, будущим Нобелевским Лауреатом, и вскоре разработал там всемирно известную $SU(3)$ симметрию для классификации элементарных частиц.

Однажды Юваль преподавал мне неожиданный урок демократии. Я был председателем Попечительского Совета Цфатского научного центра, который мы планировали создать под давлением наплыва высококвалифицированных людей из разваливающегося СССР. Кандидатом на должность менеджера был человек из Канады с русским языком и техническим образованием, от деловой активности которого зависела бы в будущем успешность всего проекта. Юваль поддержал его кандидатуру. Я спросил его наедине, что он думает об этом человеке. Он ответил: «Откровенно говоря, я думаю, что он российский шпион.» Я ахнул: «Как же ты поддержал его кандидатуру?» Он ответил: «Пусть этим, как и положено, занимается контрразведка, а работать он, как я уверен, будет хорошо, чтобы отвести от себя подозрение.»

— Вот, эта идея разделения властей (и идей) нелегко дается советскому человеку, всю жизнь бывшему погруженным в нерасчлененную тотальность тиранического режима. Я подумал, что кон-

серватором Юваль, конечно, не был, но он был настоящий «тори», политически корректный, прирожденный джентльмен.

Спустя десять лет после этого разговора уже ясно обозначилось, что все-таки зачаток правого крыла у нас появился. «Русская» группа со своим специфическим опытом сыграла заметную роль в этом сдвиге.

С тех пор борьба между правыми и левыми достигала порой такого накала, что казалось могла перерасти в гражданскую войну. Политические противники, якобы идейно мотивированные, которым было далеко до толерантности Неемана, борясь «за справедливость», готовы были уничтожить друг друга. Мне часто хотелось спросить: А где же центр? — Ну, т. е. «болото»? — Все, вроде, борются за право и справедливость, особенно за справедливость к арабам и малоимущим, но должен же кто-нибудь представлять и нашего обывателя, который хочет жить независимо от того, справедливо это или нет. Устойчивость общества, его существование и благосостояние поддерживается золотой серединой. Как ни ругай середину, а без нее ни вода из крана не потечет, ни хлеб в магазине не появится. Казалось, в нашей стране нет центра. Одни лишь идейные борцы. Израиль 70-х еще недалеко ушел от революционного брожения.

Конечно, на самом деле справедливость, особенно справедливость к чужим, практически всегда есть только предлог в борьбе за собственное доминирование. Но в политике мнимые мотивы не отличаются от реальных.

Ностальгия по прошлым идиллическим временам всеобщей бедности и равенства обратилась теперь у израильской интеллектуальной и политической элиты в догматическое основание для их преувеличенного показного либерализма.

С годами эта атмосфера «доброе старое время» не просто выветрилась — она выродилась в лицемерное замалчивание обще-

известных социальных и международных проблем, в подмену реальности целиком выдуманной картиной, соответствующей лживой миротворческой пропаганде мировых СМИ, первоначально созданной Советским Союзом в пике США, а затем перешедшим на собственные рельсы. Ангажированные интеллектуалы используют эту пустую шелуху гуманистических в прошлом идеологий для своей борьбы за доминирование в культуре и влияние на вкусы публики.

Простой народ в Израиле давно осознал нелепость этой пропаганды и корыстный характер закрепившихся на ключевых позициях в культуре и экономике людей, но большая часть интеллигенции (особенно гуманитарной и художественной) с упорством отчаяния по-прежнему цепляется за пустые словесные формулы, напоминающие им привычные якобы гуманные принципы, воспроизводящие скорее идеализированные древние правила раннехристианских общин («кодекс строителей коммунизма»), чем реальные, политически выполнимые требования.

ЗАВЕТ КОНФУЦИЯ

Обдумывая сегодняшнюю ситуацию, я обнаружил поразительное коллективное явление, типичное для нашей израильской «русской улицы». В Союзе мы были как бы заодно с либеральной интеллигенцией против «предрассудков» простого народа, а в Израиле мы, в общем, оказались заодно с простым народом против интеллигенции.

Я даже чувствую, как во мне просыпается болельщик израильской баскетбольной команды. А в СССР я мог болеть только за чехов... Как это мне удалось, наконец, слиться с простым народом?

Поверхностный взгляд шовиниста, возможно, найдет объяснение: «Конечно, ведь это разные народы. Вы, евреи, были против русского народа, а здесь вы заодно с евреями». Это совершенно ложное объяснение. Израильская интеллигенция, конечно, тоже состоит из евреев и, кроме того, мы никогда не были настроены против русского народа. А еврейский простой народ у многих выходцев из России часто даже вызывает ужас и неприятие. Но, к счастью, это чувство пока не приобретает политического характера.

Парадоксальная правда состоит в том, что израильская интеллигенция в некоторых отношениях похожа на советскую. Но рывок из СССР сильно изменил наше

сознание. Мы познакомились с либеральным Западом вблизи. И мы ощутили горячее дыхание Востока непосредственно на своей коже...

Причина отчуждения интеллигенции от народа в обоих случаях одна и та же. Интеллигенция в обеих странах — неукорененная европеизированная часть народа. Она мыслит в европейских терминах, сообразуясь именно с европейскими, ориентированными на «прогресс» и «общую пользу», представлениями о жизни и справедливости, которые большинству евреев в России очень импонировали.

Чем интеллигент живет? Ученый он или писатель, артист или инженер, он своим творчеством обращен ко всему миру. И, конечно, честолюбие подталкивает его к оригинальности, порой не считающейся с рутинными взглядами и народными предрассудками. Мы там легко перенимали такой как бы естественно прогрессивный взгляд.

Простой же народ, повсюду заземленный, мыслит в своих местных масштабах, в пределах только реальной ситуации, сообразуясь с собственным коллективным интересом, как он его понимает, здесь и сейчас. Тут действительно важно, что речь идет о разных народах в разных ситуациях. Русский народ, которому извне ничто не угрожает, приученный своей историей к великодержавию, очень ценит свой престиж и международное значение. И готов уделить этому чувству первое место в своем сердце. Ему небезразлично, что говорят про него грузины, финны и даже осетины, и как оценивают его значение в мировых столицах. А еврейский народ, многократно гонимый, что бы про него ни сочиняли разные «интеллектуалы» типа проф. Ш. Занда, хочет выжить при всех условиях, и как народ, и каждый сам по себе. Так что успехи баскетбольной команды для него значат не только, что наши ребята хорошо играют, но и что нас уже не сковырнешь...

Это совсем не один и тот же интерес. Конечно и простым израильтянам вовсе небезразличен их международный престиж и авторитет, но им слишком часто не до того. Перед непосредственной угрозой гибели, которая то и дело маячит перед глазами израильтянина, общие понятия «права», «законности», «невмешательства» и «доброй воли», которыми оперирует европейская и европоцентрическая элита, отступают. Перед ним, незаслоненный чрезмерным философствованием, стоит вопрос жизни и смерти. Инстинкт человека еще до сознания знает, что только жизнь — это продолжение, а смерть — это конец игры. Их нельзя поменять местами. В отличие от арифметики сумма здесь сильно зависит от перестановки мест слагаемых.

Любая ситуация, в которой участвует эта универсальная реальность — смерть — не вполне охватывается международным правом и юридической логикой. Если в начале идет смерть, то последующее торжество права уже лишено смысла (по крайней мере, для простого народа). Поэтому любая сделка или компромисс, которые включают подобный риск, для здравого смысла в наших условиях неприемлемы.

Израильским интеллектуалам почему-то такая простая мысль не дается. Может быть потому, что она выходит за пределы формальной логики, которая многим кажется достаточной для понимания жизни? Может быть из-за привычки интеллектуалов решать вопросы «теоретически», пренебрегая «детальями». Ни международное право, ни гарантии Великих держав, ни даже «права человека» после военного поражения Израиля нам уже не понадобятся...

Конечно, я мог бы посвятить свою статью доказательству того, что «право» и «справедливость» тоже на нашей стороне. Это было бы не слишком трудно, и многие журналисты — к сожалению, в большинстве иностранные — уже неоднократно это делали. Но это было бы чисто интеллигентской уловкой.

Потому что все то, что до сих пор называлось правом и справедливостью было лишь идеализированными условиями сосуще-

ствования европейских народов (и народов, происходящих из Европы), уже захвативших и освоивших свои территории. И право, и справедливость — всего лишь понятия, выработанные ими в ходе их сложной многовековой борьбы, в которой и то, и другое (а, особенно, территории) систематически и совсем недавно (в 1945-м) корректировалось (и искажалось) с вмешательством силы.

Ничего подобного, никакого «права» и никакой «справедливости» не существует для народов, которые еще не самоопределились и не успокоились, например, в Африке или на Ближнем Востоке.

Я однажды слушал объяснения гида в старинном германском замке. Кто-то из публики спросил, почему в этой области так много укрепленных замков. Гид, не задумываясь ответил: «Ну, ведь тут близко Франция, а французы — известные разбойники!» Вот — это и есть «справедливый» европейский мир, до которого нам все еще очень далеко...

Весь мир сейчас переживает именно такой момент, когда массивное вмешательство силы (теперь силы, чуждой европейских понятий) в очередной раз пытается скорректировать наши понятия и условия нашей жизни. К сожалению, это корректирование (скорее похожее на искажение) происходит так интенсивно, что от прежних принципов не остается и следа.

Тут дело не в том, что какой-нибудь сирийский диктатор требует сначала уступить ему Голаны, с которых простреливается весь Израиль, а потом начать (а, может, и не начинать!) договариваться о мире. Правящие деспоты-самозванцы и вожди террористов всего мира, пользуясь склонностью либеральных режимов решать дело миром, пытаются переобозначить и переосмыслить все слова и политические термины былого европейского мира в свою пользу. Так, строительство новых поселений и освоение пустующих зе-

мель Израилем называется палестинскими «лидерами» агрессией, а их систематический обстрел населения из «Катюш» — «законным сопротивлением оккупации».

Такое переобозначение необходимо слабому амбициозному агрессору, у которого нет силы победить, но достаточно наглости, чтобы напугать и что-нибудь разрушить.

Хотя я, конечно, больше всего заинтересован именно в Израиле, это варварское искажение первоначального смысла слов можно наблюдать во всем мире: Замбийский диктатор Мугабе, домучивший свою страну (до него бывшую житницей Европы) до голода, упрекает США в нарушениях прав человека. Президент Ахмадинежад, предварительно объявив своим долгом «стереть Израиль с карты мира», высылает в Газу «корабль миротворцев». Кого с кем мирить?

ООН, задуманная как инструмент достижения согласия народов, превращается в цирк, где каждый отдельный правитель, используя свое толкование слов, может безнаказанно демонстрировать пренебрежение к этому согласию. Никто не смеет публично назвать ложью речи Уго Чавеса о его «настоящей демократии»... Юмор ситуации состоит в том, что, быть может, в своем собственном понимании он и не лжет. Таков его (или его народа) уровень развития...

Во времена Конфуция Поднебесная Империя раздиралась междоусобными войнами. И, спрошенный императором, Конфуций, чтобы достичь мира, посоветовал вернуть всем словам языка их прежний, исходный смысл. Тогда скрытые намерения каждого будут ясны всем, коварство станет невозможным, и заговоры и войны прекратятся. Император оказался не в силах это сделать, и Китай окончательно пришел в упадок. Власть императоров тогда, как и сейчас, не распространялась на общеупотребительный язык и, тем более, на тайные замыслы амбициозных авантюристов.

Приобщение к европейским понятиям стран, не прошедших европейской истории, грозит абсолютным извращением смысла всех принятых до сих пор фундаментальных понятий.

Пол Пот, зверски умертвивший несколько миллионов своих сограждан в Камбодже, перед тем окончил Сорбонну и составил свою репутацию лидера в «свободолюбивой» Парижской среде, как революционер и «борец против колониализма».

Как нам быть теперь со словом «революционер»? Сохранять ли за ним привычную с советской школы положительную коннотацию? Можно ли поверить, что его «революция» имела целью народное счастье? Так ли уж страдал народ Камбоджи под гнетом французов? Куба до сих пор не может оправиться от последствий своей «освободительной» революции. Наконец, «мусульманская» революция принесла несчастье не одному Ирану — под угрозой теперь существование человечества.

Не пора ли сменить вехи?

Именно так решили после печального опыта революции 1905 г. в России несколько опомнившихся русских интеллигентов, опубликовавших знаменитый сборник «Вехи», подвергший справедливой ревизии идеологический багаж (и значения слов) бывшего российского мыслящего общества...

Оказалось, уже слишком поздно для России. Былая русская интеллигенция пошла в таксисты в разных центрах эмиграции, а, пришедшая ей на смену, советская, пережив пару десятков лет интенсивных репрессий и чисток, потеряв тысячи талантливых своих представителей, начала свою историю с самого начала. Это начало по времени почти совпало с началом израильской интеллигенции.

Новая многомиллионная русская интеллигенция (в основном, техническая и в большом проценте состоявшая из евреев) была Александром Солженицыным пренебрежительно названа «образованщиной». Он имел в виду отсутствие у новой популяции глу-

бокой гуманитарной культуры, что, конечно, не было их виной. Изоляция от прошлого (и от заграницы) была в СССР настолько полной, что современному молодому человеку уже трудно будет поверить, что первым «самиздатом», подпольно ходившим по рукам, был совсем не Солженицын, а всего лишь стихи Цветаевой и Гумилева, Ахматовой и Пастернака.

Даже П. Чаадаев был недоступен обыкновенному гражданину. Мне удалось прочесть его в Ленинской библиотеке только после защиты докторской диссертации, которая тогда открывала доступ к «закрытым» фондам. При этом библиотекарь еще сомневался, является ли моя докторская степень по физике достаточным поводом для знакомства с философом-современником Пушкина. Он успокоился, лишь услышав от меня, что «философия Чаадаева мне необходима для успешной работы в лаборатории». Т.о. стало ясно, что и сам хранитель этого «закрытого» фонда Чаадаева не читал...

Гуманитарная культура России была искусственно заморожена на уровне первой половины XIX в., по отношению к которому труды Карла Маркса могли казаться глобальным научным достижением. Но, возникшая одновременно с советской, израильская интеллигенция (очень часто с русскими корнями) вовсе не была изолирована от мира. Тем не менее, она в значительной мере следовала тем же путем, включая марксизм (правда, иногда в своеобразном сочетании с толстовством), и зачастую принимала наивную до примитивности советскую продукцию (и даже заведомую пропаганду) с искренним энтузиазмом.

...Конечно, Солженицын был несправедлив. Даже и с тем минимальным багажом, что у нее остался, советская интеллигенция — худо-бедно — сумела вооружить (и технически, и психологически) свой народ для противостояния гитлеровской агрессии. И израильская элита — до-«Веховская», революционистская, ожидавшая

наступления «царства Божия» сразу после военной победы, не имевшая своей собственной философии, основывавшая свои принципы на поверхностно понятых европейских понятиях — сумела вывести Израиль, почти начисто лишенный природных ресурсов и не имевший традиции государственного существования, на заметное место в мире по многим важным показателям.

Может быть и та, и другая интеллигенции, глубоко пережив и осмыслив опыт народных революций, тоже растеряли бы свой незрелый, юношеский оптимизм. Если бы они усвоили поздний западный, скептический взгляд на человеческую природу, отнявший волю к жизни у европейских народов, они не сумели бы вынести те поистине грандиозные нагрузки, которые навалила на них судьба. Ругать их — смертный грех...

Но, чтобы жить дальше, необходимо разорвать неразрешимые порочные круги, которые образовала в нашей жизни их эклектическая идеология. Стремление к абсолютной правоте, чуть ли не к праведности (правозащита без границ!), вместе с общепринятым в Европе релятивизмом, заводит наших интеллектуалов в глубокое противоречие с политической реальностью. Роковая несовместимость культур остается подводным камнем «мирного процесса» с мусульманским миром, который не растворяется в пылких речах наших писателей и демонстрациях нашей доброй воли. Непризнание этой несовместимости обрекает интеллектуала на поверхностность, которая исключает понимание действительности. Чем выше взлетает его мысль, тем дальше она от реализма.

Вот, что говорит один из ведущих писателей Израиля, профессор Хайфского университета А. Б. Иошуа: «Мы, еврейский народ, в сущности — некий андрогин, в том смысле, что мы, одновременно, нация и религия... Нас в какой-то момент сделали такими, изначально и по существу дефективными... Мы, нечто самопротиво-

речивое в самом себе, ... дефективный андрогин, никогда не могли создать для себя нормальный дом. ...Именно поэтому андрогин, каким мы все являемся, вызывал и вызывает к себе такую ужасающую ненависть. ...Потому что всегда был и остается вопрос — что же это такое в действительности? Религия ли это? Или нация?»

Может ли такой взгляд составить основу для самоуважения? Может ли простой человек с незасоренными мозгами поверить, что «ужасающая ненависть» к евреям вызвана каким-то отвлеченным вопросом философского характера?

Имеет ли для нас какой-нибудь смысл этот вопрос вообще?

Комплекс затуманенной европейским образованием идентификации приводит и к безграничной политической левизне, и к оправдательной позиции израильской интеллигенции, в которой обнаруживается ее поразительная готовность принести интересы своего народа в жертву интересам (и даже амбициозным фантазиям) чужого.

Обращенность «ко всему миру», столь типичная для интеллектуалов вообще, провоцирует склонность к сенсационным «разоблачениям» своего общества, которые охотно подхватываются враждебной пропагандой. Так, например, профессор Бенни Моррис, в своей книге «1948. История первой арабо-израильской войны», сообщает (впрочем, недоказательно), что часть голосов, необходимых для провозглашения независимости Израиля в ООН в 1947 г., была куплена за взятки международными еврейскими организациями. Профессор сообщил эту сомнительную сплетню, ходившую в кулуарах Британского Министерства Иностранных Дел, спустя 60 лет после образования государства, населенного 6-тью млн. евреев, выдержавшего 6 войн с арабским окружением, поставив тем самым под сомнение законность его существования.

Как физик, я привык к примату реального перед условным: реальное существование государства для меня неизмеримо более весомый факт, чем любые обоснования его легитимности. Может

быть это и делает меня близким к простому народу? Отнюдь не все народные побуждения легитимны.

Стоит ли гадать о мотивах профессора-гуманитария? Я не сомневаюсь, что проф. Моррис уже получил из-за границы несколько приглашений с лекциями.

Какие бы усилия израильская культурная элита ни предпринимала для своей реабилитации, фундаментальный факт остается неопровержимым: мы (точнее, их собственные отцы и деды) захватили эту землю для того, чтобы на ней жить, подобно всем другим народам. Как бы это ни произошло, у нас нет никаких оснований для комплекса вины. Как сказал Эрнест Ренан о древнем Израиле: «Израиль творил свое дело так, как творятся вообще все человеческие дела: путем насилия и коварства, посреди препятствий, страстей и бесчисленных преступлений». Вряд ли история образования других современных государств выглядит чище, чем история Израиля. Но и быть похожим на всех остальных людей не так уж стыдно, особенно если тебе не оставили выбора, как это случилось в Европе с еврейским народом.

ЖИЗНЬ НА КРАЮ

На исходе самого гуманного XIX в. французский христианский философ и историк Эрнест Ренан написал: «Увы! С тех пор, как сотворен мир, никто еще не видел нации, которая была бы добра к другим.» Увы и увы! Он не дождался образования Израиля.

40 лет назад, когда советские евреи впервые ступили на землю Израиля, его интеллигенция уже успешно соревновалась с Европой за наиболее эффективное осуществление христианских принципов доброты в своей внутренней и внешней политике.

Российские евреи, с пионерского возраста возвращенные на обязанностях и дисциплине («К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!» — «Всегда готовы!»...), знавшие о «правах человека» только из Самиздата или иностранных радио-передач, не могли это понять иначе, чем извращение.

Толстовство и его проповедь «непротивления» не оставило следов в России. Но мы встретили его расцвет среди культурной элиты в Израиле. Познакомившись с сионизмом по Жаботинскому, мы поверили, что эта идеология требует спартанской суровости. Мы не ожидали от израильтян — тем более от культурной элиты — такой рабской зависимости от показных европейских норм и журналистских стереотипов.

Знакомые по-настоящему только с одной войной — тотальной войной, известной среди нас как «Отечественная» — мы полагали, что и война на Ближнем Востоке — это война, а не игра по правилам, обозначенным Гаагским судом. В конце концов, эта бесконечная война (шесть войн!) по сути не менее отечественная, поскольку она идет именно за то, чтобы, евреи обрели, наконец, отечество. Отечеством все народы называют территорию, раньше или позже отвоеванную у предшествующих обитателей.

Отчуждение русскоязычной группы, которое невольно возникло у нас тогда в Израиле, сохранилось потом на долгие годы, превратившись в политический водораздел. Наше безусловно отсталое, не слишком либеральное сознание, вобравшее в себя память многократно битых предков («за битого двух небитых...»), по-видимому, более адекватно воспринимало реальную ситуацию на Ближнем Востоке, чем поспешно сложившаяся, слишком оптимистическая, идеологизированная израильская элита.

С тех пор настроение в израильском обществе сильно сдвинулось, и большинству из нас теперь было бы гораздо легче войти с ним в сердечное согласие. Христианские нормы уже не всегда диктуют решения правительству. И «мнение Европы» уже не так полно определяет его политику.

Многое изменилось в Израиле за эти сорок лет. Хотя отставшие от времени писатели, Амос Оз, Алеф Бет Иошуа, Давид Гроссман и другие, по-прежнему продолжают петь по радио трогательные песни о неосуществимом всеобщем мире, они уже отодвинуты на периферию общественного внимания.

Иудео-христианская цивилизация имеет дерзость настаивать, что она основана на любви. Это настояние действительно имеет свои корни в первоисточниках...

Но в первоисточнике на любви основан и Ислам.

Если бы мусульмане помнили об этом, хотя бы вполовину так же неотступно, как современные европейцы, большая бы часть се-

годняшних международных конфликтов отпала. Первоисточники, однако, существуют лишь в мире возвышенных прозрений небольшой (и лучшей) части человечества. А в наличном земном мире все определяется распространенными толкованиями.

Во времена Крестовых походов массовые казни и сожжение еретиков казались тогдашним христианам вполне совместимыми с заповедями любви. А многим индивидам кажутся такими и сейчас. Толкования, однако, общепринятые сегодня в христианском мире, действительно сильно смягчились. Современные толкования в западных странах даже так расширили рамки допустимого, что кажутся уже просто отсутствием всяких пределов уступчивости. Все дозволено, даже и то, что категорически запрещено...

Израиль по общественному устройству и по структуре населения принадлежит к тому же иудео-христианскому миру, что и все западные страны. И большая часть того, что верно в отношении этих стран, верно и в отношении Израиля...

Мусульмане отстали на целое действие этой исторической драмы. В исламе европейская тенденция пока не прослеживается. Более того, авторитетные мусульманские клерикалы, повсеместно допускают использование пугающих, архаических формул ислама (тысячу лет назад провозглашенных, как и в других религиях, в расчете на Вечность) для актуальных сиюминутных политических толкований, имеющих зачастую откровенно еретический, сектантский и, слишком часто, поджигательский характер.

Что так пугает в Исламе западного человека? Почему он кажется столь чуждым, даже враждебным нашим устремлениям, так что одна мысль о его наступлении леденит душу?

Прежде всего нужно понять, что ислам (как и исходный иудаизм, между прочим) является не просто верой, а образом жизни. И не то, чтобы он принуждал к вере в рай и ад, — нет, он требует кланяться пять раз в день, снимать ботинки при входе в мечеть, поститься в Рамадан... И быть всегда готовым к джихаду.

О различии религиозных традиций лучше судить не по их первоисточникам, а по существующей практике. Сегодняшняя реальность такова, что мусульманская традиция неотступно требовательна, почти полностью исключает серьезную дискуссию и все чаще толкует «джихад» как повседневную политическую реальность.

Собственно, в принципе все религии носят абсолютистский, тотально поглощающий характер. Но на их каждодневной практике сказывается пройденная ими многовековая история. Европейская Реформация XV–XVI вв. разрушила абсолютизм католической веры и тем самым отчасти раскрепостила рядового христианина. Последние двести лет вынужденного подчиненного сосуществования еврейства с окружающими либеральными обществами выработали также и в современном еврействе значительную гибкость, которую харедим в Израиле тщетно надеются теперь изжить политическими средствами.

В истории большинства мусульманских стран такого отрезвляющего процесса не случилось.* Поэтому, несмотря на отсутствие в исламе жесткой иерархической церковной структуры, подобной католической, и наличие многих вариаций канонического права, их ежедневная практика в каждой отдельной стране сегодня столь же тотально жестко охватывает их жизнь, как это сложилось много веков назад, во времена, когда люди еще не умели видеть разницу между произволом-волей местного господина и волей Г-спода.

Не догматические отличия отталкивают европейца в мусульманской среде, а абсолютизм запретов и категоричность требова-

* Кроме Турции. Исключение это скорее подтверждает высказанное правило. Сокрушительный разгром Оттоманской империи в 1-й Мировой войне отрезвил турецкое общество, и в результате реформ Ататюрка оно заметно либерализовалось. Но время от времени древний архетип просыпается, и страна опять склоняется к своему клерикальному прошлому.

ний, сложившихся за прошлые века и превратившихся в народные обычаи.

Фундаментальным для ислама стало то смешение религиозного и политического в исторической практике, которое так сильно сказывается на стиле жизни наших ультраортодоксов. Ведь еврейская религия вовсе не требует ни белых чулок, ни меховых шапок. Не требует она и париков для женщин, ни даже религиозного благословения брачующихся. Все это досталось нашим ортодоксам от европейской стилистики XIII–XV вв. Однако, именно эти чуждые и несущественные детали напоминают теперь верующим добродетели их далеких предков, и за прошедшие века они слились в массовом сознании с нерушимой верностью духу иудаизма.

Подобное слияние и в исламе возникло не сразу, и, быть может, вообще не было важным в начальные века, когда мусульманское общество еще было полно творческого пыла. Но с тех пор прошло более тысячи лет без политического развития, и вырваться из этого самосогласованного клубка религиозных норм и народных обычаев удастся теперь лишь редким индивидам, никакого влияния на общую ситуацию в мусульманских странах не имеющих.

В свое время тотальным образом жизни было и христианство. И, конечно, те самые люди, которые теперь с ужасом думают об исламе, не были бы лучшего мнения и о средневековом христианстве, причем прямолинейная догматичность пуритан в первое время зачастую даже превосходила былую догматичность католиков. Ясно, что современный человек согласился бы попасть в такую экзотическую атмосферу разве что в любительском спектакле. Как высказался по этому вопросу российский эксперт, воспитанный еще в советской школе международников, пренебрегавшей «политкорректностью»: «Дорастет ли когда-нибудь исламская цивилизация до цивилизации христианской, когда решение земных проблем не будет провоцировать обращение к Всевышнему?» Он был, по-видимому, уверен, что она растет именно в этом направлении.

Ежеминутное обращение ко Всевышнему обращает каждую мелкую деталь индивидуального поведения верующего в решающий шаг на пути между добром и злом. Вообще говоря, это и есть заветная, **конечная** цель всякой религии. Однако современное сознание западных народов в результате сокрушительного векового опыта вынуждено было смириться с неоспоримым фактом, что все **конечные** цели достижимы лишь в Вечности, т. е. в **бесконечном** времени.

Обращение ко Всевышнему во многих земных делах, постоянное скрупулезное страхование от возможного (и неизбежного) греха, в просторечии называемое ханжеством, парализует деятельную волю верующих и отторгает конструктивную помощь неверующих, последовательно обрекая исламистские режимы на неизбежную стагнацию и техническую отсталость.

Некоторая часть мусульманского общества это свое фатально отсталое состояние сознает и ощущает как унижение, за которое они непрочь отомстить продвинутым нациям. Вместо того, чтобы сосредоточиться на благоустройстве собственной жизни, которое требует серьезных, и подчас мучительных, преобразований, мусульманам психологически легче солидаризоваться на образе врага, несправедное процветание которого они ежедневно наблюдают по телевизору.

Однако, определяющим фактом при этом является то, что мусульманское общество гораздо более требовательно к своим членам, чем западное, и в нем поэтому остаются актуальными высокие понятия общественного и религиозного долга — обязанности гражданина. К сожалению, эти понятия в истории монополизировали жесткие, деспотические режимы.

Привычное отвращение к гитлеровскому и сталинскому режимам закрывает нам ту часть социальной истины, которую создатели этих режимов так проникательно углядели и умело использовали:

Поставить перед народом цель (хотя бы и мнимую) и подчинить всю его ежедневную, рутинную жизнь непрекращающемуся целеустремленному усилию.

Изобрести поводы (хотя бы и иллюзорные) для мобилизации общества на длительное поддержание трудового и военного энтузиазма с принесением при этом неизбежных ежедневных жертв.

Установить безусловный приоритет обязанностей человека перед его правами.

Для этого нужна религиозная дисциплина сознания, абсолютность запретов и предписаний, категорический императив. Ничего из этого ассортимента у либеральной демократии нет и в помине.

Преступления власти повсюду прощаются ей скорее, чем ее очевидное бессилие. Вседозволенность, как ни странно, больше раздражает граждан, чем ограничения.

На короткие 12 лет все это вместе дало безрелигиозному народу в Германии (где Ф. Ницше провозгласил, что «Бог умер!») суррогат мобилизующего религиозного сознания, в котором германское массовое общество в XX в. остро нуждалось.

Не нужно строить себе иллюзий о природном свободолюбии народов. Человеческая натура противоречива. В той же (пожалуй, даже и в большей) мере, в какой индивидуальный человек ищет свободы, человек толпы жаждет ярма и руководства. **И надо до конца осознать, что это один и тот же человек.**

Религиозная рамка нужна человеку в его духовной жизни, так же, как для ориентации в пространстве ему нужна система координат. Слухи об относительности всех систем координат, основанные на неосторожной популяризации идей Эйнштейна, преувеличены. В земных условиях юг и север, запад и восток вполне реальны и отчетливо различимы.

Ребенку, который учится ходить, сведения о шарообразном строении Земли не придадут устойчивости. Если бы теорию относительности или геометрию Лобачевского включили в программу начальной школы, это не расширило бы горизонт учеников, но безусловно нарушило бы нормальную ориентацию детей на их интуитивное восприятие геометрии Евклида, как единственно возможной в реальной жизни. Трагедия XX в. отчасти состояла, как раз, в том, что большим массам народа, освободившимся от сковывавших религиозных догм, идеи Просвещения XVIII в. оказались **не по возрасту** даже в Европе.

Появились самонадеянные интеллектуалы, объявившие, что человек может сам для себя устанавливать законы. Это все равно, что, игнорируя общий опыт, самому решать, где восток, а где запад. Как заметил еще Б. Паскаль: «Закон сам себе основание. Обычай справедлив по той простой причине, что он всеми признан, — на этой таинственной основе и зиждется его власть».

В XIX в. возникло множество идеологий, претендовавших на вакантную роль религии, и рядовой человек стал свободен сам выбирать наиболее близкие его душе и интеллекту. Естественно, что наибольший рейтинг набрали самые простые идеи.

Гитлер умело воспользовался разочарованием немцев в слишком либеральном укладе Веймарской республики и вовремя предложил альтернативу попроще. Что ни говори, остается непреложным фактом, что эта альтернатива для большинства оказалась приемлемой.

Такого широкого выбора, как у немцев, у российского населения не было, и Сталину пришлось уничтожить несколько миллионов человек, прежде, чем он окончательно утвердил в сознании масс свою нео-монархическую модель общественной жизни. Она, конечно, больше напоминала суровую модель Спарты, чем либеральный дух демократических Афин. Он безусловно преуспел, попутно превратив марксизм из ограниченной, но все же научной, гипотезы во всеохватывающую религиозную доктрину.

Молодежь в любом народе готовно отзывается на голос долга и романтику подвига. Гитлер потратил этот запас юношеского энтузиазма на всеевропейскую войну, конец которой предвидели все, кому не вскружили голову его первые успехи.

Массовый человек без сопротивления отзывается на призыв к согласованному коллективному действию, особенно если это действие сопряжено с проявлением власти или даже насилием по отношению к другим. Сталин потратил этот недобрый запас активности на создание Империи, неизбежный конец которой также предвидели многие проницательные люди внутри и вне России.

Поскольку обязанности мусульманского человека далеко превосходят его права, коллективные силы всех мусульманских обществ легко направляются на внешние цели вместо улучшения основ собственной жизни. К тому же у мусульманских обществ нет политического опыта ненасильственного социального совершенствования. Как заявил недавно один из авторитетных алжирских лидеров-исламистов: «Демократии, как понятия, нет ни в одном арабском словаре». Хотя технологически все страны ислама отстают от Запада и оказываются не в силах ни приостановить его развитие, ни даже достигнуть сравнимого уровня мощи, природный самоотверженный энтузиазм их молодежи переплескивает через край, и тратится, в основном, на мелкий вандализм и детские восторги по поводу успешных актов террора.

Идейный вдохновитель российского мусульманства Гейдар Джемаль выразил (не без влияния французов) это повсеместное, жизнеотрицающее возбуждение молодежи в весьма глубокомысленной философской форме, скрывающей его разрушительный характер:

«Протест — это наиболее высокая и наиболее перспективная (!) духовная самоорганизация человечества. Потому что под этим протестом подразумевается противостояние и конфликт с инерционной системой окружения, которая есть по определению не-Бог.»

Не привыкший к философскому красноречию читатель не сразу догадается, что это означает то же самое, что «весь мир наличный мы разрушим до основания, а затем...». В качестве опоры для своей проповеди начинающий вождь весьма дальновидно избирает не какое-нибудь положительное требование, вроде, например, мусульманского социально-политического идеала или более справедливого общественного устройства, которые всегда уязвимы для критики, а **протест, отрицание** в его чистом виде.

Здесь Джемаль следует безусловно компетентному автору «Майн Кампф»: «Понимание слишком шаткая платформа для масс, единственная стабильная эмоция — ненависть.»

Неизменный соблазн честолюбивого вождя в такой ситуации — пойти по пути Гитлера — отвлечь внимание рядового гражданина от его собственного жалкого состояния и нацелить весь взрывчатый потенциал в одном избранном внешнеполитическом направлении...

На ненависти основаны наиболее впечатляющие народные движения, крестьянские войны и исламские революции.

Демографическая и экономическая ситуация в нашем веке провоцируют все более тесные контакты между разными культурами, которые в ходе соревновательной конкуренции и взаимного непонимания, вольно или невольно, перерастают во все более глубокие конфликты.

Население западных стран до такой степени вошло во вкус своей «сладкой жизни», что не готово ни на какие немедленные жертвы ради отдаленных, не видимых простым глазом, перспектив. В свободных странах общественные обязанности добросовестно выполняют только те, кто почему-то изначально был к этому склонен. С течением времени процент этих идеалистов близится к нулю. Западный человек все больше сосредоточивается на улучшении и обогащении своей собственной индивидуальной жизни

(«Что ему Гекуба? Что он Гекубе.»), что зачастую легко склоняет его к коррупции. Расширение его частных прав все больше вытесняет в его осознанном поведении значимость обязанностей, необходимых для поддержания стабильности общества в целом. Служить в армии, исправно платить налоги и даже просто вовремя проголосовать становится ему все тягостнее.

Мусульманское сознание оценивает это явление, как развращенность и тенденцию к близкому распаду. В значительной степени (большей, чем хотелось бы) это так и есть. При таком условии согласный нажим мусульманских обществ на западные демократии кажется почти неодолимым. Культурная и технологическая отсталость варварских племен не помешала им в свое время разрушить и поработить Римскую империю.

Христианский мир медленно но верно отступает...

Однако, в Израиле вопреки общезападной деидеологизации, многолетнее, чересчур близкое присутствие смертельной опасности вызывает у гражданина некоторую дополнительную мобилизацию нервных ресурсов без всякого политического нажима. — Не у всякого, конечно, гражданина — но все же в числе достаточном для успешного функционирования. Эта мобилизация с годами осуществляет незримую селекцию в израильском народе, выделяя тех немногих избранных, у кого в сознании их обязанности, и сопряженная с ними ответственность, пересиливают расслабляющую мысль о безграничном расширении прав. Уже в третьем поколении складывается своеобразный тип ментальности, которая отличает многих молодых израильтян от евреев диаспоры.

Все, что Бог ни делает, он делает к лучшему. Он окружил нас врагами, чтобы мы не избаловались. Если слишком долго нет войны, Он посылает нам пожары. Чтобы лень, невнимательность и техническая некомпетентность не возобладали в стране. Чтобы избыточный израильский гуманизм и расслабляющее европейское

влияние не затуманили нам трезвости взгляда. Российские евреи со своей паранояльной подозрительностью и имперскими замашками неплохо вписываются в эту ситуацию.

Эрнест Ренан, описывая древнюю историю падения Израиля, замечает: «...Военное мужество, которое так блестяще проявляли израильские цари, потеряло свою цену. Праведники и герои становятся двумя враждующими лагерями на арене человеческого прогресса и редко вступают в мирное сожительство.» И дальше — «Социальные условия, в которых находятся военные вожди, требуют известной внешней гордости; смиренный воин есть противоречие в себе. Общество кротких лишено силы. Мир не состоит из идеальных людей.» (Э. Ренан, *«История Израильского народа»*, М., 2001)

Стремление к праведности уже не раз в истории подводило евреев и, несмотря на все изменения нашего облика и внешнюю секуляризацию, нужно признать, что мы, как народ, опять балансируем на краю пропасти в своей характерной амбиции создать «розу без шипов», войну без ненависти, государство без принуждения и экономику без эксплуатации. — «Не делать другому, чего не хочешь для себя...» Как будто эта судьба запрограммирована у нас в генах.

Однако жизнь на краю пропасти не всегда ведет к катастрофе. Демократия вообще очень странная форма организации общества, слишком приближенная к состоянию анархии и распада. И, тем не менее, чрезвычайно устойчивая.

Температура 36,6 °С, при которой успешно функционирует организм человека, находится в узком ($\pm 5^\circ$, меньше 2% в абсолютных единицах) зазоре между недопустимо смертельным переохлаждением и столь же недопустимым перегревом. Однажды, присутствуя на биологической конференции, я обратил внимание, что оптимальные условия для жизни биологических организмов всегда оказываются в опасной близости к температуре разложения ДНК (т. е. ядер) их клеток, поддерживая их в состоянии, близком к кри-

тическому. По-видимому, в ходе эволюции интенсивная жизнь (и необходимая для творчества эволюции изменчивость) сложных организмов вообще оказалась возможной лишь на самом краю гибели, в окрестности критической точки, с которой она только и могла бы начаться. Между мертвой материей и живой клеткой существует разница в симметрии, принципиально та же, что и в других фазовых переходах (критических точках), и это будущее поле исследования, которое еще далеко не покрыто массивным наблюдением.

В еще большей мере это относится к сложному общественному организму, интенсивная жизнь которого держит его близко к состоянию распада. Когда мы читаем историю войн Израиля, часто кажется, что только случайные стечения обстоятельств или чья-то поразительная находчивость в последний миг спасали страну от поражения. Но эти случайные стечения обстоятельств выстраиваются в цепь, наводящую на мысль о фундаментальной устойчивости. Устойчивости на краю выживания.

За 60 лет современный Израиль, вопреки многолетней миролюбивой риторике и христианскому всепрощению, создал свои мощные средства защиты и достаточно многочисленный, инициативный, жизнелюбивый народ, способный без колебаний этими средствами воспользоваться.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТЛИНКИТОВ АЛЯСКИ

Летом 1990 я по своим научным делам был в Сиэттле, штат Вашингтон, очаровательном городе на западном берегу США, на границе с Канадой.

Там в это время проходил Советско-Американский симпозиум по Правам человека. Перестройка тогда была уже в самом разгаре, но участие СССР в защите прав человека все еще воспринималось как анекдот.

Руководство местной еврейской общины, сыгравшей в свое время важную роль в защите прав евреев в СССР (покойный В. Джексон был сенатором от штата Вашингтон), попросило меня, как бывшего активиста, включиться в работу симпозиума. К тому времени большинство моих друзей-отказников, также как и диссидентов, были уже на свободе, и я впервые мог наблюдать подобное событие сравнительно объективно, почти без страсти.

Первое новое обстоятельство, обратившее на себя мое внимание, состояло в том, что советская делегация отчетливо делилась на две неравные, не смешивавшиеся группы: хорошо одетые, непринужденные, но хмурые,

функционеры и неуместные в своих новых галстуках, измученно-потерянные диссиденты. Функционеры в кулуарах явно чувствовали себя увереннее и откровеннее с американцами, и даже со мной, чем со своими неожиданными и неудобными соотечественниками. Они неопределенно пожимали плечами в ответ на любой вопрос, касающийся остальных членов советской делегации. Видимо, их шокировал ее состав.

Диссидентов качало в любом обществе. Они не выходили из состояния мрачной и недоуменной озабоченности. К тому же они не понимали ни слова по-английски.

Функционеры профессионально умело, на хорошем английском, в общем отбивали мячи, пущенные нью-йоркскими адвокатами, хотя на их лицах ясно было написано, что они уже нетвердо знают, продолжается ли еще старая игра, и для чего все это нужно. После небольшого препирательства, направленного на поддержание своей профессиональной репутации, они неожиданно легко соглашались на самые либеральные формулировки, не включавшие их обычных оговорок насчет безопасности и госинтересов. Быть может, они тоже чувствовали тайное облегчение от редкой возможности снять с себя тяжкое бремя выворачивания наизнанку юридической логики, которой они худо-бедно обучались все-таки в своих институтах.

Юридическая логика по существу близка к компьютерной. И та, и другая пользуются искусственно сконструированным языком, в котором не остается зазора между «да» и «нет». Обе они полностью применимы только к моделям вещей и событий, но не к реальной жизни как таковой. Применение моделей к реальной жизни остается целиком на совести юристов и зависит от их видения ситуации. Поэтому и судебная система повсюду далека от совершенства.

Диссиденты произносили тяжелые, выстраданные речи на русском языке. Переводчики старательно и неумело переводили

их мучительные лагерные воспоминания и неожиданные художественные обороты, все время переспрашивая непонятные слова. Функционеры пережидали с отключенными лицами. Адвокаты привычно сочувственно расширяли глаза и по-западному вежливо не требовали уточнить, к какому, собственно, пункту текущей программы эти речи относятся. Ни один из диссидентов ни разу не выступил по проектам резолюций.

Затем наступил черед прибалтов. Если бы не их нагрудные знаки, никто бы не догадался, что они являются частью советской делегации. Они хорошо, по-западному, выглядели и юридически убедительно аргументировали. Никто из них не ударялся в смутный, экзистенциальный опыт или правовую фантастику. Все трое четко отбарабанили примерно одно и то же: «...подлый гитлеровско-сталинский сговор, раздел добычи между империалистическими хищниками, узурпация народных прав, комедия всеобщих выборов, угнетение мелких, но свободолюбивых народов...»

Все вздохнули свободно. Функционеры расслабились и совсем ненастойчиво возражали. Адвокаты, наконец, схватывали с полуслова. Диссиденты горячо и неозабоченно кивали. Прибалтами все были довольны. Их требования, казалось, воплощали здравый смысл. Они представляли суверенные нации, только по историческому недоразумению и бывшей советской злокозненности все еще не полностью свободные. Произносилось все это в обстановке, когда и правительство СССР готово было в той или иной форме признать законность их претензий.

Адвокаты предвкушали единогласные, плодотворные резолюции симпозиума, мысленно уже называя его «Тихоокеанской конференцией». Этот их успех, наверное, поведет к другим заманчивым конференциям (может быть, даже в Гонолулу!) для разработки деталей. Впоследствии на них будет ссылаться ООН, ... прием новых членов, новых клиентов, новые приятные

возможности, ... их международный опыт, приглашения консультировать...

Следующим по программе был какой-то мистер Макферсон с адресом от юконских индейцев. Ну что ж, послушаем приветствие индейцев...

Мистер Макферсон выглядел пожилым англосаксом, играющим главную роль в американском вестерне — что-то вроде Соколиного Глаза — на нем в дополнение к галстуку висела еще какая-то кожаная мишура. Но он тоже оказался адвокатом.

Он сообщил ничего не подозревавшим слушателям, что индейский народ тлинкитов, живущий по берегам Юкона и в других областях Аляски, пал жертвой подлого сговора двух империалистических хищников: русского царя Александра II и американского президента Гувера, разделивших эту добычу вопреки воле свободлюбивых народов Юкона, которым теперь регулярно навязывают комедийные выборы и лишают элементарного права закупить вволю спиртного, не говоря уже об ограничениях на охоту и рыболовство. Охотничьи права тлинкитов вдобавок зверски нарушаются бродячими японскими рыбаками, а их миролюбивые призывы направить военный флот США для сокрушительного удара по агрессорам вызывают наглые насмешки конгрессменов. Народы Юкона поддерживают справедливые требования литовского, латышского и эстонского народов и, в свою очередь, ожидают, что конференция также единодушно поддержит и их, единственно возможное при сложившихся условиях, требование о создании суверенного государства тлинкитов на Аляске...

В этнографическом сборнике «Народы Азии, Африки и Океании» за 1953 г. (впрочем, за точность этой ссылки я по прошествии лет не поручусь) в подробной статье о тлинкитах можно было прочитать, что этот народ являет миру замечательный пример торжества марксистской теории происхождения классов, ибо, сохраняя еще

все пережитки первобытного коммунизма, свойственного и всем окрестным племенам, он все же уверенно и без всякого постороннего влияния полностью развил в себе (хотя еще и не в классической, а только в семейной форме) **институт рабовладения...**

Таким образом я невольно оказался свидетелем, как этот, опередивший остальных юконских индейцев, прогрессивный народ за прошедший с 1953 г. короткий период освоил уже и фразеологию международных конгрессов и институт наемной юридической помощи. Возможно, у них действительно скоро появится шанс превратить свою отсталую, семейную форму рабства в более прогрессивную, государственную.

Нужно сказать, что «буржуазная», западная наука того времени была менее снисходительна к тлинкитам и один из выдающихся ее представителей сообщил следующее:

«Один вождь племени тлинкитов, желая нанести афронт другому, приказал убить у себя несколько рабов, в ответ на что другой, дабы не остаться в долгу, вынужден был убить своих рабов числом еще больше... Такое соревнование в щедрости называется в антропологии **«потлач»** — красноречивейшая форма выражения фундаментальной потребности человеческого рода, которую можно назвать **игрой ради славы и чести.**»

(Йохан Хейзинга, «Homo ludens», Москва, 2003 г.)

Следом за мистером Макферсоном с аналогичным требованием выступил и аутентичный вождь племени. Хотя в своей речи он (для справедливости нужно отметить, что это был уже не тот вождь, что убивал своих рабов, поскольку Конгресс США это категорически запретил, тем самым воспрепятствовав свободному развитию своеобразной культуры тлинкитов) откровенно признал, что в отношении своего государственного бюджета вынужден целиком полагаться только на Конгресс Соединенных Штатов, его

амбициозная «игра ради славы и чести» приняла теперь внешне современную форму и потребовала безусловного суверенитета для его свобододолюбивого народа.

Нет сомнения, что запрет рабовладения, наложенный конгрессом США, сильно стеснил тлинкитское сообщество и ограничил их экономические (и игровые) возможности. Однако, вождь утверждал, что его народ «уже созрел до государственной независимости» и призывал участников Симпозиума немедленно составить обращение к Конгрессу с требованием выделить необходимые для государственного строительства суммы и положить их на банковский счет Национального Совета Вождей Юконских народов, поскольку очевидно, что собрать достаточно средств в государственный бюджет этого многообещающего государства среди самих тлинкитов будет невозможно.

Следующий Симпозиум по Правам Человека он предлагал организовать у них на Аляске и пригласить обоих президентов — США и СССР — в их стойбище на Юконе. Большая часть его выступления была посвящена деликатному вопросу о приглашении жен президентов, поскольку традиционные правила тлинкитов не позволяют послать приглашения женам от того же племени, что и мужьям. У них твердо принято брать жен из другого, смежного племени. Однако он, будучи современным человеком без предрассудков, был готов похлопотать перед своим знакомым, вождем смежного племени, чтобы жены президентов получили отдельные приглашения от него, в обход обычая, и тогда последние препятствия на пути всеобщего согласия будут устранены...

Он прилетел в Сиэтл на самолете, говорил на хорошем английском языке и во многих отношениях выглядел современником всех других участников Симпозиума.

Я привожу это историческое выступление в таких подробностях для того, чтобы сопоставить его с диагнозом уже цитирован-

ного выше антрополога-классика, который сегодня, связанный правилами политической корректности, может быть, уже и не решился бы высказаться столь определенно:

«Как социологическое явление «потлач» можно понять вне всякой связи с системой религиозных воззрений. Достаточно взглянуть в атмосферу сообщества, где безраздельно властвуют первичные инстинкты и внутренние побуждения, знакомые цивилизованному человеку как импульсы юношеского возраста... Это атмосфера чести, зрелища, похвалы, вызова. Человек здесь живет в мире рыцарской гордости и героических иллюзий, в котором высоко котируются имена и гербы, насчитываются вереницы предков. Это не мир забот о хлебе насущном, погони за необходимыми благами. Целью тут является престиж группы, высокое социальное положение, превосходство над остальными.» (то же соч.)

Напрасно было бы объяснять, что народу тлинкитов, если он не хочет вымереть от голода и пьянства, лучше на время оставить идею государственной самостоятельности и послать своих детей в общеобразовательную школу. Престиж вождя, грандиозное видение его героической позы между двумя президентами мировых держав перевешивает в его сознании (а может быть и в сознании многих его единоплеменников) любые практические соображения, обычно приходящие в голову взрослому человеку.

Беспредельное расширение понятия прав (людей и народов), первоначально сформулированного в общепринятом европейском контексте, примененное к неевропейским условиям (где этот контекст даже неизвестен) превратилось в ловушку для демократического сознания. Им все более умело пользуются люди, культура которых не имеет ничего общего с демократической традицией, в особенности с признанием каких бы то ни было прав.

Содержательное возражение могло бы состоять в том, что свободная воля самого народа тлинкитов подавлена их вековой при-

вычкой безропотно подчиняться своим вождям, но в ответ вожди могли бы предложить народный референдум, и в результатах такой проверки не приходится сомневаться.

Требования здравого смысла вовсе не обязательны для юридической процедуры. С точки зрения международного права единственным слабым местом требования вождя тлинкитов являлось его слишком откровенное признание в неспособности самостоятельно собрать государственный бюджет. Неспособность себя прокормить, впрочем, во многих других реальных случаях не явилась препятствием в признании права на национальную независимость (в чем именно состоит такая независимость?). В 80-х годах эксперты Германского посольства обследовали Газу и другие Палестинские территории и пришли к выводу, что никакого шанса на независимость у них нет, но с тех пор новое, социал-демократическое правительство предпочло пренебречь фактами в пользу идеологии. Уже не одно «независимое» государство превратилось в объект вечной благотворительности международных гуманитарных организаций.

Нет ли для ООН необходимости сформулировать для вождей народов не только права, но и обязанности? Например, обязанность самим себя содержать? И правильно информировать, и эффективно контролировать свое население?

Отделение политических прав от политических обязанностей в свободных странах приводит к тому, что особенно эффективно используют свои права именно те, кто никогда не исполнял обязанностей. Это приводит также к постоянному недовольству всех остальных граждан, которые слишком ясно видят, что их надувают. Общий результат нарушения баланса во всех свободных странах проявляется в непрерывном росте цинизма политиков и параллельно-пропорциональном росте распушенности

граждан. Но если бы всякому, кто настаивает на своих правах, предстояло в пропорциональной мере выполнять гражданские обязанности, целые группы населения добровольно отказались бы и от прав. Даже и сейчас обязанность проголосовать многим гражданам свободных стран представляется чрезмерной. Нет такой демократической страны, в которой граждане были бы довольны своим правительством, которому, впрочем, они делегировали все свои обязанности, в то время как права получили, как бы от рождения.

Но в авторитарных странах подданные уважают, а то и любят своих вождей, ибо даже самое свое право на жизнь они получают только от них. Поэтому и во внешней политике ответственные демократические лидеры (которые помнят свои обязанности) слишком часто бывают вынуждены уступать самозванным вождям террористических режимов (которые знают только свои права).

Сегодня, впрочем, этот симпозиум не дался бы его организаторам так легко. Миротлюбивый албанский народ Косова или свободолюбивые народы Чечни и Руанды вряд ли приняли бы их казуистические аргументы, противопоставляя им логику свершившихся фактов. Тем более это относится к афганским талибам, хутту-тутси и другим, известным нам, борцам за расширение прав народов.

Я тогда был слишком занят в университете, чтобы в деталях проследить, как нью-йоркские адвокаты и московские международники объединили свои усилия, чтобы отвести эту беду от великих держав. Да, по правде говоря, мне вовсе не улыбалась перспектива быть как-то замешанным в такое сомнительное дело с непредсказуемым будущим. После исчерпания вопроса о правах диссидентов и евреев в СССР (в котором я казался себе компетентным) я оставил заседания.

По-видимому нет рационального выхода из тупиков, в которые затягивает людей во всем мире слишком тесное столкновение культур.

Прошлый век оставил нам несколько примитивную мысль, что голосование есть справедливое решение большинства проблем, но при этом он затуманил для нас происхождение самого права голоса. Еще веком раньше всем было ясно, что право голоса имеет только тот, кто исправно выполняет общественные обязанности. В исходных формулировках античных демократий, как и в привилегиях граждан средневековых городов, всегда оговаривались обязанности, исполнение которых предполагало гражданские права. Ибо права — это всего лишь следствие договорных (условных) отношений внутри коллектива людей, а обязанности — это необходимость (абсолютная), диктуемая всему коллективу окружающей природой (в том числе и соседствующими коллективами).

В девственном лесу обязанностью мужчины было выйти с копьем на мамонта, а обязанностью женщины — укрыть от опасности ребенка. Отсюда происходили и их различные по духу права: высказаться при обсуждении плана охоты или наложить заклятье — запрет на пожирание какого-нибудь гриба.

В малых коллективах это очевидно и сейчас. Мое право голосовать в собрании жильцов существует лишь до тех пор, пока я плачу свою лепту в наш домовый бюджет, и домкому есть на что рассчитывать. Но в глобальном масштабе этот здравый смысл испарился, сменившись последовательным и бездумным потворством всем и всяческим правам.

Как бывший участник правозащитного движения в СССР я хотел бы решительно отмежеваться от сегодняшнего безграничного расширения применимости этой первоначально столь благородной идеи. Никакая идеология не заменит естественного баланса прав и обязанностей.

В течение первых десятков лет существования государства молодая элита Израиля была воспитана не на правах, а на обязанностях. Пока это правило соблюдалось, Израилю не были страшны ни войны, ни кризисы. Со временем и по мере роста благосостояния, как и во всех других демократиях, центр общественного внимания переместился с обязанностей на права (слишком часто для Израиля, как воюющей страны, на «права палестинцев»).

За последние годы это привело к тому, что и само **право на жизнь** израильского гражданина оказалось теперь не обеспеченным.

СВОБОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

С возрастом жизненный опыт подсказывает так много поправок к любому утверждению, что молчание начинает казаться единственно разумной реакцией на события во внешнем мире. Однако молчание, будучи непроверяемым, остается и бессодержательным. А человек высказывающийся, хотя и не охватывает свою тему полностью, но в связи с предметом раскрывает себя и, таким образом, совершает поступок, приобретающий смысл, если и не тотчас, то со временем.

Таким поступком стала книга Натана Щаранского «В защиту демократии», выпущенная недавно на русском языке издательством «Захаров» в Москве.

Для того, «кто однажды отведал тюремной похлебки», нет в мире ничего дороже свободы. В среде русской интеллигенции, возникшей и выросшей в тени деспотизма, эта мысль стала содержанием веры, тайной мистической традиции, которой стойко придерживались редкие одинокие люди в России в течение десятков лет тотального советского беспамятства.

Натан (Анатолий) Щаранский — пасынок этой неудавшейся великой традиции, просидевший 9 лет в российской

тюрьме за еврейское дело — сумел донести до мира эту выстраданную веру, когда сам ее носитель — либеральная русская интеллигенция — уже почти полностью вымер, не выдержав предательского равнодушия собственного народа.

Идея демократии, как разумного народоправия, отзывающегося на требования справедливости, выношенная русской либеральной мыслью, конечно, имеет общие черты с демократиями, исторически сложившимися в странах Европы и Америки. Нам, российским выходцам, для которых демократия была не столько конкретным образом чьей-то национальной жизни, сколько теоретическим идеалом, недостижимой мечтой, близка мысль, что именно эти черты реальных демократий отвечают общечеловеческим чаяниям. Действительно, громадный приток иммигрантов из всех уголков мира в Западные страны как будто подтверждает эту надежду. Однако во всех демократических странах гражданам приходилось веками бороться за свое политическое устройство, так что история этой борьбы вошла в их элементарное воспитание. Поэтому такое политическое устройство, по крайней мере в какой-то степени, отвечает устройству их души. То есть сравнительно большой (достаточный для устойчивости) процент населения в этих странах сознаёт, что преимущества (и недостатки) демократического правления зависят от их собственного поведения.

Все демократии первоначально сложились на узкой олигархической основе. Включение все более широкого круга граждан происходило в результате жестокой борьбы из поколения в поколение и усвоения гражданами соответствующих правил. Те, кто по тем или иным причинам оказался не способен к такой борьбе (сегодня протекающей на легальной основе, но в прежние времена, связанной со смертельным риском), фактически остаются бесправными и сегодня. Несмотря на общепринятую демагогию по поводу прав человека, никто и на Западе не склонен поступиться своими пра-

вами в пользу ближнего, чтобы вознаградить его за скромное поведение.

Одна из особенностей обществ, в которых впоследствии воцарились демократии, состояла как раз в том, что государство не стало у них единственным действующим фактором в истории. Церковь, городское самоуправление, рыцарские или монашеские ордена, цеховые гильдии, а потом и корпорации (например, Ост-Индская компания или Банк Ротшильда), оказались способными играть роли, сравнимые по своему влиянию на судьбы людей с ролью государственных учреждений. Поэтому граждане будущих демократий были в какой-то степени уже подготовлены к плюрализму мнений, борьбе интересов и разделению властей.

Совершенно иная картина складывается в случае, когда демократическая система отношений вносится в общество декретивно, сверху, и народ получает то, чего он не добивался. Ему как бы навязывается непосильная соревновательная система, при которой какие-то ловкие и прежде незаметные люди умудряются успеть захватить самые выгодные позиции, а большая группа влиятельных, ранее привилегированных граждан отбрасывается на периферию общества вследствие изменения конъюнктуры или недостатка личной инициативы. Это, конечно, не значит, что демократия становится невозможной. Но это значит, что внутри общества у нее с самого начала появляются сильные своими прежними связями (и прежним опытом организации и манипулирования массами) враги.

«Доктрина Щаранского», обсуждаемая в кругах близких к президенту Дж. У. Бушу, сводится к простому (чересчур простому) утверждению, что, поскольку угроза миру всегда происходит от деспотических авторитарных режимов, инициирующих войны и захваты, следует направить усилия на демократизацию мусульманских стран и не надеяться на мирное сосуществование, пока

в этих странах не установится демократическая общественная атмосфера. Такой подход предполагает массированную поддержку оппозиционных движений и снижение уровня снисходительности Западных правительств к военным амбициям мусульманских диктатур и их темным связям с международным террором. Кажется удивительным, что такая простая идея воспринята как «новая доктрина» в кругу прожженных политиков, которые направляют современные тенденции. По настоящему удивительны в этом деле только энергия и сила воли Щаранского, сумевшего не опустить руки, несмотря на многолетнее намеренное пренебрежение политического эстаблишмента к его «идеализму».

Суть дела в том, что политический эстаблишмент Западных стран вовсе не ставит себе революционную стратегическую цель улучшить (тем более, переделать) мир. В своей внешней политике он скорее озабочен сохранением стабильности, т. е. консервативной задачей сохранить мир в неизменном состоянии, вопреки неудержимому потоку изменений, вносимых временем. Хотя по большому счету это невозможно, и такая позиция приводит к бесчисленным тактическим уступкам, она импонирует западному избирателю, который живет слишком хорошо, чтобы желать радикальных перемен в своей сегодняшней жизни.

Эта позиция находит поддержку также и в авторитетной концепции «конфликта цивилизаций» Самуэля Хантингтона, которая сводится к тому, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». В своей книге, опубликованной около десяти лет назад, Хантингтон заметил, что «все границы, отделяющие мусульманскую цивилизацию от других, сочатся кровью». Однако западный, демократический образ жизни есть, по мнению ученого, уникальный феномен, сложившийся в Европе в результате редкого сочетания исторических обстоятельств. Он не может быть воспроизведен искусственно на иной основе, и ничего подобного не следует ожидать в ходе развития мусульманского мира и в будущем.

Поэтому, с его точки зрения, следует оставить все как есть, по возможности лишь избегая прямой конфронтации с мусульманами, в надежде на постепенное угасание их агрессивности в перспективе примерно полустолетия. За это время их благосостояние, возможно, вырастет (а демографическое давление упадет) настолько, что заставит их ценить жизнь, какова она есть, больше, чем достижение воображаемых целей, диктуемых идеологией. Тогда появится шанс на разумно обоснованный компромисс.

Научный анализ Хантингтона безупречен. Но, как и всякая другая последовательная гуманитарная теория он годится для объяснения событий только ретроспективно при взгляде в прошлое и не имеет никакой предсказательной силы: «философы лишь различным образом объясняли мир». Никто из блестящих американских советологов (включая Р. Пайпса и З. Бжезинского) не сумели предсказать молниеносный развал Советского Союза. Теперь, задним числом, все понимают, что так должно было однажды случиться. Но если бы это случилось на десять лет раньше (или позже), весь сегодняшний мир был бы другим. Социологический анализ не включает «случайностей», связанных с харизмой вождей, и обходящихся народам в десятки лет задержки или ускорения (не говоря о тысячах жертв). Всякий новый прецедент в мировой политике радикально меняет все правила этой наукообразной интеллектуальной игры с катастрофическими штрафами.

Примеры вполне демократических сегодня Германии, Японии, Тайваня и Южной Кореи демонстрируют нам, возможно, общечеловеческий характер демократических форм жизни, ибо в этих странах также не было прочной демократической традиции до ее искусственного внедрения извне. Однако и Германия, и Япония оказались вполне способны к демократии, только после сокрушительного военного разгрома и многолетней иностранной оккупации.

Разница между взглядами С. Хантингтона и призывом Щаранского совсем не в том, «возможна или невозможна демократия

в мусульманских странах?». В конце концов это вопрос не для газетного обсуждения, а для историков и теоретиков культуры.

Серьезный политический вопрос о судьбах человечества в XXI в., который касается всех, состоит в том, до какой степени либеральные Западные общества готовы к систематической борьбе с врагами демократии внутри мусульманского мира. Какие жертвы они готовы принести, чтобы дать свободу и шанс на будущее процветание другим странам и народам, не знавшим демократической традиции в своем прошлом?

Вообще говоря, трезвая, циническая оценка западного эгоизма подсказывает разочаровывающий ответ: никаких жертв, кроме официальной благотворительности. Однако реальная ситуация гораздо сложнее.

Является ли внимание Дж. У. Буша и его окружения к «доктрине Щаранского» следствием случайного сочетания личных качеств республиканской правящей элиты или она отражает долговременную тенденцию в настроении американского избирателя? В частности, растущую массивную поддержку десятков миллионов христианских фундаменталистов?

Напор фундаменталистских настроений в мусульманских странах оказывает косвенное, хотя и запаздывающее влияние на религиозные круги других конфессий. В первую очередь, конечно, на евреев, но также и на христиан (и индуистов). Дело не только в обострении религиозных чувств верующих.

Возрастающий размах терроризма и ободряющая его агрессивная риторика мусульманских клерикалов пугает и равнодушного к религии обывателя и подталкивает его к нехристианским мыслям о расправе. Граждане демократических обществ оказываются в неустойчивом равновесии между двумя страхами: страхом террора, угрожающего во всякое время всякому прохожему на улице, посетителю в кафе и пассажиру в автобусе, и страхом войны, угрожающей людям с оружием в руках, которые знают, на что идут

и для чего они это делают. Бывают ситуации, когда люди сознательно выбирают второй вариант. В Израиле этот мысленный выбор открыто влияет и на выбор политический.

Разумный оппортунизм С. Хантингтона, готового к мирному сосуществованию с деспотическими режимами, подсказывает ему стратегию уклонения от прямого конфликта, насколько это возможно, и диктуется естественным национальным (или общедемократическим) эгоизмом. Мы, однако, знаем, что однажды такой оппортунизм уже привел к позорным Мюнхенским соглашениям, которые скомпрометировали политику соглашательства, но не предотвратили Мировую войну. Повторения в истории не обязательны, но и не исключены. Нет такой «правильной» теории, которая бы подсказала безопасный вариант поведения перед лицом всеобщей смертельной опасности.

Энтузиазм Щаранского (и, возможно, до какой-то степени Буша) подсказывает Западу более активную позицию, позволявшую вмешательство в дела мусульманского мира до того, как обнаружится, что уже поздно.

Это не значит, конечно, что такая позиция гарантирует скорую победу рациональной цивилизации, но она, по крайней мере, позволяет некоторый осторожный оптимизм при взгляде в будущее.

В любом случае одинокий голос Щаранского прорвал непроходимую дымовую завесу, которой окружила взаимоотношения народов, принятая западным эстаблишментом, политическая корректность, позволил всем участникам событий назвать вещи своими именами и вдохнуть свежий воздух реальной дискуссии.

«ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС»

Одна из самых обсуждаемых тем в Израиле — столкновение религиозного и светского мировоззрений. К сожалению, реальное содержание конфликта в израильской прессе искажено острыми политическими интересами сторон, которые предпочитают игнорировать логику оппонента, вместо того чтобы постараться понять и, хотя бы частично, принять ее. Однако понять, и даже отчасти принять, придется обеим сторонам.

Что бы мы ни думали о «правильном» устройстве общества, оно должно учитывать интересы всех своих членов. Никакое правительство Израиля никогда не сможет управлять, если не примет во внимание интересы непрерывно растущей религиозной части населения. В какой именно мере эти интересы будут совместимы с мировой экономикой, военной безопасностью и политическим существованием в нашем регионе может определиться только будущим компромиссом, содержание которого трудно предвидеть. Наше соучастие в этом компромиссе неизбежно и поэтому необходимо, чтобы наше понимание опережало наши решения.

В конфликт, собственно, вступают не столько светская и религиозная части большого общества, сколько те

представители той или другой стороны, которые хотят добиться целенаправленных изменений *статус кво* в свою пользу. В *кнессете* из 120 депутатов не больше 25 принадлежат к различным религиозным партиям, претендующим на влияние в обществе. Однако и в *кнессете* (и соответственно, в обществе) людей, считающих себя религиозными, гораздо больше. Они участвуют практически во всех партиях. Большинство из них не считают, что их духовная жизнь требует какой-либо политической поддержки. Также и интересы больших партий в Израиле весьма далеки от религии и они не ставят своей целью с нею бороться. Более того, ни одно правительство в Израиле не набирает такого большинства в *кнессете*, которое позволило бы ему продержаться без поддержки хотя бы части религиозных депутатов. Открыто антирелигиозную позицию провозглашают только крайние активисты левых партий. Борьба и с той, и с другой стороны подогревается, конечно, надеждой увеличить свой электорат и поэтому всегда включает значительную долю демагогии.

Еврейская религиозная жизнь вместе с семейным правом и общепринятыми обрядами сложилась слишком давно, чтобы образование государства могло заметным образом на нее повлиять. Хотя еврейский народ один из самых древних в современном мире, еврейское государство — одно из самых молодых. К тому же это государство с самого начала провозгласило такие либеральные принципы, что всякое принуждение с его стороны по отношению к любому, тем более к еврейскому, религиозному меньшинству было совершенно исключено.

В результате при образовании государства был установлен «исторический компромисс», по которому частная жизнь граждан Израиля регулируется в какой-то степени (в основном, браки и похороны) религиозными установлениями соответствующих общин: евреев — еврейскими, христиан — христианскими и мусульман — мусульманскими. Это ставит израильскую жизнь ближе к американской модели, построенной на религиозно-общинном принципе, чем к европейской, основанной на приоритете светских властей и государства.

50 лет назад светское большинство было настолько уверено в своей силе, а еврейский религиозный истеблишмент настолько подавлен Катастрофой в Европе, что обе стороны сравнительно легко пошли навстречу друг другу, закрепив этот компромисс в нескольких основных законах, имеющих в Израиле силу конституционных. К тому же светское большинство в соответствии с господствующими в то время взглядами было уверено, что роль религии и численность религиозных групп будет со временем только уменьшаться, а привлекательность свободного образа жизни и научного мировоззрения увеличиваться, так что никакой опасности столкновения не предвиделось и в будущем.

История XX века опрокинула все либеральные ожидания. После всех освободительных революций, включая даже сексуальную, человечество во всем мире потянулось не к свободе и науке, а к религиям (а кое-где и к политическому деспотизму), причем, зачастую в их наименее совместимой со свободой и наукой, фундаменталистской форме. Как будто люди в этом веке поклялись опровергнуть все представления гуманистов о своей природе.

Возникновение еврейского государства 50 лет назад дало многим ультрарелигиозным евреям возможность жить в сочувственном окружении, не испытывая опасного давления иноверческого населения. Однако за 50 лет религиозное меньшинство в Израиле выросло в десятки раз, а сочувствие у многих окружающих сменилось безусловным недоброжелательством. Многие ультраортодоксы за это время научились задействовать в свою пользу механизмы демократического общества для получения льгот и преимуществ для себя, а также введения различных ограничений и запретов для всех остальных.

Тот факт, что автобусы в большей части страны не ходят по субботам, возможно, имел первоначально воспитательное значение напоминать светским евреям о существовании заповедей, но фактически со временем наполнил их только неутраченным раздражени-

ем. В Бней-Браке, сплошь заселенном ортодоксами, средств, собираемых от налогов, не хватает даже на содержание муниципалитета, и он существует на правительственные субсидии. Хотя отсутствие в стране института гражданского брака не очень стесняет влюбленных и совсем не стесняет произведенных, так или иначе, детей, оно висит неутрачивающим упреком религиозному истеблишменту в течение всех 50-ти лет государства. При образовании государства несколько сотен учеников иешив по соглашению с правительством и при молчаливом одобрении общества были освобождены от военной службы. Но сегодня это число перевалило за 30 000 человек, а об общественном одобрении уже не может быть и речи. В израильском обществе сформировался обширный круг, воспринимающий эти льготы и ограничения как «религиозное засилье».

Большинство населения совершенно не сознает своего собственного соучастия в создании этой конфликтной ситуации. Например, автобусы в Тель-Авиве по субботам не ходят не только потому, что религия это запрещает, а скорее потому что компания-кооператив «Эгед», монополизировавшая автобусное движение в стране, не хочет лишиться правительственной субсидии. Входящие в коалицию (все 50 лет!) религиозные партии вполне логично не считают себя вправе финансировать систематическое нарушение субботы. Несколько раз на моей памяти предприимчивые граждане пытались начать возить людей по субботам. Эти попытки были пресечены отнюдь не правительством, а шоферами «Эгеда», которые перекрывали дороги и избивали конкурентов при полном бессилии полиции и безучастности граждан. Также и введение гражданского брака не противоречит иудейской религии (ибо иудейский брак и есть гражданская церемония, а не религиозное таинство), но составляет значительный источник доходов религиозного истеблишмента, на который члены кнессета не решаются покуситься.

Чтобы в чем-нибудь нарушить «исторический компромисс», необходимо собрать две трети голосов в кнессете (80 депутатов).

Такого единодушия не было в нашем кнессете с 1948 года ни по какому вопросу. Можно ли винить в этом религиозных?

Жизнь в еврейском государстве произвела также поразительный переворот в психологии самих ультраортодоксов. Многим из нас казалось, что отвращение к насилию и вмешательству во внутреннюю жизнь других людей мы унаследовали от наших предков, живших традиционной еврейской жизнью. Невозможно себе представить наших дедов и бабок, бросающими камни в проезжающие автомобили, тем более в субботу! Еще труднее представить их участвующими в драках с полицией в любой стране исхода — будь то в России или в США. Однако жизни двух поколений во всепрощающем еврейском государстве оказалось довольно, чтобы вырастить популяцию молодых людей, вообразивших, что драка с полицией в субботу, если она проходит под «правильным» лозунгом, может рассматриваться как акт благочестия. Вспоминая дедов, мы не могли бы заподозрить, что они способны участвовать в погроме. Но кое-кто из молодежи, воспитывавшейся в религиозных кварталах, оказался способен и на это.

Значит ли это, что новое поколение религиозных евреев более предано заповедям, чем были наши предки? Или они, напротив, готовы пренебречь некоторыми другими заповедями ради своих групповых интересов?

Светское большинство, спустя 50 лет после образования Израиля, также оказалось гораздо дальше от еврейской традиции, чем отходили от нее светские евреи прошлых поколений. Вместо былых всепонимания и сочувствия еврейские интеллектуалы все чаще стали проявлять жесткость и заикленность. Особенно по отношению к ортодоксальным иудеям, пунктуально соблюдающим заповеди. (Впрочем, и та, и другая стороны особенно требовательны именно к евреям. В этом видится все же некое сознание единства, внушающее надежду.) К членам христианских, бахайских и йогических сект их отношение гораздо более мягкое.

Отход ли от еврейской традиции всему виной, или светский человек понемногу дичает от всепроникающей конкурентной борьбы, которая не дает ни на секунду расслабиться?

Неправильно, конечно, представлять даже ультраортодоксальных евреев как единую массу. Половина из них служит в армии, работает и платит налоги. Но, однако, существование второй половины, живущей скорее в искусственно поддерживаемом, чем в реальном мире, отравляет сознание светской части общества ядом сомнения в осмысленности их собственной трудовой и военной доблести. В демократическом обществе, где все пользуются равными правами, люди невольно ожидают и равного распределения обязанностей.

В течение многих веков еврейская община составляла нечто вроде закрытой автономии внутри враждебных ей авторитарных государств. Парадокс состоит в том, что и внутри дружественного, еврейского государства такая автономия не сможет рассматриваться, как дружественная, до тех пор пока внутри нее не установится такой же антиавторитарный дух и порядок, как и во всей стране. Естественно, что лидеры ультрарелигиозных общин всячески тормозят такое развитие, стремясь увековечить существующий, привычный им, порядок вещей. Такие трудности в далеком прошлом переживали и христианские государства, в которых религиозный истеблишмент был достаточно силен и автономен. Следы этого прошлого заметны и сейчас во всех христианских странах. Различие состоит в том, что иудаизм в гораздо большей степени является образом жизни, чем верой, и стать полностью частным делом не может.

Религия всегда привлекает простые сердца своей последовательностью и красотой и дает осмысленную форму ежедневной жизни людей. Религиозное мировоззрение, будучи основано на авторитете и ориентировано на идеальные объекты, в сущности, непроверяемо. Никакой жизненный опыт не может опровергнуть веками устоявшиеся принципы, которые потому и устоялись, что

помогли народу выстоять во враждебном окружении в потоке жизни. Теперь те же принципы действуют против нейтрального или даже дружелюбного окружения.

Между тем, любой принцип, основанный на гуманизме, вынужден апеллировать к такому несовершенному объекту, как реальный человек или общество, и следовательно не может быть ни последовательным, ни совершенным. Он, таким образом, оказывается и недоказуем. Мировоззрение, которое ориентируется на опытную реальность всегда должно быть готово к пересмотру своих принципов и к догматическим уступкам.

Люди науки, к какой бы конфессии они ни принадлежали, всегда знали, что возможности рационального познания ограничены. Они легко мирились с тем, что не на любой вопрос может быть дан однозначный ответ и не все проблемы (особенно человеческие проблемы) могут быть разрешены рациональным путем. И Исаак Ньютон и Блез Паскаль, и другие основатели современного научного знания, отлично сознавали, что от понимания законов тяготения и гидростатики их понимание человеческой жизни не усовершенствуется. Однако, вдохновляющие успехи науки и народное просвещение в Европе XIX в. внушили обывателю необоснованные иллюзии и привели к тому, что для слишком многих научное мировоззрение превратилось в своеобразную религиозную доктрину, диктовавшую рациональный подход ко всем явлениям. И этот рациональный подход обнаружил свою полную неадекватность в отношении парадоксального феномена человека.

Как только гуманистическая идея приобретает догматически-религиозные черты, она с очевидностью обнаруживает свою несостоятельность. Это особенно ярко проявилось в грандиозном крушении социализма, но имеет более широкое значение и захватывает все рационалистические идеологии, возникшие на рубеже XIX–XX веков. На очереди стоит сионизм и, т. о., косвенно, судьба еврейского государства.

В роли Священного Писания гуманизм не конкурентоспособен. Он может существовать как рискованная гипотеза, дающая простор творческой активности лишь при условии постоянной готовности к изменениям в первоначальных посылах. Такая готовность означает уровень агностицизма, который по плечу далеко не всем, кто отказался от религии. Большинство хочет получить взамен твердое, непротиворечивое мировоззрение, которое однозначно отвечало бы на все вопросы бытия. Религиозную интуицию, рождающуюся в науке, Б. Паскаль называл «Богом философов и ученых». Но Богу философов не удастся стать Б-гом молитвы. Религия не может быть ни преодолена, ни заменена агностицизмом.

Религию может заменить только религия. Гуманизм призван не заместить религию, а всего лишь приспособить ее к современной жизни. (Кстати, именно на такой основе он и возник в Европе XIV в.) Многим представляется, что судьба гуманизма в нашем обществе определяется борьбой между светскими сторонниками гуманизма и религиозными фанатиками. На самом деле эта судьба решается в борьбе течений внутри религии. Задача интеллигенции в этом конфликте вовсе не отмежеваться от религиозной традиции (это только поставило бы ее в положение вне игры), а найти внутри традиции фундаментальные опоры для своего гуманизма.

Если под словом «существование» подразумевать наличие координаты и фиксированного времени, то собственно еврейское определение Бога отрицает Его существование.

У Рамбама это выглядит как категорическое утверждение.

Любопытно, что Фома Аквинский по существу с ним согласился, т. е. в этом коренном пункте между иудаизмом и христианством в формулировках их наиболее авторитетных философов нет противоречия. Различия возникли по ходу истории, как последовательная адаптация к среде.

Но, если принять само существование Б-га за основу, отсутствие координатной и временной определенности (т. е. характерис-

тик материального существования) оказывается всего лишь прямым следствием соотношения неопределенности. Тогда **существование** — загадочный ответ из горящего куста на вопрос Моисея: «Я есмь Сущий!», т. е. **длящийся, присутствующий**, — и фиксированные зримые признаки оказываются сопряженными — в этом, по-видимому, и состоит истинный смысл апофатического богословия. При точно определенном «интервале» (координате в пространственно-временном континууме) само существование становится психологически иллюзорным — ибо оно ни на миг не останавливается, как и само время («текущий поток» Гераклита).

Причина европейской секуляризации состоит не просто в просвещении, а в специфической склонности «просвещенного» (т. е. детерминистского) ума избегать парадоксов. Как интеллектуальная гигиена это последовательно. Как основа мировоззрения это — слишком ограниченная точка зрения.

Философы Просвещения, поскольку их мировоззренческая основа была некантовой, не могли принять ускользающий смысл «существования» в движении. Б-г, как воплощенный парадокс, деятелям Просвещения был не столько враждебен, сколько интеллектуально нежелателен. Идея Просвещения не допускала никаких неопределенностей. Как выразился о Боге Лаплас: «В этой гипотезе я не нуждался». Собственно, это не означало, что он отрицал Его существование. Он всего только придерживался, обычного для науки, принципа минимизации предположений (гипотез).

Между тем поэтическая интуиция легко схватывает этот парадокс с помощью небольшого филологического трюка-метафоры, который не вызывает логического отторжения:

*«Вещь не существует — веществует,
Существует только существо...»*

(Ан. Добрович, «22», № 133)

Из этой невинной тавтологии следует — не больше, не меньше — динамический (или «живой») характер божества, который в языке уже был заложен изначально.

Принцип неопределенности, проведенный последовательно в отношении традиционных интеллектуальных конструкций, мог бы отчасти освободить от парадоксов, к которым приводит проект Просвещения. Он был введен в науку благодаря квантовой механике, но, в сущности, мог бы быть сформулирован еще Зеноном (и даже Гераклитом) на основании профанных наблюдений. Это парадокс, заключенный в природе познания, ибо фиксирующее познание всегда дополнительно по отношению к потоку существования — жизни — движению («текущий поток» *Гераклита*).

«Антиномии, которые мышление находит в переживании времени, возникают из непроницаемости последнего для познания. ... Настоящего никогда нет... на самом деле, это протекание; нигде ни в малейшей части не будет никакого «есть»... Мы не можем постигнуть сущность самой жизни.» (*В. Дильтей*)

Широкий спектр иудаизма оставляет место агностическому сомнению, которое является необходимым условием творческого мышления. Однако, религиозный фундаменталист, стремясь заставить людей всемерно исполнить писанное Слово, часто забывает о главной заповеди — свободе воли. К сожалению XX век показал нам, что и гуманисты могут быть фанатиками. И в погоне за победой своих преходящих идей они вполне способны забыть о непреходящей потребности человека — жажде Абсолютного.

НЕОЖИДАННОСТЬ, КОТОРУЮ СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ

Весь июнь 2000 г. за ланчем мы сидели втроем: Ханан — израильтянин из Техниона, я — бывший москвич из Тель-Авива и Джон — профессор университета в Сиэттле, пригласившего нас обоих на несколько месяцев для совместной работы.

Ханан кипятился по поводу переговоров в Кэмп-Дэвиде и пугал Джона приближающейся войной. Джон, как всякий американский еврей, при всем сочувствии Израилю упивался надеждами на мирное урегулирование. Американцу трудно поверить, что компромисс порой может быть опаснее, чем конфронтация. Это противоречит его мировоззрению. Идеальный американец живет утопией, основанной на идее об общественном договоре. Нарушение договоров он воспринимает не как злонамеренное желание использовать против него сам принцип, а как неизбежное отклонение человеческих существ от чаемого совершенства.

Я пытался подсластить Джону горькие пилюли, на которые был так щедр Ханан. Но это давалось мне с трудом.

Во-первых, потому что я и сам чувствовал себя израильтянином. Во-вторых, мое жестокое российское прошлое подсказывало мне то же самое, что Ханану — его израильское. Ханан в молодости служил в разведке и составлял себе представление о намерениях противника не по газетам:

«Чем больше уступает Барак, тем труднее положение Арафата. Поэтому он формулирует свои требования в расчете на их невыполнимость. Ведь после подписания мирного соглашения он останется один на один с голодным народом, которому ему нечего предложить. Его планы и амбиции не имеют никакого отношения к благосостоянию этих людей. Сейчас он — одна из самых влиятельных фигур в мировой политике, соучастник планирования будущих судеб арабского мира, человек, способный сконцентрировать на себе внимание миллиарда мусульман и, может быть, направить его в новое русло. Ширак и Клинтон пытаются его задобрить (за наш счет) и даже готовы на финансовые жертвы в надежде, что, став главой своего государства, он мигом потеряет все это влияние и превратится в ординарного иждивенца европейских наций. Но он не собирается так продешевить. Как личность он неизмеримо крупнее своих партнеров по переговорам».

Бедный Джон никак не мог это переварить. Его демократическое сознание не вмещало такого цинизма. То, что говорил Ханан, так не вязалось со всей мировой прессой!

«— Не могут же все лгать.

— Лгать, может быть, слишком сильное выражение, но потакать обывательским взглядам большинство журналистов весьма склонны.

— Но разве мир не лучше войны?

— Смотря для кого. Для нас, конечно, лучше, если это действительно мир, то есть если он обязывает обе стороны. Но если для Арафата и его окружения это всего лишь промежуточная фаза в многолетней войне против нас, нам нужно осознать это и реаги-

ровать соответственно. Зачем нам обманывать свой народ и мировое общественное мнение, называя наши уступки мирным процессом, а рейды террористов случайными эксцессами? Арафат сумел собрать вокруг себя тысячи людей, для которых война — это профессия, и мир для них — конец их привилегий. Они могут согласиться на него только в очень крайнем случае. Может быть, они и согласились бы получить взамен что-нибудь действительно впечатляющее, но, во всяком случае, не государственную независимость карликового государства, которая будет означать всего лишь перманентную нищету. Это верно, что такую войну нельзя выиграть одними военными средствами. Но прекратить ее одними уступками тем более невероятно!

— Но если наступит мир, палестинцы опять смогут найти работу в Израиле и проблема их благосостояния будет решена. Постепенно они научатся основам демократической жизни и смогут жить, как все богатые, цивилизованные народы.

— А тогда зачем им нужно палестинское государство? Работать на израильтян можно и без государства. Суть дела в том, что пока они научатся основам демократической жизни, пройдет два или три поколения. А их вожди и военная верхушка хотят уже сегодня жить, как в богатых странах, и с помощью войны это им удастся. Они, впрочем, не прочь использовать и гуманитарную помощь, которую посылают на всех. Пока они не научились демократической жизни, это даже не кажется им преступлением.

— Но все-таки должен же Арафат считаться с интересами своего народа! Десятки тысяч палестинцев работали в Израиле или привозили продукцию своих огородов и садов, а военные действия приводят к их обнищанию.

— Зато тысячам других палестинцев — молодых и амбициозных — война дает смысл и средства существования. Арафат живет в мире большой политики, лавирует между американским президентом и саудовским королем, никому не дает отчета в своих делах

и финансах и не собирается заниматься обеспечением пропитания для палестинских работяг. Но у него хватает средств для содержания палестинских головорезов, которых он называет полицией. Если бы Арафат подписал мирный договор с Израилем, ему пришлось бы заняться бюджетом своего государства, найти новые источники существования для своего неквалифицированного населения и придумать новые причины для жалкого положения своей страны. В мирном сосуществовании с Израилем его население неконкурентоспособно, а военное счастье, как известно, переменчиво. К тому же вечная демократическая грызня в Израиле поддерживает у арабов иллюзию, что они не сегодня-завтра, вот-вот победят...

— Но зачем тогда Арафат пошел на соглашение в Осло?

— Во-первых, у него просто не было выхода. Он лишился поддержки СССР и стремительно падал в финансовую пропасть. Ни одно арабское правительство не радовало перспектива держать у себя его боевиков. Израильское правительство предложило ему отдать часть территорий и содержать этих бандитов в качестве полиции будущей автономии в обмен на мир. Он быстро понял, что слово «территории» содержит нечто конкретное, а в слово «мир» разные люди вкладывают разный смысл. (К тому же в арабском языке есть два разных слова, обозначающих мир, — «салям», означающее окончательный мир — спокойствие — и «сульх», означающее перемирие, временное прекращение военных действий, перерыв. Во-вторых, за эти реальные уступки от него требовалось очень немногое, всего лишь символические действия — формальная отмена Палестинской хартии, включавшей требование уничтожения Израиля, и обещание воздерживаться от террора. Такие действия, в сущности, не ограничивают палестинское руководство (не больше, чем другие арабские правительства), которое хорошо научилось водить за нос европейское общественное мнение. В своей же среде у них не было и нет необходимости стесняться. Вот, напри-

мер, высказывание одного из главных соратников Арафата, Набиля Шаата (1996 г.): «Пока израильтяне движутся в нужном нам направлении, мы готовы с ними сотрудничать. Но в ту секунду, когда они скажут, что запас уступок исчерпан, мы возьмемся за оружие. Разница только в том, что тогда у нас будет 30 тысяч обученных и вооруженных бойцов в освобожденных районах». Примерно то же говорил много раз и Арафат, хотя в более осторожной форме. Барак резко приблизил столкновение с Арафатом, попытавшись перескочить к постоянному урегулированию, поскольку Арафат предпочитал схему сменяющих друг друга промежуточных соглашений, в рамках которых израильтяне уступают ему свою территорию, а он празднует якобы свою очередную победу.

— Почему же тогда израильское руководство пошло на это соглашение?

— Потому что в Израиле, как и во всякой другой демократической стране, есть большая часть населения, которая верит, что уступки агрессору предотвратят войну. Потому что мирная жизнь в этой стране так привлекательна, что провоцирует забыть о далеких опасностях, которые произойдут (а вдруг не произойдут?) от сокращения территорий и приближения границ. Потому что и Гитлер в свое время, не стесняясь, говорил, чего он хочет, а демократические лидеры упорно внушали своим народам, что все это пустые слова, а на самом деле с ним можно договориться. Потому что и в странах диаспоры половина евреев и сейчас верит, что если они будут хорошо себя вести, антисемитизм сам собой исчезнет. Способность человека верить в то, что его успокаивает, облегчает жизнь. Оптимисты живут дольше...

— Какое же решение вы предлагаете?

— Мы, физики, хорошо знаем, что не все задачи имеют решение. Конфликт отцов и детей неразрешим. Сытый голодного не понимает. Демократии поражены коррупцией... Тем не менее жизнь продолжается. И в тех же демократиях даже происходит некото-

рый прогресс. Уровень безопасности израильского гражданина сейчас среди самых высоких в мире. Он не повысится оттого, что Арафат подпишет с нами еще одно соглашение. Наша безопасность определяется не его намерениями, а нашей способностью себя защитить. И так будет еще десятки лет, пока мы, как и весь западный мир, подвергаемся агрессии со стороны бедных и неустроенных народов, которые не знают других способов улучшения своей жизни, кроме войны. Очень глупо облегчать им эту агрессию, вместо того чтобы наглядно продемонстрировать им гибельность этого пути. В будущем, возможно, произойдут изменения, которые смягчат эту конфронтацию.

— Каков же ваш сценарий будущего развития?

— Арафат будет ужесточать свои требования в расчете поднять уровень конфликта. Его задача — создать впечатление, что проблема носит глобальный характер. Все мусульмане должны быть заинтересованы в палестинском вопросе — и для этого ему нужна Аль-Акса. Он всячески постарается и христиан впутать в свои дела. Только палестинцы — истинные хозяева — могут обеспечить надежную сохранность святых мест всех религий (кроме, конечно, еврейской, которая известна своими заблуждениями). Чем больше уступит Барак, тем больше Арафат будет подчеркивать недостаточность уступок и, в конце концов, он будет якобы вынужден к военному конфликту. Он, конечно, не сможет победить, но его политическое значение во всем мире и, особенно, роль защитника всех верующих от безбожных сионистов значительно вырастет. Международная общественность уберезет его от окончательной гибели, а по ходу дела погибнет еще и несколько сотен самых темпераментных палестинцев, которые могли бы составить угрозу его диктатуре. То, что ему было обещано в ходе переговоров, уже как бы само собой рано или поздно приплывет ему в руки, по мере того как весь мир и евреи будут привыкать к этим требованиям.»

По дороге в лабораторию Джон с кроткой улыбкой осуждал буйную политическую фантазию Ханана, а я с ужасом думал: «А что будет, если Арафат все-таки согласится на мирное соглашение? Ведь тогда они начнут стрелять в нас и подкладывать бомбы уже не из Газы, а прямо из Иерусалима...»

Прошло три месяца. Мы с Хананом вернулись соучаствовать в его сценарии. Джон остался мучиться своими сомнениями в Сиэттле. Мир удивлялся или негодовал. В Европе спалили несколько синагог. Отчасти это было сюрпризом. Но не исключено, что тамошние евреи просто недостаточно хорошо себя вели?

Знакомая канадская киножурналистка рассказала моей жене, что примерно тогда же, когда мы с Джоном спорили в Сиэттле, она снимала свой репортаж в Газе и общалась с местными интеллектуалами. Все они в один голос уверяли ее, что из этих переговоров ничего не выйдет, но так же единогласно уклонялись от съемок. Таким образом сказать, будто никто не мог предвидеть того, что случилось, нельзя. По обе стороны линии фронта были люди, которые знали, что вскоре произойдет. Вопрос, почему это оказалось сюрпризом для мирового общественного мнения? Разве то, что всегда было известно нам с Хананом (а также жителям Газы), не могло стать известным всем?

Вопрос этот не так прост. И он не исчерпывается обвинением тележурналистов в необъективности. Трудность, которая равно не дается большинству журналистов и читателей, состоит в том, чтобы представить себе иную, чуждую культуру и соответствующую ей психологию. Одни и те же поступки в разных культурах оцениваются по-разному.

Читая «Илиаду» Гомера, человек, принадлежащий иудео-христианской цивилизации, сочувствует побежденному Гектору, храбро и самоотверженно защищавшему свою родину. А текст древнего автора воспеваает славу агрессору — жестокому убийце Ахиллесу, чья храбрость не подверглась испытанию, поскольку его тело

было неязвимо, и он знал это. Норвежский парламент присудил премию миротворцам Рабину, Пересу и Арафату за их готовность заключить соглашение, а десятки миллионов мусульман (и с ними Владимир Жириновский) рукоплещут Саддаму Хусейну за его неуступчивость американскому империализму. Родители убитых палестинцами израильских солдат едут на встречу с Арафатом, умоляя его остановить кровопролитие, а семилетняя палестинская девочка в ответ на вопрос журналиста, чего она хочет в новом году, наивно отвечает: «Чтобы убили всех евреев». Эта разница культурных стереотипов не определяется государственными границами. В той же самой стране одни люди проклинают С. Милошевича за то, что он навлек беду и позор на Югославию, а другие смотрят на него как на бесстрашного рыцаря славянской чести.

Арафат сложился в совершенно чуждой нам культуре, однако вынужден был жить и действовать в постоянном контакте с европейцами. Он в совершенстве овладел европейскими клише, но совершенно не поддался европейскому влиянию. Подобно Фиделю Кастро, он оказался гораздо более жизнеспособным последователем советской политической культуры, чем сам СССР. Отличие и удача его движения в сравнении с европейскими террористами, поддержанными Москвой, например, бандой Баадер-Майнхоф, состояло в том, что европейцы действовали как бы против своей собственной гуманно-христианской традиции, а Арафат действовал в мусульманской среде, находясь с ней в естественном согласии. Если вопрос о соотношении цели и средств несколько отягощал совесть европейцев, в случае Арафата средства были совершенно адекватны его цели и находились в согласии с народной мечтой о конечной победе над неверными. Европейцы как бы жертвовали собой, шли против европейских юридических норм, брали грех на душу «ради великой цели», а члены ФАТХа, напротив, выполняли почетный долг всякого правоверного и пользовались открытым одобрением своих родных и религиозных авторитетов.

Глубокомысленный советник израильского премьер-министра Гилад Шер сказал: «Все мы стоим перед загадкой, имя которой — Арафат... Он должен выбрать для себя определенную роль: политика или мечтателя-революционера, жаждущего остаться в истории таким Саладином (Салах ад-Дин — полководец, разгромивший крестоносцев в Палестине). Выбрав роль исламского воителя, он удовлетворит экстремистов, но не сможет обеспечить конкретные нужды своего народа».

Жаль, что израильцы не во всех подробностях знают российскую историю. Высказывание Шера по своей наивности идентично словам члена Временного правительства (кажется, Чхеидзе), сказавшего в 1917 в присутствии Ленина, что «нет такой партии в России, которая могла бы единолично взять и удержать власть». Большевики долго потом смеялись над его простотой (пока впоследствии их самих не начала расстреливать собственная партия, единолично взявшая и явно планировавшая удержать власть).

У Арафата есть и более близкие примеры для подражания, чем Саладин и Тамерлан. Он, конечно, лучше Шера знает, кого ему надо удовлетворить в первую очередь и как. Его герои — Саддам Хусейн и Муамар Каддафи, которые не очень-то церемонятся со своими молчаливыми народами. Судьба не дала ему нефти, но и с помощью всего лишь бедного рассеянного палестинского народа он сумел сколотить личный счет, превышающий десять миллиардов долларов, и армию наемников. Он любезно согласился принять Нобелевскую премию мира, но, конечно, и не подумал прекратить жуткую антиизраильскую пропаганду на предоставленной ему территории. Все беды, которые теперь посещают палестинцев, начиная от пищевых отравлений после еды немывтыми руками и вплоть до СПИДа, подхваченного в европейских притонах, идут от происков сионизма. В школе их дети изучают тысячелетнюю историю доблестного палестинского народа, которого невесть откуда взявшиеся коварные сионисты обманом лишили Родины.

По ходу военных столкновений регулярно появляются невинные дети (см. выше), убиенные израильскими извергами. Стрельба по евреям производится не просто из безопасных убежищ, а из монастырей и христианских домов в расчете на израильскую реакцию, которая вызовет ожидаемый конфликт и с христианами. Арафат смело требует передать ему также и христианские святыни... Реакция христиан проявляется в повальном бегстве из палестинской автономии. Вифлеем перестает быть христианским городом. Европа негодует. Мирный процесс идет.

Пишут ли об этом в газетах? Показывают ли по телевизору? Итальянский корреспондент, заснявший на пленку зверское убийство двух израильских резервистов в Рамалле, еле унес ноги от справедливого гнева палестинского народа. Кадры эти были показаны в Европе и в Америке. Изменило ли это что-нибудь?

«Ах, как это ужасно! Вы должны скорей договориться, чтобы этого больше не было».

Подскажите, с кем договориться.

ПРОРОКИ И ПРАВЕДНИКИ

Увоенный нами, бывшими советскими людьми, еще в средней школе примитивный марксизм сыграл некую положительную роль в нашем мировоззрении. Нас не пугают слова, что «государство есть орган насилия» и нас не шокирует любимая цитата Остапа Бендера из «Золотого теленка»: «Большинство крупных состояний в современном мире нажито нечестным путем.» Если не превращать эти относительные истины в непререкаемые догмы или, наоборот, в протестные лозунги, в общем можно примириться с жизнью, какова она есть в ее обыденном течении.

Но есть на свете чистые души, не задетые жизненным опытом, которые не смиряются с такой низкой прозой. И требуют невозможного от государства и уж совсем невероятного от банкиров и подрядчиков. Какое-то количество таких людей обязательно присутствовало во всех западных правозащитных организациях еще со времен Холодной войны, сообщая им оттенок политического бескорыстия, пока этот оттенок не выветрился окончательно в наше суматошное время. Многие прекрасные души украшали также и хорошо мне знакомые российские диссидентские кружки 60-х гг.

Пожалуй, тот парадоксальный факт, что никто из этих кружков так и не вошел в демократический истеблишмент сразу после Перестройки, показывает, что чрезмерная чистота помыслов несовместима ни с каким реальным жизненным успехом. Для прочного жизнеустроения необходим корневой личный интерес, хотя и не обязательно материальный.

Такой интерес, конечно, присутствовал в сионистском движении, которое ставило себе целью вырваться из СССР и состояло отнюдь не из праведников, озабоченных только юридической справедливостью своих требований.

Такой интерес несомненно присутствовал и у ранних кибуцников и первых индустриализаторов в Израиле. Никто из них не был праведником или юридическим казуистом. Они строили это государство для себя. И для своих детей и внуков. Хорошо понимая это, они по ходу дела иногда сознательно пренебрегали собственной добродетелью.

Но уже в поколениях их детей и, особенно внуков, беспечная жизнь под защитой закона и, созданной усилиями нещепетильных дедов, израильской армии, сформировала заметный процент крайне бескорыстных идеалистов, готовых (по крайней мере, на словах) пострадать, но не отступить от принципов, каким добросовестно учили их не столько добродетельные, сколько доброжелательные родители, воспитанные в жестоких странах и в жестких обстоятельствах. Спустя десятилетия эти люди иногда приходят в ужас, узнавая ненароком, что родители поступали не всегда безупречно.

Израильская культурная элита как-то до сих пор затрудняется открыто признать, что своим основанием наше государство (впрочем, подобно всем иным государствам) было обязано отнюдь не всемирно известному письму лорда Бальфура и не компромиссному решению ООН, заведомо составленному так, чтобы из него ничего не могло получиться, а твердой решимости тысяч озверев-

ших от безнадежности евреев победить или умереть в Войне за независимость.

Если при этом в ходе военных действий какое-то число враждебного населения было в сердцах убито и разорено, то поражаться следует вовсе не самому этому факту, а скорее тому, что таких жертв оказалось все-таки сравнительно мало.

Израильской элите никуда не деться от фундаментального знания, что их отцы и деды захватили эту землю силой, что бы кто ни говорил, и с тех пор десятки лет удерживают ее силой.

У гуманитарной (особенно, художественной) элиты присутствует тщетная надежда перескочить этот некомфортный моральный барьер на пути к своей, впрочем невиданной в истории, праведности.

Хотя это выглядит, как совершенно детское заблуждение, в склонности израильской культурной элиты к комплексу вины различимы свои чисто еврейские корни. Израиль имеет специфическое наследие почти трехтысячелетней давности, которое в какой-то степени может оправдать нестандартное с обычной точки зрения самочувствие интеллектуалов.

Наши древние пророки, горько упрекая свой народ в неблагочестии, утверждали, что предстоящие Израилю военные поражения в жестоких войнах с Ассирией (а потом и с Вавилоном) будут посланы ему за его грехи: «За то, что они оставили закон Мой ... и не слушали гласа Моего, и не поступали по нему; ... вот, Я накормлю их... полынью, и напою их водою с желчью. И рассею их между народами, и пошлю вслед им меч...»

Хотя в наше цинично скептическое время кажется, что были для этих поражений и более обыденные причины, древние пророки смотрели чрезвычайно, даже может быть чрезмерно, глубоко:

«Походите по улицам Иерусалима, посмотрите, разведайте, поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истину? ... Дома их полны обмана; через это они и возвысились, и разбогатели. Сделались тучны, пересту-

пили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. ... Как лук, напрягают язык свой для лжи... Всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорит...»

Такое мерзкое общество, конечно, недостойно любви Всевышнего и не заслуживает Его милосердия. Поэтому пророк находится в безысходном отчаянии:

«...Сердце мое рвется во мне, все кости мои содрогаются, стал я подобен пьяному... Как родник истекает водою, так Иерусалим источает зло свое: в нем только и слышно, что насилие и грабёж. ..Этот город должен быть наказан: весь он полон насилия... Страна полна прелюбодеев, скорбит страна из-за ложной клятвы, засохли пастбища в пустыне; все стремление их — зло и сила их в неправде.»

(Иер. 15, 2, 6; 23, 9, 10, 11)

— Действительно, похоже, что нравственный прогресс в подлунном мире сильно отстал от технического. Потому что и сегодня эти разоблачения не лишены оснований. Человечество, хотя уже очень далеко ушло от лука и стрел, еще и теперь не пришло к верности и прямоте. — «Неужели Я не накажу их за это? Говорит Господь. ...

Вот Я приведу на тебя, дом Израилев, народ издалека, народ сильный, которого языка ты не понимаешь... Колчан его как мотыга разверстая... И поест он жатву твою и хлеб твой, съест он сыновей твоих и дочерей твоих, съест овец твоих, объест он виноградник твой и смоковницу твою; опустошит мечем укрепленные города твои, на которые ты надеешься...».

(Иер. 5, 15, 16, 17)

Может быть, все это и было именно так. Пророков жгли несправедливость, неверность и неравенство, царившие в обществе,

и, особенно, идолопоклонство людей избранного народа. — «Вы оставили Меня и служили чужим богам...»

И снова: «..Производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте...»

Пророки решительно предпочитали гибель и поражение Израиля безответственной жизни в пучине греха. «Если спросят тебя (т. е. Иеремию, прим. А. В.): «куда нам идти?», то скажи им: так говорит Господь: кто обречен на смерть, иди на смерть; и кто под меч — под меч; и кто на голод — на голод; и кто в плен — в плен.... Устал Я миловать...» — Ну, кому такой призыв придаст силы устоять против агрессора?

Неистовый Иеремия заходил в своем пораженчестве так далеко, что открыто требовал прекратить всякое сопротивление завоевателю. Царю Седекии (Цидкиягу) нехотя пришлось посадить его в яму, чтобы предотвратить разлагающее влияние его пропаганды на народ и армию. Эрнест Ренан, описывая это древнее противостояние в Израиле, замечает:

«...Военное мужество, которое так блестяще проявляли израильские цари, потеряло свою цену. Праведники и герои становятся двумя враждующими лагерями на арене человеческого прогресса и редко вступают в мирное сожительство.»

Особенно резко Иеремия возражал против заигрывания Седекии с Египтом, как единственным тогда потенциальным союзником против восточной супердержавы. «Египет, — говорил еще раньше другой пророк — как трость надломленная. Тому, кто обопрется о нее, она войдет (т. е. вонзится, прим. А. В.) в руку.» Таким образом и в те, уже далекие, времена пророки не одобряли иллюзорные надежды на Запад перед лицом сокрушительного враждебного натиска Восточных деспотий.

Вряд ли грехи Израиля тогда заметно превосходили общечеловеческие грехи смежных народов, но пророки требовали от

своего народа неизмеримо больше, чем от других. И считали военные поражения заслуженным наказанием «за слезы вдов и сирот», проливаемые от притеснений «сильными в Израиле». Впрочем, по нравам того времени «вдовам и сиротам» грозили от врага те же «меч и глад», смерть и неволя, что и всем остальным. По-видимому ничто тогда не могло спасти еврейское государство.

Призывы пророков не спасли Израиль две с половиной тысячи лет назад, но заметно продвинули моральное состояние всего цивилизованного человечества за это время, так что сегодня в большей части мира эти обличения уже не всегда и не полностью актуальны. И современный Израиль за 65 лет, прошедшие после провозглашения его независимости, уверенно присоединился к этой преуспевшей части человечества; быть может, не в последнюю очередь именно потому, что считался с заповедями пророков в гораздо большей мере, чем окружавшие его общества. Значит ли это, что бывшие проклятия пророков сегодня уже теряют свою силу?

Простой еврейский народ в массе, к сожалению, и тогда, и сейчас, был не слишком внимателен к речам пророков. Другое дело — современные интеллектуалы, оттачивавшие на риторике пророков свой стиль в высоком иврите и красующиеся своим гуманизмом. «Вдовы и сироты» (т. е. имущественное неравенство) и «пришельцы» (т. е. палестинцы, иностранные рабочие и инфильтранты из Африки) превратились в главные темы, на которых ивритские журналисты, театральные режиссеры и кинопродюсеры упражняются в своей праведности. Отличие всей этой линии от былой позиции пророков состоит в том, что пророки за свои нелицеприятные пророчества сидели в яме, а порой даже лишались головы, а израильские писатели и художники уже много лет получают за это государственные субсидии и международные призы.

Однако, правда состоит в том, что вопрос о праведности, как и две с половиной тысячи лет назад, начинает волновать простой народ только после решения всех остальных вопросов. Можно, конечно, осуждать такую простоту. Но, если хотеть быть ближе к реальности, наивно ожидать от народа беженцев и диссидентов самоотверженности, превосходящей все международные нормы.

Ситуация возникновения, становления, и укрепления государства, в начальной фазе которой мы сейчас находимся, психологически и социально соответствует совсем не временам Иеремии, когда Израиль (т. е. тогда Иудея, *прим. А. В.*) был уже на закате своего более чем 400-летнего существования и успел изрядно нагрешить, а ранней поре завоевания Ханаана, когда евреи были еще буйной конфедерацией племен («В те дни не было царя у Израиля: каждый делал то, что ему казалось справедливым.» Книга Судей, 21,25) и не ведали ни греха, ни праведности. И сейчас ведь, как и тогда, нет у нас еще морального единства в Израиле, как нет и согласованности (т. е. «царя» — *прим. А. В.*) в деятельности разных государственных институций. Речи пророков не потеряли своей моральной силы, но они утратили большую часть своей применимости к сегодняшней обстановке.

Однако, именно пророки особенно популярны в среде христиан, привыкших восхвалять (но отнюдь не всегда практиковать!) уступчивость и кротость. С годами оказалось, что наиболее сочувственную аудиторию израильские интеллектуалы обрели не в своей стране среди соотечественников, а в Европе, среди потомков многолетних гонителей своего народа. Сомнительность такой позиции отнимает у них ту моральную высоту, которую могло бы дать им следование еврейским пророкам, тем более, что такое, слишком буквальное следование, ведет к дезориентации народа и, в конечном счете, к национальной аннигиляции.

Спору нет, и морально, и материально еврейскому народу было бы лучше жить в признанных границах и опираться на твердые международные соглашения, гарантирующие его безопасность. Но судьба в XX в. распорядилась иначе. И я боюсь, что при сложившейся международной атмосфере ожидать таких соглашений нам предстоит еще много лет.

Поверхностное и необъективное освещение событий в СМИ (не без участия тех же интеллектуалов, упивающихся своим пророческим пафосом) привело к тому, что любой обыватель в любой стране считает себя сейчас вправе уверенно судить об Израиле и его политике.

Заветы наших пророков, конечно, отчасти изменили мир (большую его часть), но до праведности ему все еще бесконечно далеко. Сентиментальные проповеди о «вдове, сироте и пришельце» все теперь любят приговаривать как заклинание, но в Торе им предшествуют гораздо более фундаментальные указания, которые равно игнорируются и нашими морально озабоченными знатоками Библии, и, особенно мировым общественным мнением (включая большинство делегатов ООН):

«Не разноси ложного слуха; не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем о неправде. Не следуй за большинством на зло и не отзывайся в тяжбе, кривя судом, лишь бы клониться к большинству. И нищему не потворствуй в тяжбе его.»

(Исх. 23, 1, 2, 3)

Эти основополагающие принципы, на которых покоится вообще всякое представление о праве, были сформулированы еще до того, как еврейский народ вплотную столкнулся с линчующими толпами, еще задолго до «кровавых наветов», до дела Дрейфуса, до

доклада Голдстоуна и до бесчисленных, единогласно осуждающих Израиль, резолюций ООН.

К сожалению, израильская гуманитарная интеллигенция не воспользовалась своим превосходящим знанием Священного Писания, чтобы вразумить всемирных гуманистов, ищущих, где и как им применить свою доброту и склонность к милосердию. Если бы израильская техническая интеллигенция, вопреки былым увещеваниям пророков, не преуспела в технологическом развитии и, в частности, в военной технике, которая сдерживает наших темпераментных соседей, вряд ли нашим прекрасным душам еще долго удалось бы удивлять мир своим самоотверженным гуманизмом.

АРАБСКАЯ ВЕСНА И ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Все, кто кончал среднюю школу в России, говорят, что прочли «Войну и мир» от корки до корки. Но я хорошо помню, как мои сверстники, несмотря на единодушные комплименты взрослых художественным достоинствам толстовской прозы, пропускали десятки страниц пейзажных «описаний», следя только за фабулой. Тем с большей уверенностью я подозреваю, что и взрослые даже не коснулись последних ста страниц толстовской эпопеи, посвященных почти исключительно рассуждениям о человеческом поведении и движущих силах истории.

Перечитав эти сто невыносимо тягучих страниц в солидном возрасте, я уже не мог восхищаться толстовским стилем, но был безусловно поражен и покорен его интуицией ученого. Вот, что написал Л. Толстой в «Войне и мире», предваряя на сорок лет работы классика современной социологии Макса Вебера: «Отступая от понятия о причине, математика отыскивает закон, т. е. свойства, общие всем неизвестным бесконечно малым элементам... Если история имеет предметом изучение движения народов..,

а не описание эпизодов из жизни людей, она должна, отстранив понятие причин, **отыскивать законы, общие всем** равным и неразрывно связанным между собою бесконечно малым элементам свободы.»

Он, таким образом, как и Макс Вебер пытался понять общество как результат статистики многочисленных элементарных личных поступков, диктуемых индивидуальной волей. Толстой ясно видел стохастическую (случайно-статистическую) природу народных движений, приводящую иногда к поражающе парадоксальным результатам социальных пертурбаций, будь то Февральская революция в России или «Арабская весна».

Между двумя этими совершенно разными явлениями существует непредусмотренная аналогия. И в том, и в другом случае, европо-ориентированная инициативная группа, начинавшая революцию, была совершенно не в силах контролировать (и даже рационально оценить) освобожденную в результате грандиозную народную стихию, руководствовавшейся в этом катаклизме своими архаическими стереотипами, а не исходными мотивами инициаторов движений. По-видимому глубинная основа этой неожиданной аналогии кроется в том глубоком культурном разрыве, который существует в отсталых странах между более или менее европеизированной элитой, в какой-то степени следующей велениям времени, и остальной массой населения. Даже большевистская партия, не говоря о либералах, вряд ли планировала повальный грабег квартир и вакханалию бессмысленных убийств в Петербурге, но, возможно, без этого она бы лишилась значительной части народной поддержки на своих решающих первых шагах и потеряла бы свой вдохновляющий боевой ореол. Также и без систематических изнасилований на площади Тахрир и зверского убийства Каддафи «арабская весна», наверное, потеряла бы свой своеобразный всенародный характер.

Деспотические арабские режимы, как и царское правительство в России, для нужд управления своими многомиллионными

народами вынуждены были произвести многотысячный класс чиновников, конторщиков, кассиров, техников, программистов, телеграфистов, для которых начатки европейского образования стали производственной необходимостью. Это образование оторвало их от народной массы, но не приблизило к европейскому благосостоянию. К тому же их престиж в традиционно-сословном обществе не соответствовал их самооценке. Именно эта часть населения страдала от неравенства и коррупции. Именно из них (если не считать армейских офицеров) вербуются диссиденты и революционеры. Но именно они также становятся жертвой народной стихии после победы. Их поверхностная европейская культура отстывает перед вековыми народными привычками. Их неспособность к организации делает их бессильными перед сплоченным натиском фанатиков. Фанатизм большевиков, сравнимый с фанатизмом «Союза русского Народа», дал им решающую победу в пору всеобщей растерянности.

Для европейского сознания на первое место в событиях «арабской весны» выступает Ислам, но на самом деле не нужно слишком углубляться в Коран, чтобы увидеть насколько реальная ситуация независима от фундаментальных вопросов. Мусульманские толпы, громящие христианские церкви в Каире, так же невежественны в Исламе, как их невинные жертвы в Христианстве. Их представления об евреях и Израиле тоже происходят не из Корана и не имеют ничего общего с фактами.

Толстому его научная пронизательность не помогла понять ход событий в России. Говоря о «свойствах, общих всем неизвестным бесконечно малым элементам...», он склонен был приписывать всем этим элементам свои свойства («ведь все люди равны, разве нет?»). И в этом святом убеждении пребывал заодно со всей современной ему «прогрессивной» русской интеллигенцией. Его «народный» герой Платон Каратаев, порожденный его собственным вооб-

ражением толстоцев, так и не сыграл никакой положительной роли в российской истории. То, что получилось в результате революции, возникло скорее из Московского царства XVII в., а не из Ясной Поляны, не из Петербурга и даже не из ленинских теорий.

Я не думаю, что Толстой заблуждался. Я думаю, что он хотел, чтобы это было правдой, во что бы то ни стало и вопреки всякой реальности. Такова психология сильного идеолога. Таково условие возникновения нового идейного течения. Таковы были исходные данные для русской революции. И потому Толстой стал всего лишь ее невольным «зеркалом». Воспользовался ими другой, более решительный, более адекватный вождь. Марксистская теория, как и всякая другая, сыграла тут весьма незначительную роль. Совсем не обязательно адекватно понимать мир, чтобы «перевернуть» его. Это стало одним из уроков российской революции. Тем более это становится верным для «арабской весны».

Говоря о статистике «бесконечно малых элементов», Толстой допускал их взаимодействие и взаимовлияние в пределах возможностей своего века. Как писал Маяковский: «Единица — вздор, единица — ноль, голос единицы тоньше писка. Кто его услышит? — Разве жена — и то, если не на базаре, а близко.» Действительно, ближайшее окружение человека включает, если не исключительно его семью, то еще 5–15 человек, которых может непосредственно задеть его поступок.

Однако современная технология меняет дело.

В частности, пулемет Калашникова и динамит дали возможность норвежцу Брейвику в сугубо демократической стране единолично убить около 80 не причастных людей (подростков), чтобы убедительно подтвердить свою политическую позицию. Таким образом круг прямого влияния (власти) одного человека в наше время заметно (на порядок) расширился.

Еще больше расширилась сфера косвенного воздействия современного человека. Теперь единица, снабженная интернетом, смарт-

фоном, facebook-ом может охватить необозримо широкий круг и вовлечь в сферу своего воздействия тысячи людей и одновременно в нескольких странах (т. е. на два-три порядка больше).

Можно ли при таком могуществе отдельного гражданина по-прежнему считать его «бесконечно малым элементом»? Остается ли верным представление о хаотически независимом характере процессов в системе таких «элементов»?

Мы уже привыкли, что, так называемый, «свободный рынок» на наших глазах стал объектом недобросовестной манипуляции коммерческих структур. Теперь под ударом находится «свободный рынок» идей, мнений и сведений.

В XXI в. возможности отдельного человека неожиданно грандиозно выросли и оказались слишком велики для его все еще ограниченного, едва ли не детского, сознания. Идеи, рассматривавшиеся выдающимися мыслителями-гуманистами XIX в., как желательные для просвещенных народов, в XXI-м веке начали массово осуществляться политиками-популистами среднего уровня для народов, едва задетых просвещением. Да и два века просвещения в Европе, как ни странно, почти не продвинули массовое сознание до уровня разветвленного мышления, оставив его незащищенным от демагогического воздействия.

Когда одинокий мыслитель требует чего-то якобы важного «для всех», («права знать», «права решать», «равенства прав» и т. д.) он, конечно, имеет в виду прежде всего себя и свой уровень осведомленности, а не семь миллиардов остальных жителей земного шара. Однако мы живем в мире вместе и одновременно с этими миллиардами, и их непредсказуемые порывы (а также ужасающие пустоты в культуре) невозможно игнорировать.

Современный гражданин, снабженный интернетом, iphon-ом, facebook-ом (но не снабженный ни сведениями о принципах, на которых основаны эти устройства, ни добросовестным стремлением

к общему согласию) оказался способен произвести «палаточный протест», «захват Уолл-стрита» и «арабскую весну».

Молодым темпераментным людям честолюбие подсказывает прежде всего, что «протест — это наиболее высокая и наиболее перспективная самоорганизация человечества» (*Гейдар Джемаль* — российский философ-исламист, один из идеологов «евразийского движения»). Действительно, на протест способны все. И одновременно возглавить протестное возмущение тоже способны многие. Но на реальную работу (даже, если это террор) способны только организации.

Технология дает в руки людей средства для создания организаций, но не дает организационных способностей. Создавать, возглавлять организации и проявлять инициативу способны только редкие, волевые и дальновидные люди, природные лидеры. К сожалению, вовсе не всегда благомыслящие...

Во времена Л. Толстого в российском обществе всерьез обсуждался вопрос, кто движет историю, отдельные герои или народные массы. Толстой, конечно, был за массы. И, глядя на стотысячные демонстрации на площади Тахрир, хотелось бы с ним согласиться. Но, если вспомнить о начальных шагах этой революции через кружки оппозиционеров, собранные face-book, можно изменить точку зрения.

Если окажется, что современная история, в прямом противоречии с идеями Толстого, целиком зависит от личностей, на языке социологии это будет означать, что она непредсказуема, и течение событий определяется случаем.

Демократия во всех странах всегда находилась между Сциллой популистской диктатуры и Харибдой анархии. Анархия побеждает и расчищает дорогу деспотизму. Этот парадокс был хорошо известен еще древним грекам.

Манихейская позиция — представление мира в черно-белых тонах, будучи совершенно чуждой нашей цивилизации философ-

ски, оказывается единственно доступной широким массам всех вероисповеданий и потому всегда политически действенной. Попытки западных правительств вести какую-то сбалансированную глобальную политику каждый раз наталкиваются на организованное честолюбивыми, волевыми интересантами сопротивление безответственных толп, не понимающих, и не принимающих, творческой роли компромисса в жизни обществ. Оптимисты могут воспринимать это сопротивление как всего лишь природную инерцию всякой косной материи, сопротивляющейся принятию упорядоченной формы. Как сказал еще в XVIII в. Иммануил Кант: «Человек — кривое бревно, из которого нельзя выкроить ничего прямого».

Но не менее убедительно выглядит и противоположное: рано или поздно развивающаяся информационная и военная технология снабдит современных Геростратов достаточными средствами, чтобы окончательно задавить всякую статистику и погасить все надежды глобалистов на продолжительное будущее свободного мира.

В физике известно, что при увеличении плотности частиц в пространстве их поведение перестает быть **свободным** и в некоторой критической точке становится согласованным, коллективным. В терминах социологии такое состояние называется **толпой**, и законы поведения толпы отличаются от поведения индивидов. Для возникновения толпы не обязательна физическая скученность, достаточно создать информационную перенасыщенность в головах людей. Большой специалист этого дела, рейхсминистр Геббельс говорил, что важно много раз повторять одно и то же, и это воздействует на массу безотказно. Facebook дает возможность группе людей сбиться в толпу, даже не видя друг друга. Стоит такой группе сложиться, и голос возражения (т. е. попросту здравого смысла) уже не проникнет сквозь невидимую стену воздвигнутую единодушием толпы вокруг ее коллективного предубеждения.

Отдельный человек, таким образом, уже перестает быть «элементом свободы» и значимой единицей в статистике.

НУЛЕВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Однажды в своей полемике с экуменической позицией либерального российского культуролога Григория Померанца еврейскому ортодоксу Эдуарду Бор-машенко пришлось сформулировать («22», № 103) фундаментальное (не путать с фундаменталистским!) требование к любому содержательному диалогу, которое выглядит особенно убедительно для математиков:

«Когда два математика произносят два одинаковых утверждения, они имеют в виду одно и то же». Это следовало бы назвать **нулевой аксиомой математики**, ибо только после принятия такого предположения (а это именно предположение!) приобретают смысл все остальные определения и аксиомы математики (вроде того, что «прямая линия — кратчайшее расстояние между точками» и т. п.).

Уж если проблема неадекватного понимания дает о себе знать в математике, она тем более присутствует во всех остальных человеческих коммуникациях. Особенно, если иметь в виду коммуникации между представителями разных цивилизаций. Вообще говоря, два человека, говорящие одно и то же на одном языке, должны быть предварительно уверены, что они в самом деле стремятся к согласию. Ибо, если цель одного из них — уничтожить другого, этому другому лучше прекратить разговор и подумать о спасении.

Для разных народов, тем более для разных культур, стратегическая оценка возможных намерений оппонента просто входит в обязанность правительств. Язык переговоров может вести людей к согласию, только если обеспечено предварительное согласие в нулевой аксиоме.

Никакого общего языка, тем более общего принципа, между либеральным Западом и его радикальными противниками в сегодняшнем мире никогда не было. На какой же основе вести переговоры? Что выбрать за нулевую аксиому?

В Библии, пожалуй, есть такие слова, которые, кажется, могли бы составить общую основу для соглашений людей — нулевую заповедь:

«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, благословение и проклятие... Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое...»

(Втор. 30, 19.)

Действительно, мир Библии асимметричен. Жизнь лучше смерти. Свет лучше тьмы. Мир неживой природы не знает этих оценок. Библия взывает к предсознанию. Сама эта концептуальная двойственность отражает нашу страстную заинтересованность в одной из сторон. Мы знаем только жизнь. А смерть для нас остается предметом пугающих спекуляций. Даже не минусом, а сплошным вопросительным знаком...

Предпочтение жизни для всех жизнелюбивых народов еще недавно казалось чуть ли не само собой разумеющимся.

Инстинктивная тяга биологического организма к жизни предшествует разуму и может составить базовую (неосознаваемую) основу нашей веры и в превосходство упорядоченности над хаосом, разумного договора над вечной и всесторонней враждой слепых сил.

Чем упорядоченность лучше? Ощущение превосходства упорядоченности (понижения энтропии) укоренено в нашей физиоло-

гии, как условие выживания. Наше сознание невольно детерминировано нашими глубинными интересами.

Библейская жизнеутверждающая асимметрия небезразлична к благосостоянию обществ. Время у пост-библейских народов однозначно течет от прошлого к будущему. Оно движется от создания мира (когда «Земля была безвидна и пуста...» *Быт. 1, 2*) к его последовательному усложнению и предполагаемому (желаемому!) усовершенствованию («И увидел Бог, что это хорошо» *Быт. 1, 10*). И это направление многозначительно для нас совпадает с направлением времени в каждой индивидуальной жизни.

Совпадение это невозможно переоценить. Именно оно порождает концепцию Истории и Прогресса. Оно порождает иллюзию Цели и Смысла. Совпадение это заложено в самом основании Западной цивилизации и сообщает также и Исламу его наступательный характер. Оно придает неосознанной природной активности человека онтологически положительную оценку и благословляет его на дальнейшие свершения.

«Выбери жизнь!»

Такое требование, пожалуй, предшествует всем остальным, и может быть названо **нулевой заповедью**. Такую заповедь имеет смысл держать в уме впереди всех остальных при любых условиях.

Однако библейская жизнеутверждающая асимметрия, превращаясь в господствующее мировоззрение, породила и свою внутреннюю оппозицию. Существование в видимом мире контрастов и различий, света и тени, богатства и нищеты соблазняет изощренный человеческий разум к мысли о возможном противостоянии, вражде между ними («классовой борьбе»). Иногда даже в форме непримиримой космической битвы между Добром и Злом.

Влияние такой, в основе негативистской, протестной мысли, впервые укрепившейся в древнем Иране благодаря зороастризму, проникло в виде ересей во все варианты монотеистической религии еще в античные времена (ессы в иудаизме, множество сект гности-

ков, манихеев, катаров в христианстве и исмаилитов в исламе) и иногда направляло мысли людей и судьбы народов в течение веков.

Во всех послеплблейских религиях сложились с тех пор, так называемые «гностические», диссидентские ереси и толки, склонявшие своих последователей переменить направление асимметрии на противоположное и представлять торжество жизни на Земле как победу зла, небытие как более высокое состояние и материю как грязь, засоряющую сияющую пустоту. Это неизменно приводило к мрачным, мироотрицающим идеям и даже к культуре смерти и несуществования. Для членов такой секты предпочтительность жизни не очевидна, и упомянутый выше общий принцип не мог бы привести к согласию.

Секта ессеев была, по-видимому, истреблена римлянами еще в первом веке н. э. во время Иудейской Войны, и с тех пор, как структура, не возникала.

Христианство на Ближнем Востоке и в Европе систематически боролось с этими ересями, сначала словом и просвещением, а позднее, огнем и мечом. Против альбигойцев (катаров), населявших в XIII в. Прованс и Лангедок, римский папа даже организовал Крестовый поход. Когда благочестивые рыцари, встретившись с сопротивлением местного населения, обратились к духовному авторитету с вопросом, как отличить еретика от правоверного католика, ответ звучал исчерпывающе: «Убивайте всех. На том свете Господь распознает своих.» Война продолжалась 30 лет. Целые области Франции были опустошены...

Поэтому в христианской культуре почти не осталось наследников гностических учений.

Иначе обстояло дело в Исламе. Возникновение и распространение Ислама совпало с возникновением и расширением мусульманского государства, и вопрос о вере всегда переплетался у них с вопросом о власти. Три из первых четырех («праведных») халифов

были убиты на почве якобы религиозных разногласий. Убийство халифа Али (из рода пророка Мохаммеда) узурпатором Муавией (из рода Омейя) послужило причиной первого, фундаментального раскола Ислама на две ветви — шиитов («отщепившихся» сторонников Али) и суннитов — ортодоксов.

Прецедент несправедливого отстранения от власти халифа — всемирного главы верующих — впоследствии повторялся много раз, и едва ли не каждый раз это приводило к образованию новой секты последователей «замученного праведника». Члены отделившейся секты затем развивали Ислам, как им казалось, в духе заветов Пророка, но уже с поправками, внесенными их временем и обстановкой.

В одной из больших шиитских гностических сект-«исмаилитов» — к концу IX в. оформилось сильное радикальное крыло, впоследствии печально прославившееся в Европе под именем «асасинов» (гашишников). Тайное, мистическое учение сектантов позволяло им не только накуриваться гашишем до бесчувственного состояния, но и аллегорически толковать Коран, включая истовую веру в переселение душ и презрение к наличной, материальной жизни, вплоть до прямой тяги к смерти. Посланцы секты — асасины — не боясь смерти, проникали повсюду и демонстративно открыто убивали врагов секты, нисколько не заботясь о собственной судьбе.

В конце XI в. асасины овладели несколькими крепостями в Иране и Сирии и образовали централизованную структуру (орден — государство в государстве), оказавшуюся способной более 150 лет противопоставлять себя всему окружающему миру. Их мощь основывалась не столько на их военной силе, сколько на систематической практике политических убийств. Множество вождей крестоносцев, сельджукских сановников и египетских мамелюков погибло от рук бестрепетных асасинов-смертников, посланных Горным Старцем из Аламута (так назывались глава секты и их крепость в северо-западном Иране близ Каспийского моря).

Правление Старцев, наводившее ужас на все соседние страны, было прервано только нашествием монголов, которые, будучи еще варварами-язычниками, не вникая в вероисповедные тонкости мусульман, сравнивали с землей Аламут и перебили все его население (т. е. они поступили, как крестоносцы во Франции поступали с катарами). Мамелюки воспользовались замешательством и сделали то же самое с опорными пунктами секты в Сирии.

Ассасины, как единая политическая сила, рассеялись, но не исчезли. Они навсегда остались в памяти народов, как устрашающий прецедент. Во всех европейских языках слово «ассасин» с тех пор означает «убийца». Хотя с точки зрения ортодоксального Ислама, все они были несомненные еретики, их былая пугающая слава способна и сейчас подавать вдохновляющий пример мусульманским экстремистам.

Поскольку гностические секты (и катары в Европе, и исмаилиты в Азии) веками подвергались гонениям, в их среде выработались привычные способы маскировки под ортодоксию, которые получили арабское название **«такыйя»** — мысленная оговорка. Член такой секты может (и часто даже должен) скрывать свою религиозную принадлежность к секте и расхождение с общепринятой догматикой, внешне выполняя все правила общины, в которой он живет. При такой тактике поведения никто не может знать наверняка, сколько из членов общины правоверных принадлежат к этой секте.

Более того, уровень знания своей истории и первоисточников у народных масс сегодня таков, что отличить ересь от ортодоксии в своей собственной вере они могут не более, чем могли крестоносные рыцари в Европе XIII в.

Представители крайних мусульманских организаций уже не раз открыто заявляли, что **«Западный мир обречен, потому что они слишком любят жизнь, а мы любим смерть»**. Не скрывается ли за идеологией шахидов, которая в столь короткое время распространилась по всему мусульманскому миру, несмот-

ря на очевидное противоречие с Кораном, влияние тайной секты, сильной своей древней верой и хранящей опыт тотальной войны против всего мира?

Это совсем не согласуется с буквой Корана, который в этом пункте не отличается от Библии, но это означает, что они успешно освоили новый вид оружия и застали Западное общество врасплах на полдороге к торжеству пацифизма.

Введение в практику боя самоуправляемого, само-маскирующегося и самокорректирующегося снаряда с неограниченным радиусом действия, которым становится снаряженный и обученный шахид, меняет все сегодняшние тактические правила войны на земле, на море и в воздухе, и отчасти уравнивает шансы.

В западном мире нанесение ущерба противнику всегда сопоставлялось с риском возможных потерь для себя. И предполагаемые действия противника до сих пор оценивались по той же рациональной схеме. Современное оборонительное оружие было рассчитано на врага, которому есть, что терять, и он не ищет гибели. При тактической игре в поддавки упрощенная партизанская доктрина самоубийственных террористических атак оказывается конкурентноспособной с суперсложными системами, призванными обеспечить безопасность западного человека. Это нововведение меняет понятие о войне...

Изменение понятия о войне меняет и понятие о мире. Точнее, меняет наше представление о возможности заключения мира.

Принимая общебиблейский принцип — «Избери жизнь!» — мы все еще остаемся на одной почве с противником. И мы можем с ним не соглашаться, но можем и уступить, допустив существование у нас общих интересов и, возможно, даже общего будущего.

Отвергая этот общий принцип, противник не оставляет нам выбора. Западный человек под страхом смерти оказывается вынужден принять тотальный способ ведения войны варваров-монголов (или варваров-крестоносцев), от которого он уже давно, в принципе, отказался.

Внутри западного либерального общества принять решение о тотальной войне почти столь же трудно, как и принять решение о тотальной капитуляции, и наши постоянные уступки террористическому противнику всегда рассчитаны лишь на оттягивание решающей конфронтации.

Внутри мусульманских обществ любая уступка агрессивной еретической идеологии означает замедление в их общественном развитии, которое и так слишком медленно, чтобы предотвратить их неуклонное сползание в нищету.

Террор мусульманских, хотя бы и еретических, квазимусульманских, экстремистов-фанатиков не может остановиться. Он психологически необходим всему мусульманскому сообществу в целом, как открыто не признаваемое ободрение, как скрытая моральная компенсация за их историческое отставание. Как допинг отстающему спортсмену. Как лекарство от многолетнего комплекса неполноценности...

21-й век начался разливом показного либерализма и попытками установить глобальный мировой порядок на договорной основе, но, похоже, это будет век несравнимо более жестокий, чем два предыдущие. На Земле уже живет 7 млрд-дов человек. Восьмому миллиарду непросто уместиться на той же планете без борьбы. Этому, еще не рожденному, миллиарду нечего терять. Если он не примет **нулевую заповедь**, его вряд ли удастся удержать в уважении к правам первых семи миллиардов. Тогда война за воду и хлеб, нефть и территории, за право дышать и занимать место будет, возможно, более длительной и более беспощадной, чем были две войны, названные европейцами Мировыми. Теперь **это может быть война за жизнь на Земле.**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ

(Речь на собрании Национальной АН Израиля, посвященном присуждению А.Д. Сахарову Нобелевской премии Мира в 1976.)

Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы А. Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально произошло, только как человек, то есть если бы он не был ученым? Я думаю, что — нет. И этот мой ответ характеризует не столько Андрея Сахарова, сколько мир, в котором мы живем. Но основывается он на моем личном впечатлении о Сахарове как человеке.

Если бы А. Сахаров был политиком, он, я думаю, не выдержал бы конкуренции других, более бойких кандидатов на первых же этапах своей карьеры. Он не смог бы упрощать свою мысль для того, чтобы получить кратковременный успех, а тогда он не пробился бы до того уровня, на котором можно думать об успехе серьезном. Хотя политическая жизнь в СССР совершенно отличается от жизни в демократических странах, сказанное равно относится и к демократическим странам тоже. А. Сахарова не выбрали бы даже членом муниципалитета, потому что он бы слишком глубоко задумывался, прежде чем что-нибудь сказать, а ни у кого в этом мире нет терпения выслушивать.

Если бы Сахаров был писателем, он не имел бы успеха, потому что он не смог бы указать правых и заклеить виновных, как делают писатели гражданские, и не оказался бы достаточно артистичен, как писатель лирический. У него не достало бы эгоизма привлечь весь мир в свидетели своих душевных неурядиц и не хватило бы одержимости говорить миру, который не желает слушать.

Если бы Сахаров был школьным учителем, на которого он похож своей добротой и манерой поведения, — стал ли бы мир к нему прислушиваться? И, когда бы его выгнали с работы или посадили в лагерь за те же самые протестные действия, максимум, на что он мог бы рассчитывать, — это подписи нескольких добросердечных интеллектуалов под письмом в его защиту, направленным в советское посольство. А потом — на тихую жизнь, заполненную скромным физическим трудом либо в ссылке в Сибири, либо в эмиграции, в Миннеаполисе...

Однако и, если бы он был просто ученым или даже великим ученым, ситуация бы не слишком изменилась. То есть, конечно, ученые прислушивались бы к его словам, и на международных конференциях, посвященных, в остальном, физике и строению мира, раздавались бы слова о научной свободе, о необходимости прислушиваться к ученым и т. д. (Только ученые в нашем мире знают, что необходимо прислушиваться к ученым. Все остальные знают только, что с учеными надо как-то поладить, то есть в конечном счете от них — и от их предложений — отделаться.) Поэтому и в этом случае слова Сахарова дальше ограниченного круга беспокойных профессоров (в большинстве евреев) не пошли бы. А он не стал бы предпринимать усилий, чтобы попасть в газеты, выступить по радио, встретиться с сенаторами и конгрессменами...

А. Сахаров — не просто ученый. Будучи человеком очень скромным, он как-то сказал мне: «Ну, какой я ученый? Я ведь, в сущности, изобретатель». Он несомненно преувеличивал в своей скромности, но, как всякий великий человек, очень точно видел

суть проблемы. Суть проблемы в том, что миру не нужны ученые и сильные мира сего не ценят мудрецов. Сахаров есть Сахаров и для советских властей, и для западных обывателей не потому, что он ученый, а потому, что он — изобретатель. И изобрел он — ни много ни мало — водородную бомбу, от которой весь этот мир может взлететь на воздух.

Особенностью сегодняшней техники является необходимость быть ученым, чтобы изобрести что-нибудь значительное. Но это не меняет того основного факта, что мир интересуется вещами, а не идеями, явлениями, а не сущностью...

Собственно, если бы А. Сахаров не стал ученым, он вообще не смог бы сложиться как личность и не приобрел бы своего влияния. Только в науке пока еще не много значит большинство голосов (даже в искусстве — это не так), и только в науке основательность и глубина весят больше быстроты и практичности.

Медлительный, вдумывающийся в каждое слово, Андрей Дмитриевич, как бы прислушивающийся к неясно различимому голосу в себе и явно допускающий практические ошибки, мог бы быть принят только в обществе, где нет окончательных истин и где даже самый опрометчивый может оказаться прав...

Таким обществом сейчас (во всяком случае, в Советском Союзе) является только общество ученых, и Сахаров является одним из лучших представителей такого типа. Но в прошлом такая атмосфера царил не среди ученых, а среди религиозных мыслителей, философов, отшельников, пророков. Мудрость Талмуда связана с таким относительным агностицизмом, и Евангелия характеризуются такой особой неуверенностью в фундаментальных вопросах, которая покоряет в Сахарове. Весы совести все время колеблются, и номинальный вес гирь сплошь и рядом не соответствует фактическому (а иногда и меняется со временем). Это происходит на твоих глазах, и ты смотришь и вдруг угадываешь: «Святой!» — Пожалуй, даже более определенно — христианский

святой, подвижник, — хоть сейчас в мученики. Его суждения поражают своим фундаментальным бескорыстием. Как, если бы он был представителем иного, идеального мира, посетившим нас для напоминания о чем-то забытом. Может быть о том, что и в наше время совершаются чудеса.

Да! Не забудем, что главная функция всякого порядочного святого — умение творить чудеса...

Скажем прямо: мир интересуется учеными только потому, что ожидает от них чудес. Все великие изобретения, которые так изменили лицо мира за последние десятки лет, воспринимаются обывателем и его государственным представительством как чудеса, которые способны творить одни личности и не способны другие. Популяризация науки и всеобщее образование нисколько не сглаживают разрыв между «учеными» и обыкновенными людьми, хотя эти люди могут быть не менее учеными и квалифицированными в своих областях. И вот — то самое, что неоднократно было им говорено и отброшено, слышат они от человека, творящего чудеса, и в душу закрадывается страх...

Разве слушал фараон Моисея? Но Моисей сотворил чудеса... Фараон задумался. Разве нужны были чудеса, чтобы понять, что говорил ему Моисей? «Мы пришли сюда свободными людьми, а теперь мы — рабы», «Отпусти народ мой» и пр. Но вот понадобились чудеса, и десять казней египетских, и огненный столп: и евреи свободны. И что же? Слушали ли они сами Моисея? — Нет! И опять в ход пошли чудеса...

Огненные столбы и атомные грибы вырастают, чтобы подтвердить простую мысль-заповедь: «Не убий!» Таких положительных чудес, как манна с неба или пенициллин, оказывается недостаточно для усвоения этой мысли. Эти чудеса скорее балуют людей, учат не собирать в житницы и надеяться на авось.

Чтобы удержат их от массового взаимного убийства, нужно что-то пострашней, и вот оказалось недостаточно даже динамита

и Первой мировой войны. Была и Вторая, и атомная бомба. И теперь — водородная...

Справедливо, что премию Нобеля, изобретателя динамита, присуждают Сахарову, изобретателю водородной бомбы, за стремление к миру, за его мужественную борьбу в пользу прав Человека. Если человечество погибнет, оно погибнет не от водородной бомбы и не от динамита. Оно погибнет от собственного неразумия. Динамит сам по себе никого еще не убил. Обязательно была рука, которая этот динамит зажгла и бросила.

Впрочем, часто тот, кто бросал первым, получал преимущество и, может быть, уходил от возмездия.

Но чудеса Божьи совершенствуются, как люди. Тот, кто бросит бомбу теперь, не уйдет от возмездия. Народ, который замышляет убить другой народ, теперь смертельно рискует и подвергает риску весь мир вокруг.

Это страшно. Но я думаю, что это хорошо. Как и раньше, найдутся безответственные смельчаки. Но теперь, не как раньше, всем будет на это наплевать. Найдутся и те, кто удержит преступную руку. Не из благородства, к сожалению, а ради собственной безопасности. И это хорошо...

Таким образом, А. Сахаров (как и его американский коллега Э. Теллер) не несет вины за создание смертоносного оружия, а участвует как изобретатель в создании технического чуда, которое должно вразумить народы и направить их энергию на более осмысленные цели, чем смертоубийство.

Андрей Сахаров первый выступил с предупреждениями перед советскими вождями. Что значит выступить перед такими людьми с такими предостережениями, может себе представить, не выросший в СССР человек, только если он твердо помнит, что пророк Исайя был, по приказу царя, перепилен деревянной пилой. И все же, оставаясь на современной почве, скажем просто, что он выполнил свой долг ученого. Ибо, оценив все последствия своего

изобретения, он уже перестал быть просто изобретателем и стал Ученым.

Наконец, идя дальше по этому пути, взяв ближе к сердцу людские заботы, Андрей Дмитриевич связал вопрос о Правах Человека с вопросом о Мире, и эта постановка вопроса все еще нова. Почти никто на Западе еще не понял, что война, которую советские власти ведут со своим народом, не может не коснуться и их. Запад еще не понял, что мирной может быть только страна, внутри которой царит мир, и отсутствие этого покоя в СССР есть смертельная опасность для всех.

Вопрос о Правах Человека не есть большой вопрос только для СССР. Больше 70% Объединенных Наций пренебрегают правами человека, и это значит, что опасность грозит миру со всех сторон. Большинство человечества не просто нарушает права отдельных лиц и групп. Большинство человечества вообще не знает, что именно оно нарушает, и что Господь сообщил евреям на горе Синай. Поэтому у большинства нет даже общей почвы для переговоров. А. Сахаров пророчески указал на это всему цивилизованному миру и тем самым стал великим Человеком.

P. S.
(1993)

В публичной речи (даже и в Израиле), невозможно передать то особенное личное чувство, которое вызывал к себе этот человек. Его странная шишковатая голова, его странная немногословная, запинаящаяся манера речи, его странная привычка макать в чай сыр со своего бутерброда остаются деталями картины, которая скрыта от стороннего слушателя. Даже та легкость отношений, которая позволяла за чаепитием попросту спросить его: «Андрей Дмитриевич, что вы делаете? Это же сыр!», и его спокойное объяснение, что он любит все есть в подогретом виде, каким-то образом входит в картину неповторимого обаяния его личности, которую полностью передать невозможно.

Еврейское движение в СССР и, в частности я лично, многим обязаны ему и Елене Георгиевне Боннер, принимавшим горячее участие в бесчисленных освобождениях меня из-под арестов, где я, вероятно, застрял бы на многие годы, если бы не их постоянная поддержка.

Андрей Дмитриевич чувствовал, как дышал, что невозможно добиться свободы для себя, не дав свободы другому. Он ощущал, что только Россия, из которой можно уехать, может стать Россией, в которой можно будет

жить. Ему не нужны были обоснования политической благоразумности такой позиции.

Как ни странно, некоторые диссиденты (они тогда назывались «демократами») относились к Андрею Дмитриевичу с прохладцей, не понимая (не оценивая) насколько его поддержка морально укрепляла их позицию и, в сущности, придавала истинный смысл их деятельности. Идея правозащиты, принятая Сахаровским Комитетом (разработанная в деталях Валерием Чалидзе) у многих протодушных диссидентов вызывала прямой протест: «Как? Мы будем ссылаться на ИХ законы? Которые держат народ в рабстве!?» Это отчасти было связано с непониманием самого принципа советской системы, которая держалась отнюдь не на законах, а на произвольных толкованиях, освященных многолетней практикой безраздельного господства правящей верхушки.

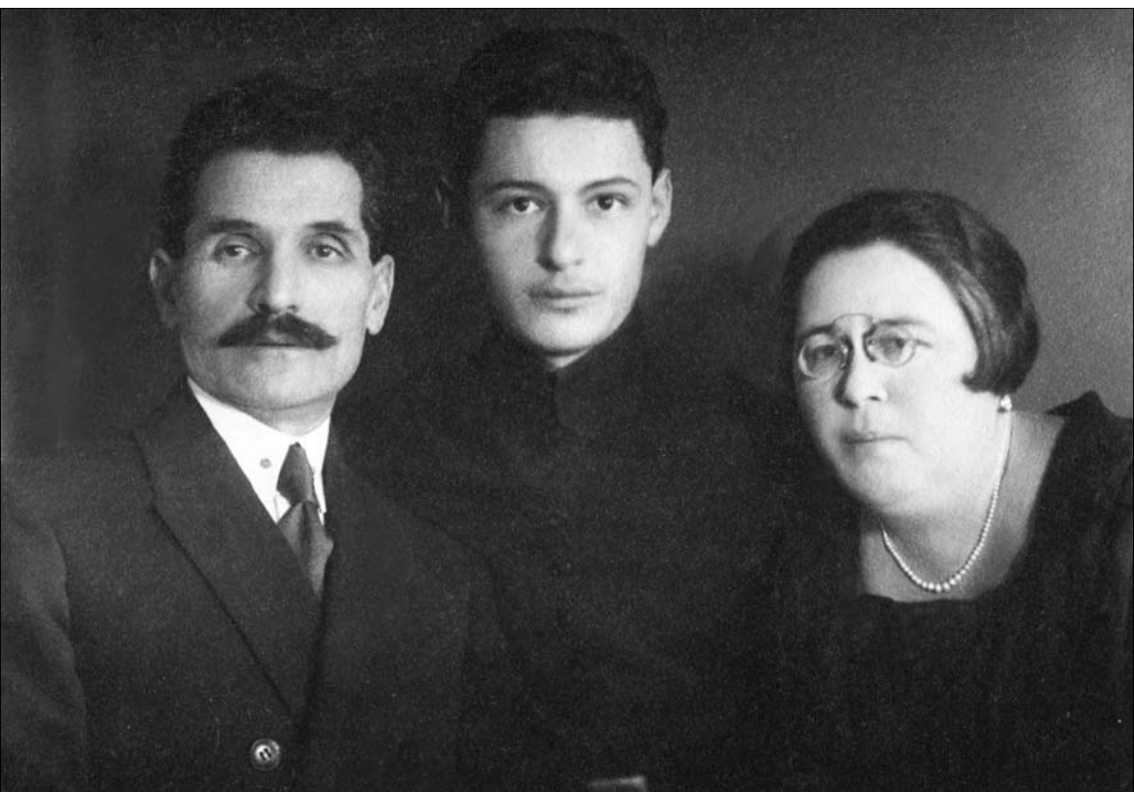
Я был знаком в своей жизни со множеством выдающихся людей. Сталкивался и общался со многими великими учеными. Но все остальные, великие и обыкновенные, друзья и враги, все вместе — это одно, а Андрей Дмитриевич Сахаров — это нечто совсем другое. Сам факт знакомства с этим человеком сыграл большую роль в моей жизни. Моя жизнь была бы беднее, если бы я не знал его. Я мог бы упустить какую-то необыкновенно важную характеристику бытия. Уникальное свидетельство духовной природы человека. Его несводимости к банальному.

Конечно, он был великий ученый, и даже великий «изобретатель», но главное заключается в том, что он сам был человеческим чудом...

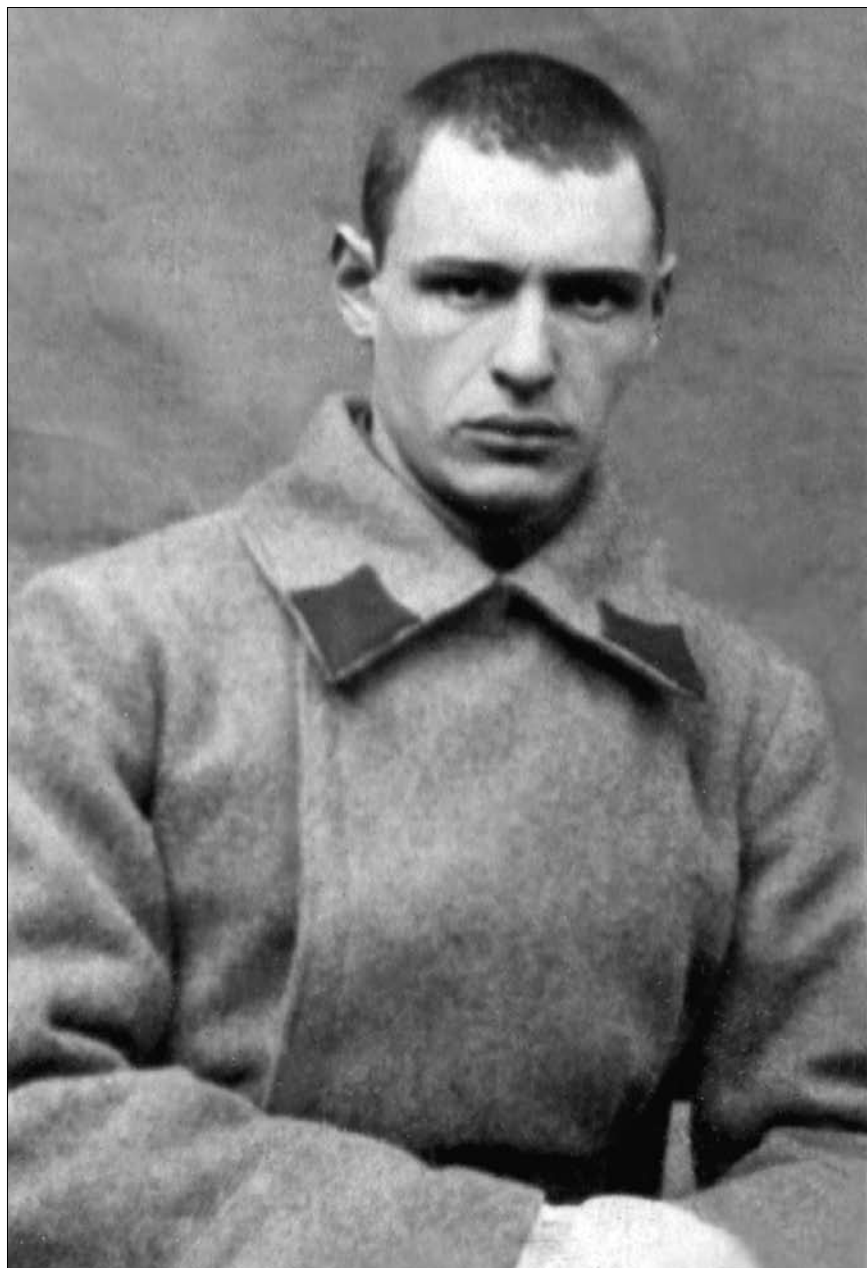
СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	5
«ДИТЯ — ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКА»	8
ALMA MATER	18
НЕ ВЕСЬ НАРОД БЕЗМОЛВСТВОВАЛ	27
УНИВЕРСИТЕТ	41
ПЕЧАЛЬНЫЙ АККОРД	51
ХЛЕБ, ОТТЕПЕЛЬ, УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ	58
НЕМЕЦКАЯ ПРЯМОТА И ЗАПАДНЫЙ ГУМАНИЗМ	72
СУДЬБОНОСНЫЙ ПРОЦЕСС	77
АБРАМ ТЕРЦ И НИКОЛАЙ АРЖАК	92
ТРЕТИЙ, ЛИШНИЙ	99
КАЧАЮЩИЙСЯ МОСТ	107
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА	123
«НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН ВНУТРИ НАС»	136
ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА ПРИЧИНА ИЛИ ПРЕДЛОГ?	146
НА ВЫХОДЕ	156
ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ	171
ИСХОД	177

НАЧАЛО И КОНЕЦ	184
«СИОН» И ЧУВСТВО ЮМОРА.....	190
УНИКАЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА И ВЫЗОВ.....	195
БРЮССЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ	209
АНТИСЕМИТИЗМ ГЛАЗАМИ ИЗРАИЛЬТЯНИНА	213
ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ.....	220
ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ.....	233
ИСТОРИЯ УЧИТ НЕ ВСЕХ	242
В ИЗРАИЛЕ.....	250
НЕЗАКРЫТЫЙ СЧЕТ.....	257
ЭДВАРД ТЕЛЛЕР И МИРСКАЯ СЛАВА	281
МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	288
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТА НОЧЬ ОТ ДРУГИХ НОЧЕЙ.....	300
ПОЛИТИКА И АКАДЕМИЯ В ИЗРАИЛЕ И НА ЗАПАДЕ.....	309
ЗАВЕТ КОНФУЦИЯ.....	317
ЖИЗНЬ НА КРАЮ.....	327
О НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТЛИНКИТОВ АЛЯСКИ.....	340
СВОБОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ	351
«ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС».....	358
НЕОЖИДАННОСТЬ, КОТОРУЮ СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ	368
ПРОРОКИ И ПРАВЕДНИКИ	378
АРАБСКАЯ ВЕСНА И ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ	387
НУЛЕВАЯ ЗАПОВЕДЬ	394
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	402
P. S. (1993).....	408



Отец автора Владимир Савельевич Поляков со своими родителями



Владимир Поляков перед гибелью на Ленинградском фронте в 1942 г.



Мать автора Фаня Лазаревна и отчим Владимир Моисеевич Воронель



Автор в младенческом возрасте с теткой Мариной



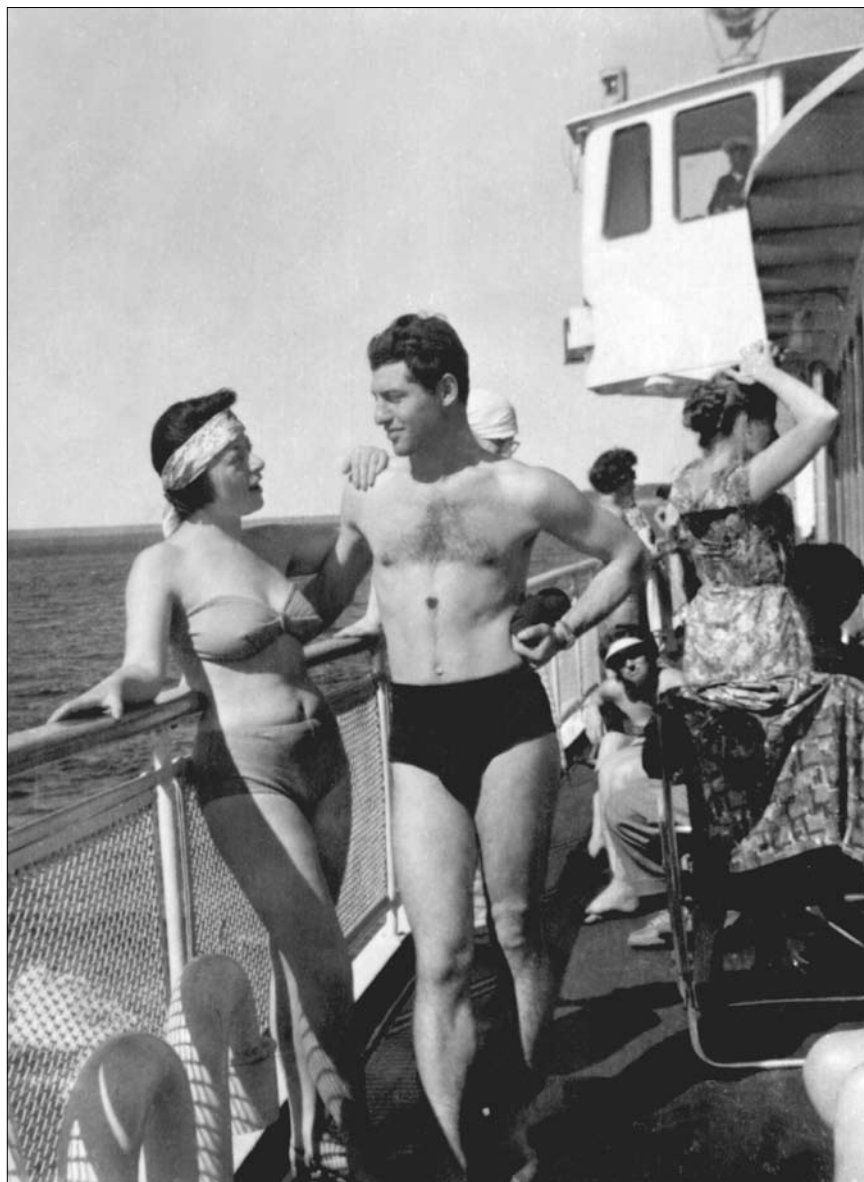
Нинель Рогинкина (будущая Нина Воронель) в Харьковском Университете



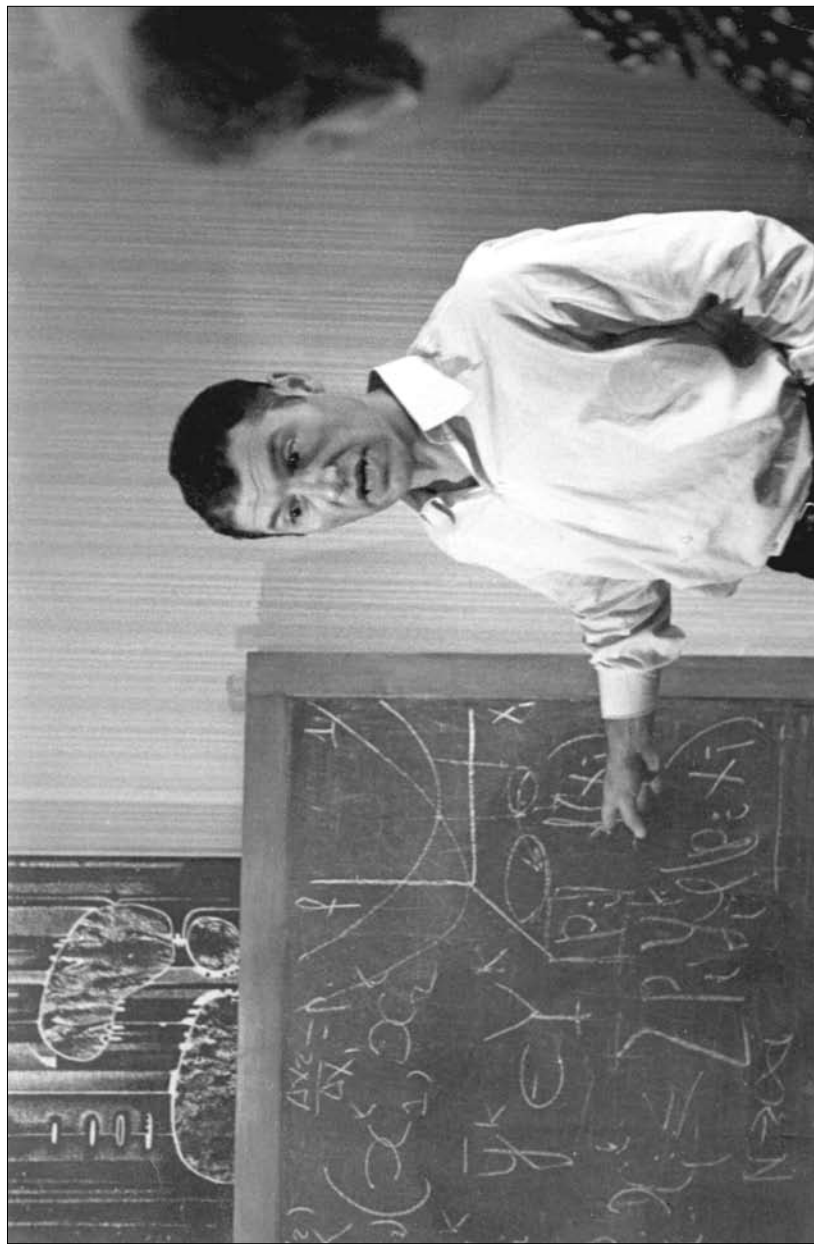
*Автор — студент
Харьковского Университета*



Автор после выхода из лагеря с сестрой Ларисой



Александр и Нина Воронель в 2 часа ночи на палубе прогулочного теплохода Красноярск-Норильск



Александр Воронин выступает с лекцией перед Международным Семинаром в своей квартире



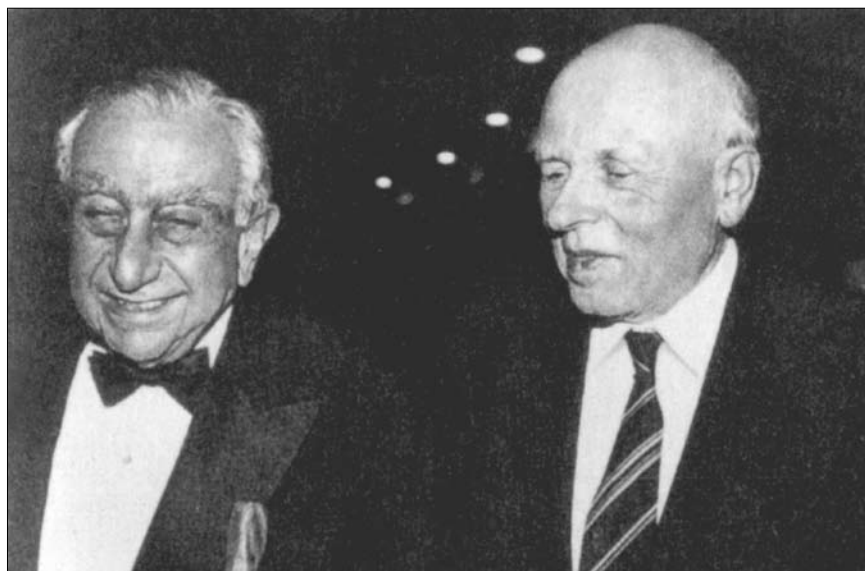
*Международный Семинар в квартире Воронелей.
На первом плане в центре профессор Привороцкий (ныне покойный)*



*Голодовка ученых в Москве, слева направо:
Александр Воронель, Александр Лунц, Анатолий Либгобер, Марк Азбель,
Моше Гитерман, Дан Рогинский, Виктор Брашловский*



Встреча Воронелей в аэропорте Бен-Гурион, слева направо: кибуцник Давид Притал, лорд Н. Джаннер, проф. Г. Дойчер, проф. Юваль Неeman и др.



Эдвард Теллер и Андрей Сахаров



Многолетние друзья Станислав (ныне покойный) и Лина Чаплины



Воронели со Стасиком Чаплиным в немецком лесу



Кинорежиссеры Станислав и Лина Чаплины



Режиссеры Станислав и Лина Чаплины в 2006 г.



Кинорежиссеры Станислав и Лина Чаплины



Нина и Саша на отдыхе в немецкой деревне





Нина Воронель перед прощанием с Москвой в 1974 г.

Літературно-художнє видання

ВОРОНЕЛЬ
Александр Владимирович

НУЛЕВАЯ ЗАПОВЕДЬ
(російською мовою)

ISBN 617-587-104-1



Відповідальний за випуск *Євген Захаров*
Редактори: *Інна Захарова, Ірина Рапп*
Комп'ютерна верстка *Олег Мірошниченко*

Підписано до друку 03.07.2013
Формат 60×84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура PT Serif
Друк офсетний. Умов. друк. арк. 23,15. Умов. фарб.-від. 25,05
Умов.-вид. арк. 25,54. Наклад 500 прим.

Харківська правозахисна група
61002, Харків, а/с 10430
<http://khp.org>
<http://library.khp.org>

Видавництво «Права людини»
61112, Харків, вул. Р. Ейдемана, 10, кв. 37
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 3065 від 19.12.2007 р.

Надруковано на обладнанні Харківської правозахисної групи
61002, Харків, вул. Іванова, 27, кв. 4